



Николай
Александров

ОСКОЛКИ

Новосибирск
2025

ББК 84(2=411.2)6

А 46

Инициатор проекта

Егармин И. П.

Александров Н. А.

А 46 Осколки. Рассказы. — Новосибирск: Издательский Дом «Историческое наследие Сибири», 2025. — 408 с.

Эта книга о детях и взрослых, о неопытных искателях и тех, кто уже познал горечь разочарования. Эта книга об авторе — о его взрослении и мятежной юности, об открытиях и ошибках, об истории большой страны, которая неотделима от личной истории каждого. И эта книга — лишь малая часть написанного, только осколки большого творческого пути, полного встреч и непростых вопросов.

ISBN 5—8402—0372—6

© Александров Н. А., 2025

© ИД «Историческое наследие Сибири», 2025



Писательский труд — тяжёлый труд! Всё время поиск ответов, предельное внутреннее напряжение, полная душевная отдача, страшная боль от неудач, вечное наполнение себя знаниями и неизвестный итог.

Но если от твоих строк дрогнула чья-то душа, осветилась добрым чувством, если ты получил в ответ счастливую улыбку читателя, который попросил твой автограф, значит, ты не зря трудился, значит, не зря терпела жена, значит, по заслугам гордятся тобой дети!

Слово — дорога к Богу. Ты сам проторил эту дорогу, и за тобой по пути твоего произведения прошли сотни других людей. Вот какая степень чести и ответственности! Вот что такое благодать!

К читателю

В детстве я был очень наивным и искренним ребёнком. Таким прожил малолетство и юношеские годы.

Я был по-настоящему советским, и все люди, которых я встречал, были моими братьями и сёстрами. И если случалась несправедливость, то виновным и порочным я считал только себя, а люди вокруг казались мне лучше. И я в это не просто верил — я знал, что они лучше.

Я не ошибался. Но я страдал от собственного несовершенства, моё сердце с каждым ударом сыпало осколками... И я научился жить! А теперь я бережно собираю эти осколки в ладонь, самые мелкие и острые. В них спрятались мои торопливые дела, неосторожные слова и поступки, трусость и лень, подвиги и тяжёлый труд. Я переплавляю их в своём горячем сердце и оставляю на страницах новыми рассказами о себе и о вас.

Почему жизнь пролегает через боль и ошибки, я не знаю. Но удивительно иное — когда разбитая вдребезги и обессиленная душа вдруг рождает любовь.

Что я ещё могу? Да ничего. Только оставить то, что вдруг стало мне дорого. И, как в том искреннем детстве, мне захотелось поделиться с вами своим счастьем!

Я так и не смог измениться, хотя кругом всё уже совершенно иначе. Я только научился различать людей. Но и это неважно. Важно то, что моя любовь навсегда!

Николай Александров



Мама и медведь

Случилась эта история очень давно. Для участия в новогоднем маскараде мама сшила мне костюмчик зайчика. Костюмчик замечательный, из белой простыни, а на голове белая шапочка и два длинных уха. Дольше всего возились с ушами, даже папа что-то мараковал, но в итоге ушки научились крепко стоять на голове. Потом я тренировался прыгать по-заячьи, скрючив перед собой руки, и рассказывать стишок про зайчика-попрыгайчика.

На празднике в детском саду я всё сделал, как меня учили дома: и прыгал, и стишок рассказывал. Всем очень понравилось, дети громко аплодировали, а Дедушка Мороз подарил мне конфетку.

Каждый год я надевал костюмчик зайчика и рассказывал стишок. Но прошло два года, и мой костюмчик стал мне мал. Я так подрос, что штанишки подтянулись до самых колен, уши надломились и висели перед глазами, а хвостик вообще куда-то пропал. Я и не жалел костюмчик, потому что очень хотел быть медведем. И ещё с осени приставал к маме, чтобы она сшила мне костюм медведя. Мама молчала, а потому я был уверен, что на Новый год буду медведем, и научился по-медвежьи рычать и ходить вразвалочку. Получалось очень правдоподобно даже без костюма медведя.

Наступили предпраздничные дни, мама достала костюмчик зайчика и приказала примерить.

— Мама! — возмутился я. — Я хочу быть медведем!

— Потом, в следующем году, — ответила мама и подала мне заячий костюм.

Я его надел так лихо, что он затрещал по всем швам, и мама огрела меня подзатыльником:

— Не рви! Надевай аккуратно!

— Ма-ма, — загнусавил я, — я медведем хочу быть...

Мама молча сняла новую мерку и начала подшивать штанишки из старой простыни. А я не унимался и выл, пока не получил ещё одного тумака. К вечеру костюм зайчика был готов, и мама приказала примерить. Я примерил. Костюмчик был ужасным: подшитые на ногах штанины выделялись белизной, одно ухо отремонтировали, но второе вставать не хотело и падало мне на лоб, пуговицы стягивали грудь, выворачивались наружу, и было видно, что они все разного цвета.

На утренник я шёл без всякого праздничного настроения. В детском саду мама быстро передела меня в костюмчик зайчика и куда-то спешно ушла. Я спрятался в углу, а дети водили хоровод и рассказывали стишки. Дедом Морозом была наша воспитательница, она увидела меня и, громко постукивая посохом, спросила:

— Что за зайчик спрятался в углу? Дети! Давайте позовём играть с нами зайчика!

— Я не зайчик, — сказал я и заплакал.

— А кто же ты? И почему плачешь? — спросил Дедушка Мороз.

— Я медведь, — сказал я.

— Дети! — обратился к детям Дед Мороз. — Кто к нам пришёл: зайчик или медвежонок?

— Зайчик! — закричали дети.

— Нет, — настырно сказал я, — я медведь!

— Ну хорошо, — согласился Дед Мороз, — к нам пришёл медведь в костюмчике зайчика! Правильно? — спросил он меня.

Я кивнул головой.

— Ты расскажешь нам стишок или споёшь?

— Я буду рычать.

— Хорошо, внимание, дети, слушаем медвежью песню!

Я скосолапил ноги и пошёл вокруг ёлки, громко и неистово рыча. Дети закричали и пошли за мной, тоже рыча и косолапя ноги. Получилось очень весело, и воспитательница — Дед Мороз подарила мне конфету.

Мы долго веселились, а потом пришла мама и спросила:

— Как тут мой зайчик?

— Он не зайчик! — закричали дети. — Он медведь!

Мама посмотрела на меня, и я понял, что дома меня ждёт угол, где я ревел совсем не по-медвежьи. Но мама меня не ругала и в угол не поставила, только папе пожаловалась, сказала, что я весь в него — настырный и упрямый.

Хрустальная ваза

Мы едем! Мы — путешественники. Путешествовать — это значит шествовать, идти по какому-то пути. Наш путь — к бабушке. Папа и мама там уже были, когда поженились. Вовка, мой брат, был у бабушки в прошлом году, а я — поздний ребёнок, и меня везут к бабушке впервые. Поздние дети — это дети, у которых мама и папа старые, брат взрослый, а я ещё маленькая.

Сначала мы ехали на такси — это машина с жёлтым фонариком на крыше. Потом мы зашли на вокзал — это такой большущий дом, в котором живут пассажиры. Пассажиров на вокзале много, и все они с чемоданами и сумками. У нас тоже сумок много. Папа нёс два тяжелых чемодана, он кряхтел, останавливался и долго вытирал пот со лба. Вовка нёс рюкзак на спине и две сумки. Он так согнулся, что походил на двуногую лошадку. Мама несла пакет с продуктами и сумочку, а я выполняла приказ папы. Я должна была вести маму и проследить, чтобы она не потерялась. Мама наша, как черепашка, очень медлительная.

Когда дежурная по вокзалу объявила посадку на наш поезд, пассажиры вдруг все разом схватили свои сумки и чемоданы и побежали вниз по ступенькам. Папа тоже схватил чемоданы, но потом поставил их на место и сказал, что не будем торопиться, пусть люди пройдут, и ещё сказал, что поезд без нас куда не уйдёт. Мама папе не поверила, а я верю, потому что мой папа никогда не обманывает. Только вот

никак не могу понять: а как же другие поезда без нас уезжают?

Через подземный переход, по длинным лестницам мы вышли на перрон, прямо к нашему поезду. У вагона нас ждала проводница в красивом синем костюме. Папа подал ей билеты, и она пропустила нас в вагон.

— Проходите, — сказал нам Володя.

— Почему я первая? — я боялась подниматься в вагон.

— Вы — дамы, — сказал папа, — а дамы всегда заходят первыми.

— А вдруг там волки, — сказал брат, — ты нам крикнешь, мы и убежим.

— Папа, а что, в вагонах волки? — испугалась я.

— Нет, доченька, это Володя дурно шутит. Я, когда поставлю чемоданы, дам ему за это по шее. Проходи, не бойся.

Я и мама первыми вошли в вагон.

— У нас четвёртое купе, — сказала мама.

— А что такое купе? — спросила я.

— Купе — это наша комнатка, в ней мы и поедем все вместе.

Мы с мамой разместились на нижних полках, а папа с братом на верхних. Я тоже хотела на верхнюю полку, но папа опять сказал, что мы с мамой — дамы, а дамы на верхних полках ездят только в тех случаях, если на нижних едут бабушки и дедушки. Мне очень не понравилось быть дамой.

— Я больше не хочу быть дамой! Я хочу на вторую полку!

— Я посажу тебя на вторую полку, но только на время. А дамой тебе быть придётся, такая уж ты родилась.

Со второй полки было всё видно: можно было взглянуть в окно, и в коридор, и всё купе было как на ладони, а ближе всего — Вовкина вихрастая голова.

— Папа, а ты обещал Вовке дать по шее, — напомнила я.

— Я вот сейчас встану и тебе дам по шее! — пригрозил Вовка.

— Мама! А Вовка меня бьёт!

— Вова, не приставай к девочке! — сказала мама. Она всё ещё копошилась в вещах, искала что-то и составляла на маленький столик у окна.

— Я дама! — вспомнила я. — А дамов не бьют.

Вагон слегка вздрогнул, и перрон вместе с пассажирами поехал мимо окон. Люди на перроне начали махать руками. Я тоже стала им махать.

— Папа! Перрон и вокзал поехали!

— Это голова у тебя поехала, — буркнул Вовка.

— Мама! А Вовка обзывается!

И помчались мимо нашего окна вагоны, дома, поля и лес. Да так быстро! Ветер влетал в открытое окно так сильно, что растрепал всю мою причёску.

Я лежала на верхней полке и смотрела, как всё едет и мчится мимо меня: дома около железной дороги мелькали так, что я даже рассмотреть их не успевала, а чуть подальше проплывали медленнее. Там были люди и коровы, там были машины и трактора. Мы обогнали всех! Были и станции, но вокзалы маленькие, и народу было на перроне мало. Люди садились

в вагоны и выходили, и проводницы всегда встречали и провожали пассажиров. И я уснула.

А когда проснулась, за окном всё так же мелькали столбы, проплывали дома, огороды и берёзовые колки. Поезд лязгал железными колёсами, натужно скрипел, поворачивая то в одну, то в другую сторону. Здорово!

— Доченька проснулась, — заметила мама, — спускайся к нам, пора кушать.

Папа снял меня с полки. Проводница заглянула к нам и предложила чай.

— С удовольствием, — улыбнулся папа, — люблю чай из стакана с подстаканником.

Принесли чай. У нас дома не было стаканов и не было железных красивых подстаканников.

— Осторожно, — предупредил меня папа, — чай горячий. Пусть немного остынет, а потом берись вот так, за железную ручку, и пей. — И папа с удовольствием отхлебнул чай из своего стакана.

— Эх, люблю путешествовать! — сказал папа, когда допил свой чай. — Люблю, когда ложечка бренчит в пустом стакане, будто колокольчик неведомого возницы из нашей старины, и всё мчится куда-то прочь! И работы нет, и заботы нет, и впереди целый месяц отпуска!

— Папа, а где Вовка? — спросила я.

— Что, соскучилась? Вон он, на второй полке спит, в простынь укутался. Вот так и бывает: вместе тесно, а врозь скучно. Давно ты его не мучила?

— Папа! Смотри! — закричала я. — Колбаски на колёсиках!

— Это цистерны, в них бензин возят для машин.

Мы проезжали по станции, на которой стояли эти самые цистерны с бензином.

— Милая моя жёнушка! — продолжал говорить папа. — Представь себе, что нашей доченьке только открывается этот чудесный мир! Она ещё не знает, что есть цистерны, локомотивы, школа, поэзия Пушкина, настоящая любовь и дружба! Она ещё только открывает для себя этот великолепный мир жизни! Для неё, как сказал поэт, и солнце ярче, и трава зеленей, и вода мокрей! Счастливая пора детства!

В проёме купе появилась проводница. Она забрала стаканы с красивыми подстаканниками и спросила:

— Вам ещё чаю?

— Нет, спасибо, но вечером обязательно! И здорово было бы, если бы заварить смородиновым листом.

— Хорошо, будет вам смородиновый лист.

— Вы серьёзно?

— Серьёзно, — кивнула проводница, — будет вам смородиновый чай. А можно вас попросить...

— Да, пожалуйста, — обрадовался папа.

— Можно, у вас посидят женщина с ребёнком? Они подсели к нам на прошлой станции, им в больницу. Минут через тридцать будет большая станция, они сойдут на ней.

— Да, пожалуйста! А что случилось?

— Смех и грех, сейчас сами увидите.

Скоро в купе вошли женщина и мальчик. Голова мальчика была укутана полотенцем.

— Присаживайтесь, — предложил папа. — Что у вас случилось?

— Вазу на голову надел, а снять не можем. У нас на станции только фельдшер, и та в отпуске. Вот

и попросились до города, к хирургу едем, в скорую помощь.

— Голову отрезать? — удивилась я, и мне стало жалко мальчика.

Взрослые рассмеялись, а мальчик схватился за голову.

— Показывайте, — приказал папа, — я и есть хирург.

— Да что вы! — всплеснула руками женщина. — Повезло-то как! Может быть, вы поможете. Я заплачу.

Полотенце развернули, и все увидели хрустальную вазу на голове мальчика.

— Самый простой рецепт — аккуратно разбить вазу, — предложил папа, — и это мы сейчас устроим. Гарантирую, ребёнка не пораним.

— Ничего себе рецепт! А вы знаете, сколько эта ваза стоит?

— Ах вот в чём дело!

— Конечно, в этом, разбить я и дома могла. И как дала бы ему по голове, чтобы знал, как вазы на голову одевать!

Женщина замахнулась на мальчика, но папа остановил её:

— Не торопитесь, я сниму её, но с условием, что мальчугана вы наказывать не будете.

Папа уложил мальчика, меня поднял обратно на вторую полку, а маму мальчика попросил выйти. Я не видела, как папа снимает вазу с головы мальчика, он наклонился над ним и что-то бурчал себе под нос. Потом спросил:

— Дружок, ты скажи мне по секрету, для чего ты эту вазу нахлобучил себе на голову?

— Я принцем хотел стать. Я видел в кино принца в короне. А ваза взяла и провалилась.

— Ну-с, принц, потерпи.

— Ой!

А ваза уже стояла на столике и сверкала в лучах заходящего солнца. А мальчик оказался рыжим-рыжим, как солнце на горизонте. Меня это рассмешило, я так рассмеялась, что нечаянно разбудила Вовку.

— Пап, ну что она опять кричит и спать мешает!

— Эх, Вовка, Вовка, ты проспал интересную историю. Заходите, — пригласил папа маму мальчика в купе.

Полусонный Володя сел и глянул вниз. Увидел мальчика, женщину, хрустальную вазу и сказал:

— Здравствуйте.

— Теперь уже, наверное, и до свидания. — Женщина укутала вазу в полотенце и позвала мальчика: — Пойдём. — Но вдруг спохватилась: — Сколько я вам должна, доктор?

— Ничего не должны, я в отпуске, а в отпуске я работаю бесплатно. И потом, вы подарили нам эту замечательную дорожную историю. Мы в расчёте. Счастливого вам пути!

— Счастливого пути! — махнула я мальчику и подумала: «Они тоже путешественники!»

Димкины уши

Жил-был мальчик Дима с большими-большими ушами. Нет, вы не подумайте, он родился с нормальными, маленькими розовыми ушками. Но вот что случилось, послушай...

Рос Дима быстро, много кушал, от каши не отказывался, словом, что поставят на стол, то и съедал подчистую, только успевала мама за Димой посуду мыть. К пяти годам тот набрал весу будь здоров, кулак сожмёт — не меньше груши. Вот какой он стал большой и сильный. И нравилось ему, что его боятся. Конечно, плохо, что с ним дружить не хотели другие дети, но ведь как здорово подойти к горке или песочнице, где дети играли, вынуть из кармана кулак и показать его, да ещё тряхнуть перед носом какой-нибудь малявки. Дети врассыпную, игрушки побросают от страху и — кто куда.

Но вот пришла беда, начали у него расти уши. Уши, конечно, растут у всех, но у Димки по-особому. Только он покажет кулак, да если ещё и зарычит при этом грозно, вмиг уши становились больше. Мама водила его к докторам, но те только руками разводили, не знаем, мол, чем помочь. А один врач сказал, что это вовсе и не болезнь и что науке такие явления неизвестны. Но это наука не знала в чём дело, а Димка знал. Он давно понял, что кулак лучше держать в кармане. Просто страсть какая плохая жизнь началась у Димки. Уши уже шапкой не прикроешь, а порою так хочется пугануть всякую мелюзгу!

Сидит как-то бедный Димка на лавочке возле подъезда, на улице жара, а он в шапке и кулаки в кармане. Проходит мимо бабушка и спрашивает:

— Ушки, внучек, болят?

— Не твоё дело, — буркнул Димка и вдруг почувствовал, как шапка приподнялась над головой.

— Что это?! — с испугом воскликнул он и схватился за голову.

— Рога, внучек, рога. Скоро на чёрта походить будешь и совсем пропадёшь...

— А! — подскочил Димка. — Это ты колдунья! Это всё из-за тебя! Я тебе сейчас как дам! Я знаешь какой сильный!

Вынул он кулаки из карманов и от страха обратно на скамейку плюхнулся. Кулаки у него рыжей шерстью заросли.

— У-у-у... — заревел Димка. — Что же теперь будет?! Как я в школу пойду? Мне осенью в первый класс идти надо! Бабушка, расколдуй меня!

— Не колдовала я тебя, — ответила бабушка, — не колдовала. Ты сам себя заколдовал, в зверя превратил.

— Помоги мне, бабушка! — взмолился Димка.

— Помогу, но только советом: люби младших, уважай старших — и вмиг выздоровеешь.

— Это как?

Но бабушки уже не было, видимо, ушла. Видимо, решила, что Дима сам должен догадаться, как расколдовать себя.

Недавно я встретил Диму. Он шёл из школы, а когда вошёл во двор, к нему подбежали дети, они шумели, смеялись и пытались помочь Димке нести тяжёлый портфель.

Уши у Димки были, как и у всех детей, маленькими, шерсть на руках слиняла, рожки на голове отвалились, и только остался маленький хвостик с рыжей кисточкой, но его не было видно людям.

Не хочу

Жила-была девочка, и звали её Леночкой. У Леночки были длинные золотистые косы, большие карие глаза и маленький носик. Не девочка, а сказочная принцесса-красавица. И всё было бы хорошо, но одна беда — любила Леночка слово «не хочу». Её звали за стол, и было время обеда, и все уже проголодались, и сама Леночка тоже уже была голодна, но она всё равно говорила: «Не хочу!» Она, конечно, потом приходила, но продолжала вредничать и говорить «не хочу».

— Леночка! — будила её мама. — Пора вставать.

— Не хочу! — отвечала Леночка.

— Леночка, умойся и не забудь почистить зубы.

Но непременно слышалось в ответ:

— Не хочу! Не хочу! Не хочу!

Просто наваждение какое-то, и никто не знал, как отучить Леночку говорить «не хочу». Даже папа, который руководил тысячами рабочих на большом заводе, и тот не знал, как сладить с любимой дочкой.

Попробовал бы у папы на работе кто-нибудь сказать «не хочу», папа тут же выгнал бы с работы этого человека. Но дочку из дома не выгонишь. Её, как говорила мама, нужно было воспитывать. И папа впервые в жизни не знал, что сделать, чтобы дочка перестала вредничать.

Гостей даже перестали приглашать, потому что родителям было стыдно перед чужими людьми, когда Леночка на любую просьбу отвечала одним и тем же словом — «не хочу!».

А Леночке уже и нравится, что все вздыхают и сетуют, шепчутся между собой, советуются, а иногда и ругаются.

И тогда родители пригласили в гости бабушку. Бабушка жила в деревне, вырастила пятерых детей и, как сказала мама, «всё знала и умела».

Когда приехала бабушка, на кухне состоялся разговор. Леночка слышала его, потому что взрослые говорили громко. Бабушка сказала:

— Ребёнку нужен свежий воздух, молоко и работа.

— Без меня она не поедет, а у меня здесь много забот, — ответила мама.

— Тогда накажите её ремнём! — посоветовала бабушка.

— Я не буду бить ребёнка! — возмутился папа.

— Ну и мучайтесь, она из вас скоро верёвочки вить будет! — обиделась бабушка и встала из-за стола.

Обедать Леночку не позвали. Она долго ждала, но вот хлопнула дверь, это папа ушёл на работу. Леночка пошла на кухню и сказала:

— Я есть хочу.

— Не хочу, — ответила мама.

— Это я не хочу, — возразила Леночка.

Но мама ничего ей не ответила и ушла в магазин. Весь день с Леночкой никто не разговаривал.

На следующее утро у Леночки сильно заболела голова.

— Мама! — позвала она.

— Не хочу, — ответила мама.

— Мама, я заболела.

Мама вошла в комнату, пощупала Леночкин лобик, попросила показать язычок. И вызвала врача. Пришёл врач.

— Что случилось? — спросил он у Леночки.

— Не хочу, — ответила Леночка.

— Что болит? — опять спросил доктор.

— Не хочу, — ответила Леночка.

— Так, — произнёс доктор задумчиво, пощупал Леночкин лоб, измерил температуру. — Я пропишу вам лекарства.

— Не хочу!

— Если ребёнок не будет пить лекарства, — обратился доктор к маме и бабушке, — то я могу выписать уколы. Кто умеет ставить уколы?

— Я не хочу, — сказала мама.

— Я тоже не хочу, — отказалась бабушка.

— Да, интересная у вас семья, — задумался доктор. — Самое лучшее лекарство для вашего ребёнка — это свежий воздух, коровье молоко, мёд, натуральные продукты, словом, вам надо ехать в деревню. Вашему ребёнку нужно больше двигаться.

— У меня в деревне столько здоровья! — сказала бабушка доктору. — Кругом: и в поле, и в огороде, и в птичнике — везде движение, работай на здоровье хоть с утра до вечера. В деревне здоровья на всех хватит. А внучка у нас не хочет здоровья, она хочет только вредничать.

— Это плохо, все вредные дети долго болеют. А в деревне даже вредные дети скоро выздоравливают.

— Я не хочу болеть, — сказала Леночка.

— Вот и замечательно.

Мама проводила доктора, потом вошла к Леночке в комнату, присела на краешек кровати.

— Ты хочешь болеть?

— Не хочу.

— Вот и я не хочу. Поедешь за здоровьем к бабушке? — спросила мама.

— А ты поедешь со мной? — Леночка прижалась к маме.

— Не хочу, — ответила мама.

— Мама, скажи, поедешь?

— Не хочу.

Леночка обняла маму и прошептала:

— Мама, я больше не буду говорить «не хочу», но и ты тоже не говори. Ладно?

— Договорились, — согласилась мама.

— Ну что, девчонки, — вошла в комнату бабушка, — поехали в деревню?!

— Собираемся!

Леночка соскочила с кровати и обняла бабушку.

— Видите, ребёнок уже и выздоравливает. — Бабушка погладила Леночку по голове.

— А мы папу с собой возьмём?

— Конечно! Здоровье всем нужно, особенно папе, он же наш кормилец и поилец. А здоровья в деревне на всех хватит!



Картавка

Жила-была девочка, и звали её Маша. Машенька была маленькая, худенькая девочка с двумя тоненькими косичками. И не могла Машенька произнести несколько звуков. Вместо «б» она говорила «п», вместо «з» — «с». Вот и получалось у неё не очень понятно. Например, вместо «бабушка» она говорила «папушка», а вместо слова «зуб» у неё получалось «суп». И смешно, и грустно. А грустно потому, что над ней смеялись дети в детском саду. Она часто сидела одна в уголке на маленьком стульчике и наблюдала, как играют другие дети. Но когда им надоела привычные игры, а воспитательница выходила из группы, они обступали Машеньку.

— Маша, у тебя во рту каша! — говорил Алёша и дёргал Машу за косичку.

— Машка — картавка! Машка — картавка! — кричала Олеся, прыгая вокруг Маши.

Потом и Алёша, и Олеся, и Верочка начинали кричать, смеяться и обзывать Машу. А Саша даже толкнул Машу, она упала, но не заплакала, а спросила:

— Сачем вы меня опсываете и пьёте?!

— Ха-ха-ха! — засмеялся Гарик. — Зачем вы меня пьёте! Во, чучело-мя-учело! Пьёте?! Да кто же тебя пить будет?

— Маша — лимонад! Маша — лимонад! — запрыгала Олеся и опять толкнула Машеньку.

Машенька упала на стульчик и от боли поморщилась.

— Не пейте меня, я могу умереть!

Это ещё сильнее рассмешило детей. Но вошла воспитательница и сказала:

— Дети, мыть руки и на обед!

Машеньке было больно, но она ничего не сказала воспитательнице. Но когда села за стол, то не смогла есть.

— Машенька, — спросила воспитательница, — почему ты не кушаешь?

— У меня полит пок, — ответила Машенька.

— Ха-ха-ха! — опять засмеялись дети.

— «Пок» у неё полит! — передразнил её Алёша.

И что тут началось! И смех, и шум, и крик.

— Дети! — строго сказала воспитательница. — Прекратите шуметь! Дразниться нехорошо и есть нужно молча. Пойдём, Машенька. — И она увела девочку с собой.

Потом воспитательница позвонила к Машеньке домой, и мама повела её к доктору.

На следующее утро, когда дети сели завтракать, Олеся вдруг заметила, что Машенькин стульчик пуст.

— А где Маша? — спросила Олеся громко.

Но дети не знали и потому молчали.

— Она умерла! — догадалась Олеся. — Мы её вчера побили, и она умерла!

У Олеси потекли слёзы. Следом захныкали и Витя, и Наташа, а там и Лера с Ромой. И скоро все дети плакали.

— Что случилось? — спросила, войдя, встревоженная воспитательница.

— Маша умерла, я её вчера толкнула, и она ударила бок и умерла, — плакала Олеся.

— Да что вы придумали, дети! — стала успокаивать воспитательница. — Маша ходила к доктору, вот она.

Из-за спины воспитательницы появилась Машенька.

— А мне удалили суп, — сказала она и показала свои зубки. И правда, одного зубика у неё не было.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Гарик. — «Супик» ей вырвали! Маша, не суп, а зуб!

Он подбежал к Маше, обнял её и сказал:

— Один зуб — это не больно. Мне сразу два вырвали, вот это больно!

Гарик проводил Машу к столу, а ребятам пригрозил:

— Кто Машку тронет, во будет! — И показал всем кулак.

— Гарик! — засмеялась Машенька. — Только не пей никого, ладно?!

— Ладно, — согласился Гарик, — не буду.



Сто рублей

Жил-был мальчик, и звали его Серёжа. Серёжа очень любил конфеты. И все об этом знали и на праздники всегда дарили ему конфеты.

В тот воскресный день Серёжа вышел на улицу гулять, когда ещё во дворе никого не было. В выходной взрослые любят долго спать, потому и детям приходится в этот день долго томиться в кроватях. А Серёжа был самостоятельным мальчиком, он не стал ждать, когда его накормят или скажут, чтобы он почистил зубы. Он встал с кровати, заправил её, умылся, выпил стакан кефира и вышел во двор.

Он покатался на качелях, потом полазил по пирамидке, но одному гулять было скучно. И тогда он взялся пинать целлофановый пакет вместо футбола. Пинал, пинал, да вдруг из пакета вылетела красивая бумажка. Серёжа поднял её — это было сто рублей.

Что делать с деньгами, Серёжа не знал, а потому пошёл к своему дедушке. Дедушка с бабушкой жили в соседнем доме и просыпались рано. Бабушка говорила, что это у них «старческая болезнь» — просыпаться с рассветом.

Когда дедушка открыл дверь, Серёжа протянул сто рублей и сказал:

— Дедушка, я деньги нашёл!

Дедушка погладил свою лысую голову и ответил:

— Сначала нужно поздороваться с дедушкой.

— Здравствуй, дедушка. Я деньги нашёл.

— Деньги — это хорошо. А где ты их нашёл?

— Во дворе.

— Ну заходи, думать будем.

Бабушка на кухне готовила омлет с колбаской.

— Внучек, — обрадовалась бабушка, — позавтракаешь с нами?

— Спасибо, бабушка, я уже поел. Я деньги нашёл, сто рублей!

— Сто рублей! — удивилась бабушка. — Так ты у нас теперь богатый.

— Богатый, — радостно подтвердил Серёжа. — Только не знаю, что с ними делать?

— Это не беда, внучек, были бы деньги, а расходы сами найдут тебя. Дед, садись за стол. И ты с нами? — спросила бабушка.

Серёжа заглянул в сковороду с золотистым в колбасную крапинку омлетом и согласно кивнул головой.

Дедушка, бабушка и Серёжа ели вкусный омлет. Сто рублей лежали на столе. Все думали, как их потратить.

— Видишь ли, дело в чём, — задумчиво произнёс дедушка, — деньги ты нашёл во дворе, и получается, что эти деньги как бы дворовые. Их мог найти любой из твоих друзей, так? — Серёжа согласно кивнул, а дедушка продолжил рассуждать: — Допустим, Маша нашла во дворе сто рублей, купила бы на них мороженого и съела бы его одна. Или, допустим, взяла и купила бы мороженого на всех детей. Что тебе больше нравится? Что, по-твоему, было бы правильным?

— Мороженое для всех, конечно! Если Машка съест мороженого на сто рублей, то простынет. А простывать вредно!

— Замечательно! — обрадовался дедушка.

— Ах, дед, умный да хитрый, — покачала головой довольная бабушка и подложила внуку ещё кусочек омлета.

— Но мороженого на всех не хватит! Сто рублей мало! — возразил Серёжа.

— А ты и не покупай мороженого, а купи своих любимых конфет. Пусть по одной конфетке, но всем детям хватит.

Днём, когда все дети уже играли во дворе, Серёжа принёс целый килограмм конфет. Все ели конфеты, а Серёжа рассказывал историю, как он нашёл сто рублей.

На этом бы всё и закончилось, если бы не следующее утро...

Следующим утром Серёжа нашёл ещё сто рублей! Он, несколько удивлённый, походил по двору, но больше денег нигде не валялось. Что делать, Серёжа уже знал и пошёл в магазин. Но когда конфеты были в пакете, он пошёл домой. Съел он конфеты один, глядя в окно на детей. Его звали играть на улице, но конфеты были очень вкусные — шоколадные.

Целый килограмм — это очень много для одного ребёнка, и не удивительно, что Серёжа заболел. Он весь покрылся красными точками, и его живот был похож на бабушкин омлет.

— Постельный режим! — сказал доктор, сделал укол и оставил на столе горькие таблетки.

Вечером, когда температура спала, в комнату вошла мама и сказала:

— Серёжа, тебя пришли навестить дети.

В комнату вошла Маша, а за нею и другие дети.

— Серёжа, — сказала Маша, — ты выздоравливай быстрее, мы тебя ждём. Это тебе. — И Маша положила на стол большой кулёк с конфетами.

Серёжа покраснел и натянул одеяло на голову. Дети ушли, а Серёжа ещё долго лежал укрытый с головой и горестно вздыхал.



Катины именины

Жила-была девочка, и звали её удивительно красивым именем Катя. Да и сама Катя была красавица — круглолица, голубоглаза.

И наступил у Кати день рождения. Приходили бабушка с дедушкой, любовались внучкой, славили её, дарили подарки... и всё восхищались — какая у них замечательная внучка: и послушница, и рукодельница, и мамина помощница! Но больше всех принёс подарков, конечно же, папа. И книжку-теремок, и раскраску, и велосипед трёхколёсный с дудочкой на руле, и ослепительно-белую шляпку. Он, кажется, скупил весь магазин детских игрушек. А говорил-то как! И принцесса ты моя ненаглядная, и красавица писаная, и на руках носил, и обнимал, и целовал бесщётно.

— Хватит уже, избалуешь ребёнка, — сказала мама и подарила Кате бантики.

Бантики были не простые, а большие, пышные. Одна пара белых, а вторая пара чёрных.

С этого подарка всё и началось...

— Хочу бантики, — сказала Катя и примерила чёрные. Они ей так понравились, что она даже несколько раз покрутилась вокруг себя перед зеркалом.

— У тебя белое платьице, — заметила мама, — а к белому платьицу подходят белые бантики.

Катя примерила и белые бантики. О, как они были прекрасны! Как они восхитительно подошли к платьицу!

— Просто чудо! — воскликнула бабушка, обняла внучку и, роняя слезу, сказала: — Кровиночка ты моя!

Кате очень понравились чёрные бантики, но и белые были не хуже. Нет, они были лучше — такие пышные, с голубенькой каёмочкой.

— Я хочу белые... — Катя задумалась, глядя на чёрные бантики, — и чёрные тоже!

— Но так не положено, — возразила мама, — выбери или чёрные, или белые.

— А я хочу и чёрные и белые!

— Но Катя! — возразила мама.

И что тут началось! Катя требовала все четыре бантика. Папа быстро согласился с Катей, но только не знал, как уместить все четыре бантика на маленькой голове своей любимой дочки. Мама была против и ругала папу за то, что тот потакает ребёнку. Бабушка помогала маме ругать папу. И только дедушка молча ушёл на балкон и закурил свою большую трубку. В дом потянуло табачным дымом, и бабушка ушла на балкон ругать дедушку.

Не буду рассказывать, что и как происходило дальше, скажу лишь одно — скоро на Катиной головке красовалось два бантика: справа белый, а слева чёрный.

И всё было бы хорошо и жизнь опять бы наладилась, но одно обстоятельство: Кате стало казаться, что бантики ей всё время что-то шепчут. Она прислушивалась, но понять не могла.

Наконец все расселись за праздничным столом. Салаты, сочная колбаска, фрукты, торт и ещё многое и многое, и всё такое аппетитное, и красивое, и вкусное. Мама положила в Катину тарелку салат.

Только Катя взялась за вилку, как слышит голос:

— Скажи, что салат ты не будешь есть.

— Но он такой вкусный, — подумала Катя.

— А ты скажи, что не хочешь. Знаешь, как весело будет! — настаивал Чёрный бантик.

Катя потрогала бантики, посмотрела на взрослых и громко сказала:

— Я не хочу салат!

Взрослые переглянулись.

— Хорошо, — сказала мама, — попробуй бабушкины голубцы, она так старалась.

И мама положила голубец на Катину тарелку.

— Скажи, что ты не будешь есть голубцы, — опять услышала Катя.

— Кушай, Катя, голубец, не слушай никого. Он тебя обманывает, — услышала Катя шёпот Белого бантика.

— А вот и не обманываю! — закричал Чёрный бантик.

И что тут началось! Бантики заспорили, зашумели. Катя тряхнула головой, встряхнула бантики и громко сказала:

— Я не хочу голубцы!

За столом наступила тишина.

— А чего ты хочешь, доченька? — прервал молчание папа.

— Я хочу кататься на санках, и на лыжах, и на коньках! — повторила Катя за Чёрным бантиком.

— Какие лыжи?! На улице лето, Катя! — возмутился папа.

— Что случилось с дочерью, не пойму, — развела руками мама.

— В угол её надо поставить, — убеждённо сказала бабушка, взяла Катю за руку, увела в соседнюю комнату и поставила в угол.

— Плачь. Громко плачь, — зашептал Чёрный бантик.

— Проси прощения, — шептал Белый бантик.

— У-у-у... — громко завывла Катя.

— Ещё громче!

— Нет, не плачь, Катя!

— Плачь!

— Не плачь!

И опять расшумелись бантики, да так, что у Кати голова закружилась.

За столом взрослые сидели молча. Только дедушка взял свою трубку и опять пошёл курить на балкон.

— Наверное, дочь вырастет, — вслух подумал папа.

— Если ребёнок вырастет, то и умнеет, — возразила мама, — а по нашей Кате этого не скажешь.

Вдруг в комнату вошла Катя, в руках она держала два бантика — чёрный и белый.

— Я больше не буду, — сказала она и протянула маме бантики. — Это всё из-за них.

— Вот и хорошо, — вздохнула бабушка.

— Умница моя, — повеселел папа.

— Опять начал? — строго посмотрела на папу мама.

— А ты куда наострился, курильщик! Марш за стол! У внучки именины!

Дедушка замер у балконной двери, улыбнулся и сказал:

— Внучка, если ты не будешь сегодня капризничать, то и я сегодня не буду курить!

— Честное слово? — удивилась бабушка.

— Честное, — сказал дедушка и подмигнул Кате.

Игрушка

Жила-была девочка, и звали её Оля. Круглолицая и голубоглазая Оленька всех восхищала своей красотой и трудолюбием. Мама звала её не иначе как Рукодельницей. И правда, Оленька и посуду мыть поможет, и в комнате своей приберёт, и рисунки подарит родным на день рождения. Внимательной и доброй росла девочка. Папа много работал, но жили они скромно. А у соседского мальчика Жени было столько игрушек, что, наверное, хватило бы на целый детский сад, каждому ребёнку по игрушке. Огромная гора из игрушек возвышалась в его комнате. И когда Оля приходила к Жене в гости, он разгребал эту гору, и они выбирали какую-нибудь для игры.

Папу у Жени звали тоже Женей, их так и звали: Женя Большой и Женя Маленький. Женя Большой работал начальником и дружил с Олиным папой. По вечерам они играли в шахматы. Олин папа выигрывал, Женя Большой сердился, но на следующий вечер опять приходил играть и всегда говорил, что сегодня он обязательно выиграет. И опять не выигрывал.

— Поддайся ты ему, пусть хоть один раз выиграет, — просила Олина мама.

— Если я поддамся, значит, буду играть нечестно. Такие люди — лгуны. А я честный человек. Пусть тренируется и в честной игре победит.

Оля очень гордилась своим папой.

Однажды папа получил премию, много денег за какое-то изобретение. Он весёлый пришёл домой и сказал:

— Лёлька! — так папа любя звал свою Оленьку. — Пойдём в магазин! Скоро Восьмое марта — надо маме подарок купить.

И они пошли за подарком.

Но идти им предстояло мимо магазина детских игрушек «Буратино».

— Лёлька! Восьмое марта — это и твой праздник. Давай зайдём в «Буратино», купим тебе подарок. Я ведь не знаю, какая тебе игрушка понравится.

Они вошли в магазин. А там! Всё в игрушках! И каких только нет! И пересказать нельзя. Одних медведей штук сто, и все разные.

Они зашли в отдел плюшевых медведей и стали разглядывать витрины. Но вдруг услышали громкий голос из другого отдела. Какой-то мальчик громко гнусавил:

— Я не хочу барабан! Я не хочу слона! Я не хочу, не хочу, не хочу!

— Ужас, — сказала продавщица, — третий день одно и то же.

— Действительно ужас, — согласился Олин папа и обратился к дочери: — Тебе здесь что-нибудь понравилось?

— Да, — ответила Оля, — вон тот мишка.

Она подошла к полке и потрогала за ногу огромного плюшевого медведя.

— Сколько он стоит? — спросил папа.

— Три тысячи, — ответила продавщица.

— Три тысячи! — растерялся Олин папа.

Продавщица ждала папиного решения.

Рядом стояла Оля, которая вдруг сказала:

— Нет, папа, он очень большой, а комната у меня маленькая. Пойдём сначала купим подарок маме.

— Что ты, Оленька, давай купим!

— Нет, он очень дорогой. Пойдём, папа.

— Вы счастливый отец, — сказала продавщица и погладила девочку по голове.

— Что верно, то верно, — согласился папа, и они вышли из магазина.

На крыльце стоял Женя Маленький и громко выл:

— Я хочу машину, настоящую! Купи мне вон ту.

Женя Большой поздоровался с Олиным папой за руку и уверенно сказал:

— Я сегодня выиграю, я такую комбинацию узнал!

— Нет, не выиграешь, — улыбнулся Олин папа.

— Ну, держись, вот только сыну куплю подарок и сразу к тебе!

— Восьмое марта — женский праздник, — заметил Олин папа. — Вы ничего не перепутали?

— Мой Женька хитрец, он восьмого марта родился!

— Па-па! Ну купи мне ма-аши-ину-у, — опять загнусавил Женя Маленький.

— Ну, мы пойдём, — сказал Олин папа, и они зашагали прочь.

А на улице сияла весна, яркое солнце отражалось в лужах и больших сосульках на карнизах домов.

Оля оглянулась на магазин «Буратино», где всё ещё стояли Женя Маленький и Женя Большой, и спросила отца:

— Почему ты сказал, что сегодня опять выиграешь? А вдруг он узнал тайну, а ты её не знаешь.

— Дело не в шахматах, доченька ты моя. Он проиграл, потому что я по-настоящему счастливый отец! Сегодняшнюю партию выиграла ты.

Георгий-победитель

Жил-был мальчик, и звали его Гоша. Но это его детское имя, по-настоящему его звали Георгием, а когда он вырастет, его будут звать Георгием Леонидовичем, потому что он — Георгий, а папа его — Леонид. У взрослых всё очень запутанно. К примеру, жила девочка Маша, а её папу звали Васей, когда девочка выросла и стала воспитательницей в детском саду, все стали звать её Марией Васильевной. Не Маша Васильевна, а Мария Васильевна. Но Машу, когда она была маленькой, звали ещё и Марусей, и Маней, а хулиганы даже обзывали Муркой.

Наш знакомый мальчик Гоша был воспитанным человеком и Машу называл Машей, Дашу — Дашей, девочку Сашу — Сашей, а не Шурой или Александрой, как иногда ещё зовут девочек по имени Саша. Родился Гоша в очень хитрый день — восьмого марта, когда все празднуют Международный женский день. А мужчины и мальчики в этот день дарят своим дамам и мамам цветы и всякие красивые подарки. Так и получилось, что у всех девочек праздник — Восьмое марта, и у Гоши праздник — день рождения. Девочкам дарят подарки и Гоше дарят подарки, возможно, что из-за этого случайного совпадения Гоша рос очень стеснительным и робким мальчиком.

В тот день ему исполнилось пять лет! Все собрались в детском саду в актовом зале на концерт, чтобы поздравить мам и воспитательниц. Гоша должен был читать стихотворение о маме собственного сочинения. Правда, когда он репетировал, то сильно смущался, хотя и говорил достаточно громко.

И вот все уже собрались и расселись на стулья, которые ещё вчера воспитатели собрали по всему детскому саду и составили ровными рядами в зале. Гошина мама тоже сидела и смотрела концерт. Дети выступали хорошо, особенно Дина и Катя красиво танцевали с ленточками и шарами. После танца шары полетели в зал, и все — и дети и взрослые — старались по ним ударить, и так веселились, пока все шары не полопались. Потом на сцену вышел Кирилл, он запел песню про Антошку, который не хотел копать картошку. А Кирилл сам был похож на ленивого Антошку, и потому всем было весело его слушать. Он смешно таращил глаза и разводил руками, когда начинал припев: «Это мы не проходили, это нам не задавали!»

Всем очень понравилось его выступление, его вызвали на бис, и Кирилл опять пел и ещё больше смешил зрителей. Когда аплодисменты стихли и Мария Васильевна отпустила Кирилла, он вдруг опять заскочил на сцену и запел: «Это мы не проходили!», но воспитательница остановила его и попросила идти к маме.

А потом Мария Васильевна объявила Гошин номер и сказала, что Гоша поэт и прочитает стихотворение собственного сочинения. Гоша вышел на сцену и увидел много людей, так много мам в одной комнате он ещё никогда не видел и смутился. Он стоял и молчал. Мамы и дети для ободрения захлопали в ладоши, а он всё равно молчал и смотрел в пол. Тогда Мария Васильевна взяла его за руку и спросила:

— Гоша, а ты помнишь, какой сегодня праздник? — Гоша кивнул головой, громко шмыгнул носом и утёрся рукавом рубашки. — Так какой сегодня праздник? — переспросила воспитательница.

— Сегодня день моего рождения! — сказал Гоша, и все вдруг засмеялись и вновь захлопали в ладоши.

— Да, мы это помним. Ну хорошо, иди к маме, но как только вспомнишь своё стихотворение, приходи на сцену. Хорошо?

Гоша кивнул и побежал к маме. А Мария Васильевна пригласила выступить красивую девочку Веру, которая начала исполнять песню про весну. Мама обняла Гошу и тихонько спросила:

— Мальчик мой, ты что, забыл стихотворение?

— Нет, — ответил Гоша маме на ушко, — я испугался.

— Но, Гоша, у тебя такое красивое стихотворение, и ты боишься порадовать людей? Знаешь, как громко тебе будут аплодировать? Вот увидишь. Тебе никак нельзя бояться, потому что ты Георгий — это значит победитель. Давай сейчас с тобой победим страх, и он больше никогда не придёт к нам. Сейчас ты выйдешь на сцену, будешь смотреть на меня и громко читать свой стишок. Хорошо? — Гоша кивнул. Мама поцеловала Гошу, обняла и шепнула: — Иди, сынок, за победой, я жду тебя.

Гоша подошёл к сцене, и, когда Верочка закончила петь, Мария Васильевна вновь объявила Гошин номер. Гоша вышел на сцену, поднял глаза, увидел маму и громко прочитал:

Моя мама милая,
Самая красивая.
Я её люблю
И ей песенку пою:
Ля-ля, ля-ля, ля, ля!

Зрители долго хлопали в ладоши, а Мария Васильевна подарила Гоше большого плюшевого медведя и сказала: «Нашему герою сегодня исполнилось пять лет».

С этого дня мама и папа стали звать Гошу полным именем — Георгий, а день его рождения праздновать девятого марта, потому что девочек надо пропускать вперёд.



Чемпион

Жил-был мальчик, и звали его Миша. Миша был небольшого роста, с крепкой грудью, сильными руками и короткими бело-рыжими волосами на круглой, как мяч, голове. Миша ходил в детский сад и дружил с девочкой Людой. Её папа работал тренером по борьбе, и всегда, когда приводил Людочку в детский сад и там встречался с Мишиной мамой, он начинал один и тот же разговор. Сегодня он вновь начал звать Мишу к себе в спортивную секцию:

— Хороший малый, будущий чемпион. Через пару лет жду к себе в секцию. Боец будет знатный!

— Не нравится мне ваша борьба, — отвечала Мишина мама, — переломаете мальчику руки-ноги.

— Этому малому не переломаешь! Смотрите, какие у него широкие плечи, крепкая шея — готовый борец.

— Да, уж я-то знаю, — вздыхала Мишина мама, помогая одеваться своему сыну.

— Поверьте, мамаша, ваш сын — будущий олимпийский чемпион!

— Ну если олимпийский, — улыбнулась Мишина мама, — тогда мы подумаем. А дорогая у вас секция? Сколько нужно платить?

Дело в том, что Мишины мама и папа зарабатывали немного и жили достаточно скромно. И потому Мишина мама чаще других задавала вопрос, что сколько стоит.

— Для таких перспективных, как ваш сын, бесплатно! — гордо отвечал Людочкин папа-тренер.

— Мы подумаем, — согласилась Мишина мама и спросила у сына: — Ты хочешь быть чемпионом?

Миша протянул к ней руки и ответил:

— Видишь, какой я сильный! Я — чемпион!

Взрослые рассмеялись над Мишей, а дети, которые слышали этот разговор в раздевалке, стали звать его Мишка-чемпион. Но звали его вроде и уважительно: Мишка-чемпион, а звучало несколько насмешливо, как, например, если бы его звали Мишка-кока-кола или Мишка-лимонад. Миша этого не замечал, а дети уже и насмеялись над ним, к месту и не к месту называя его чемпионом. А Миша и рад поговорить, как он пойдёт через два года в секцию борьбы, всем там накостыляет и станет олимпийским чемпионом!

Но произошёл случай, который даже и воспитатели помнят. Как-то уже под осень вышла группа на прогулку. Как попал незнакомый мальчишка на территорию садика, никто не заметил. Но когда он начал отбирать у Оленьки игрушку, все вдруг замерли, глядя на молчаливую борьбу маленькой, но настойчивой Оли и мальчишки-первоклассника.

— А где Мишка-чемпион? — спросила громко Людочка.

— Я здесь! — выступил вперёд Миша, сжал кулаки и уверенно пошёл на хулигана.

— Чемпион? — смутился хулиган и бросил Олину игрушку на землю.

— Да! Чемпион! По борьбе! — подтвердила Оля, показала мальчишке язык и подняла свою игрушку.

Миша погнался за хулиганом, но тот перескочил через высокий забор и убежал прочь.

— Ура! — закричала Людочка. — Мишка победил!

Ох и весело было в тот день в детсаду. А Мишка совсем расхвастался и сказал:

— Я вот ещё чемпионом по прыжкам в высоту буду, вот увидите. И тогда от меня никто не убежит. Догоню и накостыляю!



Солдат

Жил-был мальчик, и звали его Саша. Летом Саша гостил у дедушки с бабушкой в деревне. У них был большой дом из толстых круглых брёвен, с высоким крыльцом и пыльным чердаком, на котором хранились сундуки, коробки и корзины.

В сарае жили куры, корова Зорька, бычок Борька и собака Дура. Собака была совсем не дурой, и даже напротив, очень умной и сообразительной. Но почему-то её так называли. А на сеновале никто не жил, там было тихо, пахло пылью и сеном.

На день рождения папа подарил Саше автомат. Автомат был как настоящий, нажмёшь на курок, а он: «та-та-та!» — трещал очередями. Саша любил играть в войну.

— С кем ты всё сражаешься? — как-то спросила Сашу бабушка. — С утра и до вечера тра-та-та-та, тра-та-та-та.

— Со страшными трансформерами с другой планеты, они хотят захватить нас, а я их та-та-та — всех до одного. Я спасу мир, бабушка!

— А ты кто? Солдат или офицер?

— Я — главный бандит, у меня есть своя банда — это Лёшка и Васька.

— Как? Лёша и Вася тоже бандиты?! — удивилась бабушка.

— Самые крутые парни в нашей деревне!

Бабушка промолчала, ничего не стала отвечать внуку, но когда наступило время обеда и дедушка, бабушка и Саша сели за стол, бабушка вздохнула:

— Вот, дед, дожились мы до счастливых дней, внук наш — главный бандит в нашей деревне, а соседские ребята Лёша и Вася — его банда.

— Это кто же придумал такую игру? — спросил дедушка.

— Я, — гордо ответил Саша.

— Н-да, — вздохнул дед, — какая каша в голове у ребёнка.

— Почему у меня каша в голове? — обиделся Саша.

— Потому что, когда ты её ешь, она у тебя не в живот идёт, а в голове остаётся.

Саша посмотрел на свой живот и нажал пальцем на маленький пупок.

— Вот здесь у меня каша, и молоко, и пряники!

Дед ничего не ответил, начал молча хлебать жирные щи.

Весь остаток дня Саша сидел на сеновале, в войну не играл и на призыв своих друзей по банде не отзывался. Он обиделся.

Вечером, когда бабушка доила корову, Саша подошёл к ней и присел рядом на корточках. Он любил смотреть, как бабушка ловко доит Зорьку. Она так умело тянула за сосцы, что казалось — молоко брызжет тонкой струйкой из её кулаков. Молоко звонко билось о дно подойника и пенилось большими белыми пузырями.

— Бабушка, а можно мне подоить корову? — тихо спросил Саша. Он уже знал, что во время дойки шуметь нельзя.

— Нет, — прошептала бабушка в ответ, не прекращая доить корову.

— А почему?

— Бандиты коров не доят, они только грабят и убивают людей.

— А я хороший бандит.

— Хороших бандитов не бывает. Бывают только плохие бандиты.

— А кто же мир спасёт?

— Мир не спасают, а защищают солдаты и офицеры.

— А кто главнее, солдат или офицер?

— Офицер, конечно.

— Тогда я буду офицером.

— Прежде чем стать офицером, нужно быть солдатом. А чтобы стать солдатом, нужно много знать.

— А что нужно знать?

— Позже расскажу, не мешай теперь, видишь, Зорька нервничает, хвостом машет.

Саша затих и задумался. Но потом опять зашептал.

— Бабушка, а солдаты сильнее трансформеров?

— Конечно.

— А...

— Потом, внучек, потом, — прервала бабушка Сашу.

Вечером, когда Саша уже лежал в постели, пришла бабушка, села на краешек кровати и будто продолжила давно начатый разговор.

— Солдат, внучек, служит людям, он защищает свою страну, после победы возвращается домой, а если солдат погиб в бою, он всё равно живёт в памяти благодарных людей. Ты, наверное, видел обелиск с именами героев. Счастлива мать, отдавшая сына

защищать Родину. Бандиты служат только себе, о них люди даже не вспоминают, и мы о них говорить не будем. Когда вырастешь, кем бы ты ни стал — служи людям и своей стране, и тогда и людям будет хорошо, и тебе радостно. Если сейчас меня не понял, то потом поймёшь, посерьёзнеешь и поймёшь. А теперь спи.

— Бабушка, я буду солдатом.

— Вот и хорошо, будущий солдат должен много работать, много кушать и крепко спать.

— Бабушка, а каша у меня в голове?

— Теперь уже в животе. Спокойной ночи, солдат мой и защитник.

Бабушка поцеловала внука и вышла из комнаты. А счастливый Саша повернулся на правый бок и уснул.



Солнечный мальчик

Жил-был мальчик с тоненькими ручками и ножками, маленьким бледным лицом и большими голубыми глазами — необычными глазами. Всякий, кто решался заглянуть в них, видел свою душу. Говорят, что один мясник увидел вместо своего отражения безобразную жабу. Вот такие совершенно удивительные глаза.

У мальчика была тележка, на которой стоял короб, это что-то похожее на большое ведро, только плетёное из тонких прутьев и с крышкой. Мальчик катал тележку по городу и слабым, но достаточно звонким голосом выкрикивал:

— Солнечный лучик! Солнечный лучик!

Люди пожимали плечами, удивляясь, кому нужен Солнечный лучик, да и зачем он нужен, если над городом не появляется Солнце. Да, в городе давно установилось серое утро, а может быть, вечер. Просто никто уже не помнил, когда ушло Солнце, утром или вечером.

Люди расступались, пропуская мальчика, кто-то с удивлением и интересом провожал его взглядом, кто-то вертел пальцем у виска, мол, сумасшедший.

— Солнечный лучик! — выкрикивал мальчик, и только маленькие колёсики его тележки поскрипывали в ответ.

Однажды он повстречался на улице с другим мальчиком, который возил тележку с большой кастрюлей и выкрикивал: «Горячие сосиски! Горячие сосиски!»

— Покажи свой Лучик, — попросил сын повара, — я дам тебе сосиску.

— Нет. Нельзя.

— Отчего же нельзя? Вот у меня сочные сосиски. — Он приподнял крышку кастрюли, оттуда повалил пар, и мальчик ловко выловил горячую розовую сосиску.

— Я не могу показать свой Лучик, — ответил мальчик, — ещё не время, он может погибнуть. Над городом так давно не было Солнца.

— Так зачем же ты кричишь о своём Солнечном лучике, если его не то что продать, а и увидеть нельзя.

— Сосисок в городе много, а Лучик один. И люди должны помнить о том, что когда-то было Солнце.

— Глупец ты, братец! — сказал мужик, подслушавший разговор мальчиков. — Кому это нужно — знать про твой Лучик и помнить о том, чего давно нет.

Мужик купил сосиску и тут же принялся с аппетитом её поедать. Он не заметил, как в голубых глазах мальчика отразился пень. Да-да, обычный пень, каких много встречается в лесу.

Трудно сказать, сколько прошло времени с той встречи, ведь Солнце не появлялось над городом, и никто не знал, когда начинается и кончается день. Ох и бестолковая жизнь была в этом городе: ни дня, ни ночи. Одни просыпаются, идут в булочную, а там спать легли. Вот такая неразбериха: кто в лес, кто по дрова.

Но каждое утро появлялся мальчик с Солнечным лучиком. Он бродил по городу и выкрикивал:

— Солнечный лучик! Солнечный лучик!

Люди начали привыкать к нему, а потом и задумываться: «Неспроста в городе появился этот

мальчик». А самые смелые решались заглянуть в его глаза.

Никто и не скажет теперь, кто первым назвал его Солнечным мальчиком. Больше того, люди стали просыпаться в тот час, когда Солнечный мальчик начал бродить по городу и выкрикивать, как заклинание, свои слова. Но с некоторых пор жизнь в городе начала налаживаться, люди научились просыпаться в один и тот же час.

И вот молва о Солнечном мальчике дошла до самого Царя. Царь был злым человеком, а как услышал о мальчике, который научил город просыпаться в один час, совсем рассвирепел. И решил, чтобы другим было неповадно, разделаться с ним, и не тайком — в комнате пыток, а принародно, чтобы люди не забывали, что такое страх.

И когда мальчик вышел на городскую площадь, где всегда было много народа, его вдруг окружили всадники на крупных храпящих лошадях, охранники Царя, а потом появился сам Царь. Он сидел на троне, и четыре здоровенных раба тащили этот трон на своих плечах. Трон опустили на землю, и Царь уставился на мальчика злыми глазами. Люди столпились вокруг, перешёптывались, с тревогой наблюдая за Царём и Солнечным мальчиком.

— Что в твоём коробе? — грозно спросил Царь.

— Солнечный лучик, — ответил мальчик.

Он произнёс эти слова так твёрдо и уверенно, что люди впервые не усомнились в них.

Царь встал.

— Открой, — приказал он, посмотрел мальчику в глаза и расхохотался. — Кто лгал мне, что этот

щенок обладает чудесными глазами?! Вот я смотрю в его глаза и ничего не вижу.

— Верно, — ответил мальчик, — ничто не может отразиться даже в зеркале.

Люди рассмеялись.

— Молчать! — гаркнул Царь и замахнулся на мальчика, чтобы ударить его плёткой.

Волна недовольства прокатилась по толпе. Люди зашумели, а кто-то даже крикнул:

— Не тронь мальчика! Он не сделал ничего дурного!

— Что?! Бунт?! — заорал Царь на людей, а стражники выставили острые копья. — Бунт не потерплю! И этого щенка не потерплю! — ещё неистовее заорал Царь и пнул по коробу.

Короб упал с тележки, и крышка отлетела в сторону. Будто что-то вспыхнуло, ударившись о стенки короба, а может, это всем просто показалось, но яркий свет взметнулся ввысь, — верхушки деревьев, и верхние этажи домов вдруг осветились первыми лучами восходящего Солнца. Вся площадь ликовала. В город вернулось Солнце! А когда первый восторг прошёл, все заметили, что Солнечного мальчика нигде нет, и Царя среди людей тоже нет...

Где теперь Солнечный мальчик, никто не знает. Может быть, он в вашем городе? Может быть, над вашим городом тоже давно нет Солнца, но вы об этом не знаете, потому что не помните, какое оно — это Солнце? Тогда слушайте, слушайте внимательно, и вы обязательно услышите: «Солнечный лучик! Солнечный лучик!»

ТАЙНА
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ



Чемодан

Эта история произошла очень давно. Мне исполнилось пять лет, когда мы с отцом отправились в большое путешествие. Отец мой был родом из Шипицина, это селенье сохранилось до сих пор посреди Барабинских степей. И поводом того путешествия, видимо, и было навестить своих родственников, родные степи и, конечно, похвастаться мною — сыном, наследником.

От станции мы шли едва ли не целый день, пытаясь достигнуть пределов неведомой мне деревни. Устал я страшенно. Помню, за-ради минут самого короткого отдыха я, точно собачка, обгонял отца, устраивался в сырой и не тронутой весенним солнцем траве и прислушивался к размеренному ходу отцовских шагов. Отец нёс большой фанерный чемодан с подарками.

В деревне, где мы, наконец, заночевали, нам дали лошадь с телегой, и оставшиеся километры до Шипицина я уже нежился на подстилке из тёплого и душистого сена, разглядывая, как железный обод тележного колеса выдавливает глубокий след на сырой дороге. Иногда моё внимание и нос, исколотый пыльными травинками, привлекал чемодан, в котором — это я знал в точности — содержались жестяная баночка с разноцветными монпансье и целый, круглый килограмм конфет, обёрнутых плотною бумагой. Эти карамельки тоже были крохотными, наподобие подушечек, присыпанных сахаром. Однако были покрупнее бомбошек из монпансье и, что самое важное,

содержали в себе малую толику повидла, при одном только виде которого не только сопливая девчушка, но и самая крепкая баба складывала оружие и делалась покладистой. Потому и называли эти подушечки «дунькина радость».

Дорогу нам преградил ручей. Однако! Таким ласковым и невинным словом этот мутный поток называли, наверное, только летом, да и то, скорее всего, самым засушливым. Теперь же его струи заполняли весь овраг целиком и так, что верхние веточки ивушка едва возвышались над водой. Отец приструнил лошадь, прогулялся по вязкому берегу, но места, подходящего для переправы, так и не обнаружил.

Раздевался отец долго, сосредоточенно, теперь-то я понимаю, что он продумывал переправу, а тогда мне было страшно и хотелось, чтобы мы поскорее переправились и всё было бы уже позади. Отец стянул комок своей одежды ремнём и, разбежавшись, перекинул его на другой берег.

— Ну, сынок, держись, поехали, — решился он и, аккуратно подёрнув поводьями, повёл лошадку к ручью.

Лошадь всё глубже заходила в воду, она похрапывала, идти не хотела, но отец уверенно держал поводья и ласково приговаривал:

— Давай, давай, милая, полегонечку.

Но вот он поплыл рядом с лошадью, а у той вода готова была уже сомкнуться над спиной, как она, вдруг зацепившись за дно, начала подниматься. А в телеге, в которой сидел я, появилась вода, чемодан всплыл и начал дрейфовать к краю. Я схватился за чемодан, и меня потянуло из телеги. Но отец уже

был на берегу, помогал лошади подняться на крутой берег ручья. Он обернулся и закричал:

— Держись! Держись за телегу! Отпусти чемодан!

Правой рукой я ухватился за край телеги, а левой — упрямо тянул чемодан к себе. Мне кажется, я выл от страха, но чемодан так и не согласился отпустить.

Когда мы были уже наверху, отец передел меня в свою сухую одежду, уложил в телегу. Он остался в нижнем белье и сапогах, пошёл рядом и всё выговаривал мне:

— Сынок, не нужно держаться за чемодан. Дело пустое, утянет — и поминай как звали. Чемодан-то можно новый купить, а тебя не купишь. Булькнул бы в воду с этим добром, и как тебя потом выловишь в такой мутине...

А я был доволен. Отец бежал рядом с лошадью, я захрустел «дунькиной радостью», и дразнящий аромат ванильного сахара, запахи сырой степи и сена наконец сошлись в столь желанное для меня представление о счастливой жизни.



Первое апреля

*Тля ест траву, ржа —
железо, а лжа — душу.*

А. П. Чехов

А посёлок наш, скажу прямо, неухоженным был — просто страсть. В то время моего детства, впрочем, грязищей на улицах не только мы славились. Время послевоенное, понятно, что во время войны все средства шли на фронт, а потом, лет десять, вся страна восстанавливала ту часть Отечества нашего, которая под немцами была. Так что денег поселковая власть ни в войну, ни после войны долго не видала. Но наш посёлок — особый, потому что как раз посередине его было Моховое болото.

В те годы на эту площадь сколько камня и щебня ни валили, всё тонуло, одна грязь да зыбь под ногами. С одной стороны площади — гостиница одноэтажная, с другой — «Погребок» пивной, а за ним — улица в сторону железнодорожного вокзала. А вот перед вокзалом были тротуары, деревянные, такие сейчас мало кто вспомнит. Мы по этим тротуарам на самокатах гоняли. Какое это было удовольствие — по деревянным плахам жужжать подшпиками, главное, чтобы в щель колёсико не залетело. А если залетит, то всё: и колени, и нос обдерёшь. Носы — это ладно бы, но вот штаны рвались — это беда. Мы тогда все в шароварах бегали. За порванные шаровары полагалась дома порка. Кстати, очень неудобная одежда, всё время то за какой-нибудь угол цапанёшь, то забор

помешает, а главными врагами шаровар были гвозди. Короче, пороли нас часто.

На вокзале было чисто, всё зеленоватым отсевом засыпано и тщательно прометено. Как-никак лицо посёлка. «Лицо» было всегда вымыто, выбрито и с румянцем. Рядом с вокзалом, вдоль линии — товарная контора, а за нею туалет. Туалет необычный для наших мест — благоустроенный, с кабинками. Но в кабинках, так и по сию пору, дверки с оторванными щеколдами.

Апрель в наших местах — это конкретный и уже бесповоротный месяц весны. Март — он и вашим, и нашим, а апрель — свой парень. С апрелем и грязь глыбилась, но по утрам ещё можно было по промёрзшему пройти, а вечером всё — только вплавь, и не факт, что сапоги выручат.

В тот день я к маме на станцию прибежал из школы, это был последний день учёбы перед весенними каникулами. Любил я к маме на работу заглядывать. Во-первых, рядом; во-вторых, у неё бутерброд с колбасой. В багажном я уже не раз бывал, и нравилось мне рассматривать стеллаж с «потерянными» вещами. Чего здесь только не было: и саквояж кожаный с металлическим замком, и сумки, и чемоданы, и даже пальто. Но больше всего привлекала меня трость с гладкой светло-коричневой ручкой. Мама работала дежурным по вокзалу, а тут что-то случилось, и она замещала товарного кассира тётю Любу.

Я наслаждался бутербродом с редким для нашего времени деликатесом, когда в контору заглянул дед Моисей — сторож с поселкового кладбища. Высокий, слегка сутулый, ручищи огромные, нос бугристый, в оспинках.

— Доброго здоровья, Надежда Ивановна, — дед Моисей снял шапку.

— А, деда, заходи, — пригласила мама. — Какими судьбами?

— На почту, да вот решил к тебе заглянуть.

— Пишет кто?

— Я написать хочу.

— Так ты не умеешь.

— А вот Миколка твой умеет. Я ему продиктую.

— Скучно на кладбище? Жениться бы тебе.

— Да, ещё бы, на десятом десятке. Мне и так скучать некогда, считай, каждый день по покойнику, редко два, а ещё реже когда никого.

— Старики мрут?

— Фронтовики в основном. Калеки. Кто без ног, кто без рук. И старики, конечно.

— С праздником тебя, деда.

— А какой праздник?

— Живёшь оторванным и не знаешь, сегодня первое апреля — никому не веря!

— Ну, это вы уже празднуйте, пока молодые.

— Деда, — подскочил я, — а я сегодня пятёрку получил!

— Молодец, Микола. А я вот и писать-то не умею.

— Первое апреля! Первое апреля — никому не веря! — закричал я, радостный, что обманул дедушку. — А у нас каникулы!

— Да, — рассеянно ответил дед, — а я подумал, что ты и впрямь пятёрку получил.

— Слушай, деда, — позвала мама, — из гостиницы звонили, там у них пассажир с багажом, а грузчик у нас сегодня не вышел на работу. Может, ты сходишь? Глядишь, рубль-два заработаешь.

— Рубль, а может, и два, говоришь, — дед задумался. — Ну а что, в руках унесу или тележка нужна?

— Тележка, деда, только на тележке, багажа, говорит, много.

— Ну, если с тележкой, то, может, и два рубля даст, — вслух подумал дед. — Ну и лады. А вернусь, Миколка, ты дождись, мы с тобой письмо напишем.

Дед взял тележку и ушёл в гостиницу.

— Коля, может, домой пойдёшь? — позвала мама. — Я письмо деду сама черкану.

— Нет, мама, я здесь поиграю.

— Ну как хочешь, но только ничего не бери.

Я и не собирался брать ничего, кроме трости. Тем более я её уже и раньше брал. Она была лёгкая, на мягком копытце и с резной ручкой. Вся ручка гладкая, а вот самый кончик её был вырезан в форме змеиной головы. Я ставил трость, наваливался на неё животом и пытался удержать равновесие. Я мог часами забавляться этой удивительно красивой тростью.

Хлопнула входная дверь, я быстро засунул трость на место и побежал к выходу. Вернулась товарный кассир тётя Люба.

— Надя, ты понимаешь, меня обманули!

— Как обманули?

— Сказали, что у меня дом горит. Вот я и побежала, только начальнику станции ключи от конторы бросила, и бегом. Я думала, у меня разрыв сердца будет! У меня же там Ленка с Ольгой водится! Ну, думала, только бы дети не сгорели! Прибегаю, а они на меня смотрят и понять ничего не могут! Ты понимаешь, какие люди-то есть бессердечные! Да разве можно так

шутить! Ты что, Надя? Побледнела-то вся? Ты ли так пошутила надо мной?

— Люба, — прошептала мама. — Я деда Моисея в гостиницу отправила за багажом.

— И что? Он уже не раз ходил. Так и что?

— Да никакого багажа там нету. Это я так, разыграть решила, с первым апреля поздравить.

— Надежда, да как же ты? Там же по Моховому не пройти. А на улице вообще всё развезло. Он с тележкой?

Мать кивнула.

— О, беда-то, ему же за девяносто лет! Он же надорвётся! Беги давай, выручай!

— Он давно ушёл. Люба, стыд-то какой.

Открылась дверь. Сначала въехала грязная тележка, потом вошёл и дед Моисей.

— Тележку сама помоешь, — сказал он и вышел вон.

Письмо мы с ним так и не написали.

* * *

Прошло много лет. Недавно я позвонил маме.

— Мама, привет. А я о тебе рассказ написал, «Первое апреля» называется.

— О чём, сынок? Ты говори погромче, а то у нас связь плохая.

— Помнишь, как ты деда Моисея отправила в гостиницу за багажом? Разыграла на первое апреля.

— Помню сынок, ещё как помню. До сих пор плачу и прощения прошу.

— Да что уж ты так-то, больше сорока лет прошло.

— Времени прошло много, а как вспомню, пове-
ришь ли, сердце холодеет и слёзы сами льются. Ты хо-
рошо сделал, что написал. Может, люди, которые про-
читают, добрее будут. И ещё напиши, чтобы особенно
к старикам. Мы ведь такие уязвимые.

— Знаешь, мам, а я хорошо помню этот случай,
и как ты плакала, когда дед Моисей ушёл. Ты ещё
говорила: «Почему он меня не отругал, почему молча
ушёл! Лучше бы ударил, мне бы легче стало». Я за-
помнил, потому что никак не мог понять, что от взбуч-
ки человеку может стать легче. Ты не плачь. Если так
до сих пор душа болит, то Моисей простил уже, он же
видит твоё чистое сердце. И себя прости, отпусти боль,
не держи в сердце.

— Хорошо, сынок, не буду. Успокоил ты меня,
спасибо. И за рассказ спасибо.



Лягушка

Говорят, там, внизу лога, меж кочек и камышей, течёт маленькая речка Оёшка. А может, и правда, она ещё жива и не заболотилась, как казалось издалека.

В эти места теперь редко заходили люди. Новая дорога пролегла наверху за лесом, там слышался шум машин, а здесь царила раскалённая на солнце тишина.

Генка шагал вдоль дороги в закатанных до колен штанах, рубашку он давно снял и накинул на голову, так что воротник охватил лоб, а лёгкая материя прилипла к влажным плечам и спине. Было тоскливо-жарко, казалось, зной комарино звенел в онемевшем от духоты воздухе. Хотелось пить.

Перед тем как покинуть узкую поляну, где паслась комолая корова Зорька, мать напоила его водой из четвертной бутылки, в которой зимой хранился самогон. Вода была тёплой и противной от сохранившегося чуть уловимого запаха сивухи. Генка теперь жалел, что не напился вдоволь. Но уже было хорошо то, что здесь, на солнцепёке, не было комара, только крохотные белые бабочки, будто высохшие лепестки полевой ромашки, изредка взлетали над пожухлой травой, но тут же исчезали, оцепенев на тонких цветочных стебельках.

Жажда поманила к болотной сырости. Под ногами пугающе заволновалась земля, хлюпнула вода и приятно обожгла холодом серые от дорожной пыли ступни. Дальше идти было опасно. Генка остановился, боязливо осмотрел кочки и рогатины высохшего

кустарника. Но любопытство и желание напиться из ручья победило страх, и он сделал шаг, и ещё шаг. Теперь казалось, что земля пульсирует под ногами от каждого удара сердца.

Мохнатая кочка со сбитой набекрень растительностью, на которую собирался наступить Генка, вдруг зашипела, забулькала, разбрызгивая ядовитые слюни, и утянула свою голову в рыжую муть.

— Лешак! — завопил Генка и кинулся обратно.

На берегу он упал в траву и со страхом оглядел тихое и мёртвое болото. Но теперь-то он уже точно знал, что оно не мёртвое, как казалось, а живое, оно только прикрылось сонной тишиной, чтобы обмануть и погубить.

Испуг постепенно отступил, но идти дальше не хотелось, жара забрала последние силы, лежать было несравненно лучше. Генка оглядел голубое, без единого облачка небо, перевернулся на живот и увидел яму — чёрная вода была дном этого колодца. Он заглянул внутрь — пахнуло сыростью и прохладой, опустил руку, чтобы зачерпнуть воды, но что-то живое метнулось в сторону, взволновав гладь маленького подземного озера.

— Змея, — прошептал Генка, но не отпрянул, а пригляделся к темноте. Он даже обрадовался, значит, он не один на этой земле, где лило душным потоком солнце, а тишина наваливалась на плечи и прижимала к земле.

— У-у-у! — прогудел он в тёмную яму, цепенея от собственного глухого и незнакомого голоса.

Большая лягушка испуганно бултыхнулась и замерла у края чёрного зеркала. Генка просунул

в колодец всю голову и протяжно, как ему казалось, по-волшебному, позвал:

— Лягу-ушка-а!

Он поймал её и, раскачивая на ладони, подул на испуганные, круглые, как бусины, глаза.

— Боишься, глупая? Плыви. — Он вдруг замер и напряжённо осмотрел колодец. — Слышь, а может, ты сюда упала? А? Может, тебя спасти надо?

Как поступить, Генка не знал: спасти её или оставить — вдруг это её дом? Раздумывая над этим, он опустил пальцы в прохладную тёмную воду. Лягушка подплыла к руке и уткнулась в неё своим тупым носом.

— Дрессированная! — удивился Генка, но тут же понял, что она просит о помощи. Обрадованный, он взял её под пухлое брюшко и поднял наверх.

Два паренёк стояли напротив, их появление было столь неожиданным, что Генка вздрогнул.

— Живой, — огорчился тот, что был повыше.

Генка промолчал, прижимая к груди спасённого лягушонка.

Второй, рыжий, опёрся на большую гладкую палку, радостно заговорил:

— А мы думали, что тыдохлый. Смотрим, головы нет, одна жопа! Под Варламовкой мужику рысь голова отъела, слышал?

— Нет, рыси нет. У меня вот...

Лягушка почувствовала свободу и прыгнула на колени.

— А ну, покажь. — Рыжий ловко поймал её и, подняв за одну лапку, стал разглядывать. — От них бородавки бывают, это вредная лягушка. Её казнить

надо. — Он откинул палку и пошёл к одинокой придорожной берёзе.

— Как казнить? — не понял Генка.

— Щас увидишь, — ответил Рыжий и обратился к своему товарищу: — Как будем? Как Гитлера или как Геббельса?

Про Гитлера Генка знал много. Он знал, что Гитлер враг, что он фашист, страшный фашист, который сжигает на кострах маленьких детей. Про Гитлера пели всякие матерщинные песенки. Генка тоже пел, правда очень маленькую:

Внимание! Внимание!
Говорит Германия!
Сегодня под мостом
Поймали Гитлера с хвостом!

Гитлера с хвостом Генка никак не мог представить, но видел его в кино: тощего, со злыми глазами, в рогатой каске и с огромным мечом в руке. Генка ненавидел его и боялся.

Высокий пацан похлопал себя по карманам и спросил:

— Спички есть?

— Нет. — Генке стало приятно, что его, как взрослого, спрашивают про спички, будто и вправду они могли быть у него. Знать бы заранее, он бы обязательно взял спички с собой: там, дома на печной складке лежит несколько коробков, зимою мать каждое утро берёт оттуда спички и растапливает печь.

— Спичек нет! — крикнул Высокий. — Давай как Геббельса!

Мальчики подошли к берёзе. Рыжий отыскал на стволе сухой сучок и начал насаживать на него лягушонка.

— Зачем вы?! Ей же больно!

— Геббельсов на кол всегда садют.

Лягушка квакнула и удивлённо выпучила глаза.

— Не надо!..

— Катись, — оттолкнул Генку Высокий.

— Не надо!

Генка вцепился в руку пацана. Но тот высвободился, повернул Генку и наладил ему пинка:

— Вали! Пока самого на кол не посадили!

Генка бежал по серой колее дороги, горячая рыхлая пыль обжигала пятки. Он бежал, задыхаясь тёплым воздухом, а перед глазами мельтешили вытаращенные глаза-бусинки.

— А может, она жила там? — шептал Генка, сглазывая слёзы. — А может, там дом лягушачий был! Может, у неё там детки маленькие остались! А кто их теперь кормить будет?!

Голова у Генки закружилась, подступила тошнота, силы ушли в серую пыль, и он прилёг на пыльную обочину.

На окраине посёлка Зудово в глубоком грязном овраге, заваленном мусором, отходами и хламом, жил ручеёк, который рождался под каменным забором мясокомбината. Если вдруг начинал дуть восточный ветер, то всё Зудово сразу же вспоминало о существовании овражного стока — зловоние плотно накрывало весь посёлок. Но в Сибири восточный ветер редкость, и потому местные власти не очень спешили ссориться

с директором мясокомбината. И только в дни затяжных восточных ветров председатель поселкового Совета отправлял рассерженное письмо в адрес мясокомбината. Но пока почта переваривала заказное письмо, ветер успевал сменить направление, и отходчивое сердце «преда» уже не ждало ответного письма. Всё заканчивалось мирными переговорами по телефону и обещаниями «исправить положение». Мясокомбинат продолжал вырабатывать колбасную продукцию и рождать тихий вонючий ручеёк.

Овражный сток кто-то в шутку назвал речкой Мясихой, и скоро все жители посёлка были уверены, что такая речка действительно существует, а некоторые даже пытались найти её на географической карте.

На берегу ручья, там, где было переброшено несколько плах, электросети установили опору с похожим на тарелку светильником. Впрочем, такими «тарелками-фонарями» украсили все улицы посёлка, отчего тут же родилась шутка, что, мол, Зудово офонарело. Но этот столб у переправы через ручей был единственным — к нему забыли бросить электропровод. Скоро одинокий, забытый столб стал излюбленным местом сбора местных пацанов. У мальчишек появилась новая увлекательная игра — кидать на меткость по светильнику. Камни летали с утра до вечера, и скоро куча щебня была раскидана ровным слоем вокруг столба. Кто только не пытал свою меткость. Даже мужики, однажды собравшиеся на берегу Мясихи выпить литр «калымной» водки, ввязались в соревнование с местными пацанами и проиграли.

Когда Генка перебрался по гнилым доскам через ручей, несколько пацанов лениво обстреливали

плафон. Камни пролетали мимо и, не задев светильника, утопали в грязном ручье. Генка с минуту наблюдал, потом подобрал камень и что есть силы бросил вверх. Камень грохнул по измятой тарелке. Пацаны обиделись и обступили незваного гостя.

— По морде хочешь? У нас, может, соревнование!

— А это твой столб, что ли? — огрызнулся Генка и понял, что его собираются бить. — А у меня отец в милиции работает!

Мальчишки, подступившие было к нему, остановились в растерянности, с милицией они связываться не хотели.

— А! Да он ещё и ментовский! Они моего дядьку в тюрьму затырили!

Генку били и за дядьку, и за столб, и за то, что заняться больше было нечем. Его били не зло, из-за жары, наверное, потом раскачали и бросили в Мясиху, отчего Генка совершенно озверел, вскочил и, утопая в вонючей жиже, побежал за обидчиками.

Домой Генка приплёлся совершенно уставший, грязь подсохла и отваливалась ломкими кусками. Он разделся на улице, бросил штаны на крыльцо и только теперь вспомнил, что рубашка осталась у лягушиного подземного озера.

Кухонный пол, где он устроил баню, скоро походил на большую поселковую лужу. Отворилась дверь, и на пороге появилась соседка тётя Стеша.

— Фу! Чайво ето случилось? — поморщилась она, глядя на Генку. — В дерьмо ступил али в сортир свалился?

— В Мясиху. Мать за хлебом отправила, а я в Мясиху упал.

— Ну, а я и чую, что прёт, как отдохлого. А залил-то всё!

Тётя Стеша прошла в кухню, поправила косынку, которую сроду не снимала, и, налив в таз свежей воды, сказала:

— А ну, лягушка, давай пособлю. — И не дожидаясь согласия, вцепилась в Генкины кудри.

— А лягушка сдохла, наверное, — вслух подумал Генка.

— От воды ещё никто не сдыхал, — деловито заметила тётя Стеша и плюхнула его голову в таз.

— А она и не от воды! Её, как Геббельса...

— Чаво?! Слышь, а ты чаво синюшный? Подрался, что ли?

— Я, знаешь, как... — Генка показал мыльный кулак. — Тётя Стеша, а Гитлеров сжигают, да?

— Ну, ты, чё льёшь-то?! Чё льёшь!

Генка отвернулся и уже больше ничего не спрашивал.

Кожа горела, будто её скоблили, как пол в предпраздничный день. Вместо испорченных штанов на ногах развевались шаровары, которые мать купила ему в «уценёнке» на вырост, а рубашку Генка решил не надевать — и так жарко.

В кожаной сумке, которая прилипла к горячей Генкиной спине, каталось несколько малосольных огурцов, там же прижался завернутый в полотенце хлеб, в уголок была приткнута бутылка с молоком, горлышко которой Генка заткнул плотной газетной пробкой.

Генка уже наверняка знал, что от матери попадёт. «Тебя только за смертью посылать, — скажет она и обязательно потом добавит: — Горе ты моё».

Но вот она, окраина, там, за угловым забором, столб, плафон и единственный мосток — прогнившие плахи. Он прокрался вдоль забора и затаился в больших лопухах. Выбирать не приходилось, и он, выломав штaketину, кинулся к мосткам.

— А-а-а!!! — истошно заорал он, размахивая палкой, изрыгая из груди то ли угрозу, то ли отчаяние.

Несколько мальчишек у столба перестали кидать камни, расступились, удивлённо рассматривая орущего Генку. А Генка, задохнувшийся от собственного крика, промчался мимо, перескочил по чавкающим плахам через Мяси́ху и обернулся. У столба стояли пацаны, которых он никогда раньше не видел. Ещё секунду он рассматривал их разинутые рты, потом бросил штaketину, поправил сумку и зашагал прочь.

Разбивая пятками плотную, как цементный порошок, пыль, он всё вспоминал свой смелый рывок на переправе через ручей и улыбался. Неожиданно встал как вкопанный: там за поворотом лохматая берёза и лягушка на ней! Там глаза-бусины! Он кинулся в сторону к лесу. Через верхние колки он мог обойти это проклятое место.

Сначала склон был пологим, затем, после крутого подъёма, начался лес, где трава была высокой и зелёной, — сюда не проникал солнечный жар. Генка задыхался, но всё бежал, ему всюду казалась лягушка, — то в траве, то вдруг две крапины на стволе дерева оживали и следили за ним, то ему казалось, что она скачет по пятам и вот сейчас напрыгнет на ногу. Он бежал уже долго, а дороги всё не было, и склон и лес стали незнакомыми, в высоком папоротнике стояли большие потемневшие шапки старых грибов.

Генка устал, он устал бежать, смотреть, бояться, он понял, что заблудился. Он заплакал громко, навзрыд. Сумка отяжелела и начала цепляться за кусты. Ему вдруг подумалось, что вот сейчас появится рысь и отъест ему голову.

— Ге-на! Ге-на! — услышал он голос матери и побежал на него.

Кусты, деревья, трава суетились перед глазами, но вот знакомая поляна, Зорька с отяжелевшими боками и пухлым выменем, равнодушная, вечно жующая Зорька!

— Гена! Что случилось? Почему ты плачешь? Ты ушибся? Синяк?

Обрадованный, счастливый Генка кинулся к матери и обнял её.

— А почему от тебя так пахнет?

— Я в Мясиху упал...

— Вот беда-то! И ты плачешь?

Генка не ответил, а только ещё сильнее прижался к матери.

— Эх, горе моё луковое, ничего, успокойся. — Мать задумчиво погладила его вихрастые волосы и, чтобы отвлечь его от тяжёлых дум, сказала: — Скоро поедешь к бабушке в деревню. Хочешь к бабушке?

Генка мотнул головой.

— Сапоги отец обещал для охоты... Да! В деревню! На охоту! Я, бац-бац, охотником стану!

Первый снег

Туманная сырость сменилась косым снежным дождём: крупные хлопья скатывались вниз, расчерчивая всё видимое пространство, и исчезали, едва касаясь земли. Устроившись на сеновале, Генка разглядывал обледеневшие ветви яблони. Ему было жалко их за покорную беззащитность. Не поворачивая головы в сторону друга, устроившегося рядом, он спросил:

— Слышь, Лёх!

— Чё?

— А как думаешь, деревья зимой умирают или просто спят, как медведи?

Лёшка авторитетно засопел:

— Фиг их знает, может — мрут, а может — так стоят.

Они замолчали. Генка выглянул в окно и попытался посадить на ладонь какую-нибудь сытую, зазевавшуюся снежинку.

— Слышь, Лёх, — обернулся Генка.

— Чё? — устало отозвался тот.

— А на что снег походит, думал?

— Фиг его, на сахар, наверное.

— Иногда и на мороженое, да?

— На мороженое? — Лёшка приподнял голову и посмотрел на друга. — Редко.

— А на то, что около ОРСа* продавали по 10 копеек, помнишь?

— На него чаще, — сглотнул слюну Лёшка. — И ещё на апельсины.

* ОРС — отдел рабочего снабжения.

— С чего бы? — удивился Генка, — апельсин жёлтый, снег белый...

— Зато вкусный, апельсин-то, — назидательно пояснил Лёха.

— Вкусный, это факт, — согласился Генка и вспомнил апельсин, каким его угощала соседка тётя Стеша.

Он тогда с вожделием очистил яркий диковинный плод и съел его, сначала по дольке, а потом уже по полдольке, по кусочку, а кожуру надёжно припрятал в карман: руки ещё долго хранили терпкий аромат, а когда корочки подвяли, он спрятался за сарай и догрыз их до самой цедры. Генке на мгновение померещилось, что уличная прохлада вдруг запахла апельсинами. Лёшка, словно расслышав этот запах, заёрзал, вздохнул и принялся грызть травинку.

У Лёхи Лаптева была неровная, но яркая биография: вот уже второй год он крепко держался за парту четвёртого «А» класса, нещадно матерился, дрался на переменах и достаточно ловко срывал уроки. Отчего вдруг опрятный и покладистый ученик второго «В» класса Генка Ракитин связался с Лёшкой, никто не понимал. Однако все пацаны к этой дружбе относились с уважением.

Лёшка неожиданно приподнялся, взгляделся в самый тёмный угол сеновала и спросил:

— Геша, а правда говорят, что Манька помрёт?

— Не знаю точно, но говорят, что помрёт, — задумался Генка, вспомнив о сестре.

Маша много дней провела в больнице, но на прошлой неделе её неожиданно привезли обратно. И в доме воцарилась настороженная тишина.

По комнатам ходили и шептались незнакомые люди. Печь стояла остывшей, и казалось, пахло лекарствами. К обеду соседка тётя Стеша приносила холодные щи, Генка съедал несколько ложек и сбегал на улицу, где его ждал Лёшка, у которого всегда можно было разжиться куском хлеба и колбасы. Где Лёшка добывал колбасу, Генка не знал. Однако, по его словам, на мясокомбинате, на котором работало полпосёлка, колбасы было прорва. В самом посёлке колбасу не продавали, а вывозили специальным поездом в Москву. Генка, кстати, гордился тем, что москвичи едят поселковую колбасу, и никак не мог понять, отчего взрослые без конца ругают какого-то «преда» и поселковый Совет.

Генка попытался выбраться из своего лежбища.

— Тише ты, — рассердился Лёшка, заслоняясь ладонью от поднявшейся сеной пыли.

— Слышь, Лёх...

— Чё?

— Ты мне друг?

— Ну.

— Откуда у тебя колбаса?

— А-а... — многозначительно ответил Лёшка и сплюнул сквозь зубы, и, словно беседуя с кем-то посторонним, спросил: — А ты пойдёшь колбасу тырить?

Генка прищурился и с азартом посмотрел другу в глаза.

— А вправду возьмёшь?

— А ты вправду пойдёшь?

— Пойду, а когда?

— Можно сегодня, можно потом.

— Ну, ясно, сегодня, — с трудом сдерживая восторг, прошептал Генка.

За сараем хлопнула калитка. Мальчишки насто-
рожились и выглянули в окно. В огороде появилась
тётя Стеша.

— Гена-а... — позвала она.

— Чё, тёть Шеш? — отозвался Генка.

От неожиданности женщина вздрогнула, невнят-
но ругнулась и наспех окрестила рот.

— А-а, вот вы где! Давай сюда, мать кличет. И этот
басурманин с тобой? А, чёрт бесстыжий, а ну ступай
по своим...

Лёшка выпрыгнул в окно и неспешно пошёл
прочь. У калитки тётя Стеша вдруг остановилась,
внимательно оглядела Генку и отряхнула с его шап-
ки соломинки.

— Ты уж к Машеньке поласковее будь, Геноч-
ка, сам понимаешь. — Она поглядела куда-то вдаль
и вздохнула: — Помоги ей, Господи.

Генка прошёл в дом, разделся и направился
в комнату родителей. Пахло лекарствами и горечью.
Маша сидела на кровати, подложив под спину подуш-
ки, она прикрыла одеялом исхудавшие плечи и попы-
талась улыбнуться.

— Здравствуй, Гена.

— Здравствуйте, — ответил Генка и посмотрел
на отца, как бы ища помощи или подсказки.

— Ну ты что, отвык? — Отец приобнял Генку
за плечи и попытался рассмеяться. — Ты что, Геша,
подойди к сестре, Мария ждала тебя столько.

Генка настороженно присел на краешек кровати
и занялся подсохшими мозолями на грязной ладошке.

— Ген, я всё хотела тебя спросить. — Маша кос-
нулась его руки. — Ты наш секретик не трогал?

— Даже не касался, — ответил Генка и посмотрел на дверь.

— А ты что загадал тогда, скажешь? — попросила Маша.

— Кажись, пилотку солдатскую, как у дяди Саши, — видела?

— А я, знаешь, что загадала?

Генка пожал плечами.

— Я загадала, чтобы Лёшкины родители перестали пить навсегда.

— Фигня эти загадки, они вчера опять нажрались, — оживился Генка.

— Тебе Лёшка сам сказал или ты подслушал?

— Сам сказал, а ещё он говорил...

— Что я скоро умру, правда? — И она со спокойной надеждой посмотрела ему в глаза.

— Да.

— А он смеялся при этом?

— Что ты говоришь, доченька. — Отец поднялся и зачем-то закрыл форточку.

— Нет, папочка, нет. — Маша ещё плотнее закуталась в одеяло. — И ты, Геночка, ты передай своему Лёшке, пусть он не смеётся и не ругается больше. А ты сам, сам учись хорошо и не обижай хотя бы маму, и учти, мне оттуда всё будет хорошо видно.

Отец не выдержал, вытолкал Генку из комнаты и позвал врача. «Господи, господи», — замолился кто-то на кухне. Генка остался один, равнодушно отодвинутый от происходящего. Мимо прошёл врач, задел его, извинился, взял его за плечи и поставил к вешалке, как какую-нибудь ненужную вещь. Следом появилась тётя Стеша, и Генка попытался поймать её за рукав.

— Тётъ Стеша, а Маша оживает?

— Господи, ну что ты говоришь-то?

— Тётъ Стешенька, ну она не умрёт, не умрёт? — Генка уткнулся ей в живот. — А умирают — это как? Насовсем?

— Ну что ты, сердешный, ну пойди к Лёшке, тот, поди, заждался, иди.

А Лёшка действительно ждал в условленном месте. Они молча, по-деловому пожали друг другу руки.

— Отпустили? — спросил Лёшка и циркнул под ноги.

— Сам ушёл.

— Как Манька? — сдержанно спросил Лёшка.

— Помирать собирается. Передавала, чтобы ты не матюкался.

— Ага, понятно, сам придумал.

— зуб даю, так и велела: накажи Лёшке, чтобы не ругался.

— Врёшь! — Лёшка развернулся и зашагал в сторону мясокомбината.

Посёлок ещё не спал. Во многих домах горели огни. А в самом конце улицы догуливала свадьба. Вскоре они оказались на окраине села, пробрались к бетонной стене мясокомбината и притаились в кустах.

— Лёха, чё дальше? — Генка осторожно выглянул из кустов.

— Тихо ты, спугнёшь, ждём теперь. — Лёшка прижал его голову к земле.

— Кого?

— Будешь молчать — увидишь!

— Ну ты толком объясни! — разозлился Генка.

— Смена уже кончилась, щас полезут.

Генка ничего не понял совсем, оробел и притих. Лёшка сидел на корточках и с азартом слушал тишину, пока не нашёл в ней шелест настороженных шагов. Над бетонным забором появилась чья-то голова.

— Кто это? Дядя Игнат, что ли? — обрадовался Генка.

— Тише ты, молчи!

Голова скоро исчезла, и на её месте появился мешок, который кто-то перебросил через забор и уронил в траву.

— Всё, Игнат через проходную пошёл, быстро, у нас пять минут.

Лёшка бесшумными кошачьими прыжками добрался до забора и принялся шуршать в потёмках в поисках мешка. Генка, подражая другу, опустился на колени и, перебирая влажную листву, пополз к забору. От страха и азарта он на какой-то миг позабыл, для чего ползает по сырой земле, но вдруг наткнулся на ещё тёплый брезентовый мешок.

— Есть, Лёха, сюда!

Генка с жадностью вцепился в мешок, точно гончая в зайца, и потащил его в сторону кустов. Лёшка подхватил свободный угол, и они помчались что есть духу прочь. Страх гнал их всё дальше и дальше...

— Ну всё, всё, — остановившись, прохрипел Лёшка, — хорош бегать.

Они понадёжней перехватили мешок и уже ровным и настороженным шагом пошли по посёлку.

— Геш! А ты мастак, с тобой дело пойдёт! — Лёшка неожиданно решился на похвалу.

— Я испугался сильно, — сознался Генка.

— Это ничего, обвыкнешь, первый бой всегда репой пахнет.

— Лёшка, как ты думаешь, дед Игнат тибрил или просто домой нёс?

— Ага, ему премиальные колбасой выписали.

— Ну и как же он теперь?

— Ничё, ещё выпишут, не своё добро, не жалко.

— А если узнает про нас?

— Про тебя не знаю, а мне костей не собрать — убьёт.

Генка остановился и прислушался к улице.

— А вдруг он нас ищет?

— Ищет-свищет — не пахни. — Лёшка решительно сплюнул, дёрнул за мешок, и они пошли дальше.

На другой день Генка вернулся из школы и ещё издали приметил открытые настежь ворота и красную крышку гроба, прислонённую к стене дома. На крыльце сидел Лёшка, подле стоял мешок с колбасой.

— Здорóво! — сказал Лёшка и показал на мешок. — Твоя доля.

— А это зачем? — Генка потрогал тряпочку на гробовой крышке, словно подозревая, что Лёха прихватил её где-то по дороге для хозяйства, под картошку.

— Манька померла, вот зачем. Какой ты непонятливый. — Лёха разозлился.

— А мать что?

— Ничего. У гроба сидит, слезы не проронила. Тоже непонятливая. Бабы и те говорят, что непорядок своё дитя не жалеть.

Лёха выругался и с какой-то предельной обидой сплюнул.

— Все вы тут малохольные.

— А это ты зачем приволок? — Генка пнул ногой по мешку.

— Это на поминки. Я ведь на Маньке жениться хотел, почти шурин тебе, не чужой вроде. — Лёшка с притворной нежностью поправил воротничок на Генкином пальто и показал на мешок. — Берись, схоронить нужно где-то.

Они занесли мешок в дом и спрятали его в углу за вешалкой под старыми пальто и, не раздеваясь, прошли в комнату, посреди которой на лавочках стоял гроб. Маша лежала под белой простыней, а накрахмаленный платочек с васильками отчётливо оттенял пергаментный тон её лица, казалось, что сами складочки на платке и на белье намного естественнее и живее той полуулыбки, что застыла у неё на губах. В какой-то момент, ещё до того как пройти в комнату, Генка надеялся каким-то хитрым уголком своей души, что вся эта история ещё может обернуться шуткой, что Маша, вдруг, посреди общего отчаяния, поднимется из своего гробика и рассмеётся, но теперь, взглядываясь в её чужое, едва знакомое лицо, он всё яснее понимал, что её больше нет. Она ушла или спряталась, а вместо неё осталось что-то и нечто совсем другое, и такое, что никто вокруг не понимает, как с этим быть, что говорить, что делать и какazole него ходить. И теперь он не удивился, теперь он понял, отчего мать сидит возле гроба, возле самого изголовья, совершенно отрешённая и растерянная, с лицом ровно таким же, как у покойницы, словно пытаясь разгадать, что это и что теперь с этим делать.

Люди входили и выходили, но она ни разу не повернула к ним головы, она даже не слышала их, и они

ничего не могли ей подсказать. Генка знал, что ему тоже нечего ей подсказать, и не то чтобы подсказать, а просто что-нибудь сказать. Он понял, что ему неловко стоять посреди общего безделья и безмолвия, и вышел на кухню. Лёха пошёл за ним. Тётя Стеша рассадила их по стульям, точно пластилиновых мальчиков, и налила по тарелке щей.

— Поешьте спокойно и гуляйте на улице, — сказала она.

И вдруг эти щи, с нежной масляной плёночкой, показались единственно разумным и предельно рассудочным предметом во всём доме, и очень постыдным, и он заплакал. Лёха достал из-за пазухи полкруга колбасы, разломил его с таким сытным треском и протянул Генке.

— Заешь и терпи, видишь, я тоже не в себе.

Хоронили в воскресенье. Всю ночь и утро валил снег. «Покров», — говорили довольные люди, разглядывая снег, будто в этом слове таилась какая-то тайна.

В кузове старенького грузовика стоял гроб, заброшенный еловыми ветками. Возле него на табуретках устроились мама и папа. Грузовичок затрясся, заскрежетал и нехотя тронулся в сторону кладбища. Бабки тревожно и дружно заголосили, словно соперничая с надсадным воем двигателя, и принялись бросать ветки под ноги идущим вослед. Генке вдруг захотелось поднять одну из них, с ароматными шишечками, но отец грубо одёрнул его, а навстречу, из домов, выходили люди, снимали шапки и крестились.

Кладбище встретило тишиной, которая вдруг поглотила всё, что до этого шумело и двигалось:

и надсадный гул грузовика, и вой старух, и шум шагов. Яма была готова: свежую глину вокруг могилки растоптали большими сапогами, и теперь она походила на безобразную пасть чудовища. Гроб поставили на табуретки, открыли крышку. Генке вновь захотелось отвернуться от беспомощности и бессмысленности происходящего, в котором взрослые люди существовали и действовали точно отчуждённые механизмы.

— Поди, простись с сестрой, — приобняла Генку тётя Стеша.

Генка не знал, как прощаются, остановился у гроба и, стараясь не глядеть на Машу, с недоумением обернулся в сторону тёти Стеши.

— Лоб целуй, целуй лоб, — прошептала она.

Генка решительно нагнулся и с осторожностью и гадливостью коснулся губами холодного и чуждого предмета и, не оглядываясь по сторонам, постарался как можно дальше отойти от могилы. Отчётливый стук молотка поднял птиц над кладбищем, и Генка отчего-то с завистью посмотрел им вслед.

Люди с кладбища шли молча, отделённые и независимые друг от друга, и такими же отделёнными и непричастными группами собрались во дворе. В комнате были расставлены столы с едой и водкой. Генку посадили и поставили перед ним тарелку с горстью кутьи и блинов. Места за столами всем не хватило, и потому люди спешно выпивали, закусывали и уходили покурить во двор, а их места занимали вновь прибывшие, ели неохотно и равнодушно, выпивали молча, а редкие живые разговоры, вдруг возникавшие где-нибудь в углу, так же вдруг прерывались и тонули в общем

оцепенении и неловкости. Генка попытался спрятаться от этого механического мира в детской, но там, точно на вокзале, пахло хлоркой и мокрой одеждой, наваленной на кроватях, и тогда он вспомнил про колбасу. Ему показалось, что такая диковинная и вкуснейшая редкость способна обрушить всеобщее недоумение и вернуть застолье к привычному и живому ходу. Он добыл из тёмного угла мешок, потащил его в комнату и поставил возле матери.

— Мам, — с надеждой сказал он, развязав мешок. — Мам, это вам на поминки. — И Гена выложил на стол круг колбасы.

Люди притихли.

— Что это? — отстранённо спросила мать.

— Как что? Колбаса. Людей порадовать.

Мать с недоумением взяла круг колбасы и вдруг прокусила его зубами и жалобно завывала. А Генка не испугался, он крепко обнял её и заплакал вместе с нею.



Пимики

Дед Моисей давно поселился на кладбище в старенькой, но уютной избе. Он в точности не помнил, сколько времени прошло от того срока, но хорошо помнил тот день, в который решил, что здесь ему будет спокойней и интересней. Перетащил в сторожку нехитрый скарб и обосновался в ней, что называется, до конца, до самого последнего срока. И сострогал себе домовину, крепкую, покладистую и узкую, с расчётом на то, чтобы люди не мучились по зиме с могилою.

С того самого дня простой и непрехотливый труд кладбищенского сторожа приобрёл для деда Моисея смысл, значение и даже значимость. Он почувствовал себя не просто сторожем, но даже стражем на грани между «да» и «нет», на грани между жизнью и смертью.

Ежедневно к часу дня открывал дед Моисей высокие и неподатливые ворота, сжигал накопившийся мусор, прибирал могилки, правда, за отдельную плату, словом — хозяйствовал рачительно и покорно. Люди скоро привыкли к нему, к его высокой и слегка сутулой осанке, к запущенной бороде и сухому кашлю, который, точно птичий зов, всегда раздавался из самых неожиданных уголков кладбища. А с какой-то поры они перестали отличать его от общего кладбищенского потустороннего уклада. И деду Моисею льстило подобное настроение. В нём слышался привкус вечности, такой же нетленности, какую он замечал в кованых металлических крестах.

На праздники, особенно на Пасху, на кладбище былолюдно. Дед ходил от компании до компании, договаривался на предмет, кому и что необходимо поправить на могилках, угощался, слушал воспоминания о покойных и сам любил добавить что-нибудь задумчивое: вот, дескать, как получается, после чело- века добро остаётся. А зла, стало быть, уже не видно. Значит, получается, что зло в суете только водится, а на кладбище для него уже места нет, вот.

В прошлом году на Пасху, ближе к вечеру, когда почти все разошлись по домам, дед Моисей повстречал мальчонку, собиравшего на могилках конфеты и яйца.

— Что ж ты, шпанёнок, творишь-то, людей не стыдишься. — Дед сжал его ухо крепкими и натёр- тыми пальцами. — А ну, складывай всё, где взял.

— Нафига покойнику конфеты? Добро только переводить. — Мальчишка с сожалением ссыпал до- бычу на могилу.

— А тебе зачем, нехристь, — рассердился дед, — своих, что ли, мало?

— А если их вовсе нет, тогда что? — мальчишка сплюнул сквозь зубы и с раздражением посмотрел на деда, точно приготовился к драке.

— Коли так, моих возьми, — Моисей протянул ему пару конфет и яичко.

— Опаньки, — пацан рассмеялся, — сам ната- скал полные карманы, а мне, значит, нельзя.

— Дура! — затрясся от негодования дед. — Мне люди дали, угостили, значит.

— А мне, значит, покойнички не пожалели, — мальчишка уверенно поглядел на деда и потянулся к могилке.

— Не балуй, кому сказал! — Моисей наконец опомнился и потащил мальчонку к себе в сторожку. — Ты чей, парень?

— Лаптев я, — сказал Лёшка, готовый к ответу и вызову.

— Ну Лаптев так Лаптев, — согласился дед. — Фамилия известная. А что так напрягся?

— Ничего. А ты чего так удивился?

— Вовсе нет, — пожал плечами дед. — Родителей не выбирают, родителей любят. — И провёл в сторожку.

Лёшка Лаптев уже второй год пытался одолеть программу четвёртого класса, без усердия и стыда перед одноклассниками. Ему даже нравилось его особое положение и то, что его побаиваются и завидуют тому, что он сумел преодолеть детский страх, какой многих держит за учебниками, а не подле вольных удовольствий.

Лёшкины родители пили без меры и даже с каким-то отточенным и упорядоченным смыслом, за которым стояла непроходящая обида на жизнь, на людей, друг на друга. Мать только осенью узнала, что Лёшку оставили на второй год. Крайне удивилась, покричала для острастки и ушла в магазин за успокоительным. Лаптеву-старшему было проще — он вообще не помнил, в каком классе учится его сын.

Работал Лаптев на элеваторе, числился в сторожах и носил постоянную, запylённую шинель с зелёными петлицами и фуражку с надтреснутым козырьком и незагорелым пятнышком на околыше, оставшимся как воспоминание об утерянной кокарде. В своё время он женился на Вере, бойкой девчонке

из школы счетоводов, обожавшей всякого рода общественную деятельность и саму возможность иметь среди людей авторитет и одновременно — права морального суда над ними. Однако женился Сашка скорее для факта, даже за-ради шанса иметь более устойчивое и уверенное положение в обществе. Положение это очень быстро приелось, и он предпочёл ему компанию всегда приветливых собутыльников. Вера с комсомольским азартом принялась бороться с пороком, и даже решила родить Лёшку. Но однажды вдруг посмотрела на сына внимательно, на его тонкие лопушистые уши, в точности отражавшие облик и характер отца, поняла что-то безнадёжное для себя и тоже запила.

Лёшкины родители обосновались каждый в своей компании, старались не встречаться лишней раз друг с другом. Лёшка боялся чужого мнения о своих родителях, оно казалось ему несправедливым, он сторонился даже жалости соседей, она виделась ему навязчивой и намекающей на то, с чем он не согласен и не хочет соглашаться. А в ответ на неосторожные остроты одногодков он дрался жестоко и с наслаждением.

Дед Моисей никогда не поминал Лёшкиных родителей худым словом и с уважением относился к той злости, с какой Лёшка защищал их от людских пересудов. Не сразу, но как-то скоро и незаметно Лёшке сделалось уютно с дедом. Он прибегал к нему после школы, угощался щами или жареной картошкой, после с деловым и нарочитым видом раскладывал на столе учебники и привычно таращился в окно. Дед кряхтел в углу, а то и с пониманием обустроивал свет над Лёшкиным столом.

Однажды после обстоятельного ужина, когда вьюга особенно настойчиво поддвигала в тёплую печную трубу, Лёшка решил и вовсе никуда не уходить от деда и собрал себе ночлег.

Углядев Лёшкины заботы, дед сдвинул очки на нос:

— Не растомляйся, домой ещё идти. Родители, поди, ждут.

Лёшка поспешно собрался и с каким-то наслаждением и пониманием собственной значимости выскочил на улицу. Он пробирался в дом по заснеженной кашнице, и ему было тепло и щекотно от благодарности. Тогда же, по дороге, он нечаянно подумал, что Моисей для него есть не кто другой, как какой-нибудь незаконнорождённый дед, и даже решил, что так оно и есть, во всяком случае — так должно быть.

Сегодня дед Моисей ожидал Лёшку с особым нетерпением. Даже чай не мог попить со вкусом и, что называется, с душой — обжигался, как мальчишка, брызгал наливкой на клеёнку, протирал запотевшее оконное стёклышко и поглядывал то на тропинку, то на кровать, где под тряпочкой были спрятаны новые пимики для Лёшки. Прежние давно утратили своё непосредственное назначение и скорее напоминали условную формальность, нежели обувь: собирали снег всеми дырочками, раскисали, а утром черствели и натирали ноги до крови. Приметив такое безобразие, дед втихую собрался с духом и «денюшкой» и ходил в магазин. Долго ходил возле нужных полок, возил очки по носу, словно стараясь заглянуть в самую душу товару, наконец выбрал достойную пару и по возвращении принялся доводить её до ума.

Размял под колодочку, с тем чтобы и в простом носке было способно бегать, по-особому, по-фартовому завернул голенища и даже положил на них цветной ниткой узор — скупой, немного неровный, но нежный и мужественный одновременно. Подшил пятку, подошву и закрепил носок. Полюбовался совершённой работой, запеленал пимики в тряпочку и осторожно положил их на кровать, точно притихшее дитя. Наконец прибежал Лёшка, с шумом, растирая уши, разделся, согрел ладони подле самовара и с жадностью набросился на чай. Дед с какой-то нарочитой и спокойной тщательностью разглядывал снег за окошком и улыбался.

— Да, видать, холодно совсем стало, — вдруг рассудил он.

— Терпимо, — отмахнулся Лёшка и захрустел карамелькой.

— Терпимо, да долго не стерпишь. — Дед вновь сосредоточенно поглядел на сугробы. — Да, точно, холодно стало.

— Ну, — согласился Лёшка.

— Му, что мычишь, как телок? Холодно. А до Нового года ещё далеко.

— Ну...

— Вот тебе и му, далеко. А ходить-то не в чем.

— Кому? — не понял Лёшка.

— Яму. Телку мому, — рассмеялся дед и щёлкнул Лёху по носу. — Ты вот что. Я там, на кровати, тебе пимики приготовил. Но, чур, с прицелом. На Новый год, значит.

— Мне, что ли?! — Лёшка в два прыжка оказался возле кровати, нашёл пимики, примерил обновку

и даже сплясал что-то навроде «яблочка». — Ну деда! Ну ты человек! А! Смотри, как родные. И голенища завернул, и подшил!

Лёшка обнял деда Моисея и пощекотал носом у него в бороде:

— А тебе, знаешь, — прошептал Лёшка, — я тебе на комбинате колбасы натырю. Целый мешок!

— Не моги. Даже не думай, — дед погрозил заскорузлым пальцем. — Я пимики не крал, и ты сам всё делай.

— Сам, сам, — расстроился Лёшка. — Ну чё я могу-то для тебя сделать-то?!

— Вот. Именно, — дед менторским пальцем постучал ему по лбу. — Вот иди, что покажу.

Он почистил стекло и указал Лёшке на кладбищенские сугробы:

— Вот видишь тот крест, голубенький. Видишь?

— Ну вижу крест, и что?

— Не скажи. Во-первых, красивый, а во-вторых — вечный. Сделаешь мне такой же.

— Ну ты, дед, даёшь, — Лёшка удивился прихотливости старческого ума и даже рассердился. — Как же я тебе такое сделаю? Он же железный.

— Вот именно, — успокоил его дед. — Вырастешь. Выучишься. Станешь кузнецом. Настоящим кузнецом, каких нынче уже не сыщешь. И деда уважишь, и сам не пропадёшь. Понял?

Лёшка мотнул головой и улыбнулся дедовым причудам.

— Эх, кабы взаправду стать кузнецом, да только трудно тебя понять-то, из могилы креста не видать будет!

— Увижу. Что ж не увидеть, оттуда всё видно. Ну и ладно, пойдём чай пить. Потом всё поймёшь, когда посерьёзнеешь.

Дед потрепал Лёшкины вихры и занялся чаем.

Домой Лёшка вернулся поздним вечером. Осторожно веником смахнул снег с пимиков, заботливо утёр их тряпицей и устроил возле кровати, но не в ногах, а ближе к изголовью. Точно два чёрных щенка-близнеца, они прижались друг к другу и повернули в сторону хозяина свои преданные и чуть вздёрнутые носики. Лёшка погладил их с нежностью и поуютней угнездился под старым ватным одеялом. В полудрёме он вспоминал деда Моисея, пимики, и в полудрёме замечтался о летней рыбалке, стараясь разглядеть на сонной воде насторожённо подрагивающий поплавок. Но скоро его разбудил какой-то треск и яркий свет, который он со сна принял за фару подходящей к берегу моторки. В комнате возле комода стоял отец, в шинели и всклокоченной ушанке, и ножом пытался взломать ящик, в котором среди белья мать привыкла заначивать деньги. Древняя и крепко сработанная мебель не поддавалась. Отец покачнулся, отступил и, в досаде пнув ногой по комоду, разглядел на кровати проснувшегося Лёшку.

— Трёха есть? — спросил он, разглядывая сына прищуренным глазом.

— Нету.

— А найти сможёшь? — в голосе отца слышалась надежда и мольба.

— Не смогу, — Лёшка забрался под одеяло.

— Должна же где-то быть трёха-то, — пробормотал Лаптев, сосредоточенно оглядывая комнату, пока

не заметил возле кровати пимики. Нагнулся за ними, покачиваясь, повнимательнее разглядел товар и припрятал его за пазуху.

— Папаня, ты это, — Лёшка встал на колени прямо на кровати. — Папаня, мне дед Масей купил, это моё.

— Твое-твое, успокойся, — отец уложил его на подушку. — Спи спокойно. Так надо. Утром принесу. Спи.

Лёшка на полминуты поверил отцу и даже попытался укрыться одеялом, но тут же вскочил, торопясь и падая, натянул штаны, рубашку, накинул пальто, шапку, сунул ноги в просторные мамкины калоши, поскользнулся на крыльце, подбежал к калитке по едва заметной, но привычной тропинке. Калоши мешались, норовя увязнуть в снегу, но Лёшка упрямо бежал за отцом. Он разглядел его на улице, когда тот оказался под неровным светом дрожащего фонаря.

— Папа! Папка, подожди! — Лёшка поперхнулся морозным воздухом и остановился.

Лаптев обернулся, наострѣнная и кривая тень от его фигуры, словно секундная стрелка, пробежала световой круг.

— Домой! Я же сказал, что утром принесу! — сказал он и исчез в темноте.

Дед Моисей лежал в кровати и занимался чтением толстого романа, когда вдруг прослышал настойчивый и в то же время умоляющий стук, — сначала в дверь, а потом в промѣрзлое окошко. Он степенно поднялся, перекрестился, залез в обрезанные валенки, накинул тулуп и вышел на крыльцо. Лёшка немедля ткнулся ему в живот и, бодаясь словно телок, затащил его в сторожку.

— Дед, дед, — задыхался он. — Отец валенки забрал. Я не хотел. Я не давал. А он забрал!

— Вот дурень шепутной. Что забрал-то? — дед даже успел улыбнуться, прежде чем заметил, что у Лёшки на ногах отнюдь не пимики, а зачерствелые и просторные калоши, заросшие снежной коростой до колена.

— Вот, твою маменьку и папеньку, и всю вашу родню на все четыре стороны. Вот дурень-то, — дед обернул Лёшку тулупом и бросил на кровать.

Он попытался растереть его ступни настойкой, потом одеколоном, но они только почернели, сделались липкими, неподатливыми и завоняли каким-то посторонним запахом, навроде формалина.

Больница долго не отвечала, наконец, трубка зашипела и спросила уставшим голосом:

— Приёмная слушает, что у вас?

— Так мальчонка, ноги отморозил, — удивился дед, не понимая, что ещё нужно сказать, чтобы этот голос перестал шипеть и задумался.

— Машины нет. В деревнях по экстренной. Везите сами или ждите до утра, — голос сделался совершенно утомлённым и безразличным.

Дед завернул притихшего и сдержанно стонущего Лёшку в одеяло, привязал к санкам и потащил к больнице.

Дальше приёмной его не впустили, он до утра то сидел на деревянном диванчике, то стоял на крыльце, пытался курить, кашлял и всё бил себя кулаком куда-то под сердце:

— Нужно было до Нового года потерпеть. Нужно было до Нового года терпеть, дурень старый.

На третий день деда пропустили в палату. Лёшка лежал бледный под отчётливо пожелтым одеялом и встретил его извиняющейся гримаской.

— Дед, а мне ноги зачем-то отрезали, — тайным шёпотом пожаловался он.

— Ничего. Ничего, — дед в растерянности оглянулся, не понимая, куда было бы возможно пристроить гранат, чья надменная краска не вязалась с больной бледностью и желтизной.

— Ничего. Ноги поболят и отрастут. Прогресс нынче такой — всё растёт. Главное, чтобы душа не обиделась, вот что главное. — Он вложил плод в Лёшкины ладошки и занялся порядком на тумбочке.

Несколько лет назад мне довелось побывать по делам в местечке, недалёком от моего родного посёлка. Встречи не складывались, партнёры морочили мне голову, я взял паузу и решил съездить на родину. Места изменились до неузнаваемости, я проехал по посёлку и с любопытством повернул в сторону кладбища. Сторожка стояла на прежнем месте и даже хранила прежний обветшалый, но нетленный вид. Разве что на месте деда Моисея я встретил круглолицего и вполне жизнерадостного старика.

Он с удовольствием повёл меня к могилке своего предшественника. На могиле деда Моисея я увидел крест, крест кованый, ажурный, редкой работы, сразу было видно, даже мне, человеку, далёкому от кузнечного дела, что сделал этот крест большой мастер.

— Хорош, — я показал на крест, с надеждой улышаться какую-то необычайную историю.

А сторож только ответил:

— Хорош. Что хорош — то хорош. Кто увидит, подходит и интересуется, мол, что за человек-то тут захоронен, да и чем так велик, коль под таким крестом упокоился. Видит народ любовь-то человеческую и восхищается.

Я расстелил на столике газетку, разложил закуски, выпил, угостил сторожа, покрошил немного хлебных крошек на могилку.

— А у нас крестов-то таких два, — угодливо похвастал вдруг сторож с надеждой на ещё один поминальный глоток.

— Два? — я безмерно удивился. — Почему два? Веди скорее, веди меня, старик, покажи скорее второй!

На самом краю кладбища, действительно, стоял ещё один крест, крайне похожий на тот, что стоял у деда Моисея. Я решительно прошёл к нему и с удивлением прочитал на могильной плите: «Лаптев Александр Петрович. Вечная память».

— Ах ты, Лёшка! Ай да молодец! Понимаете ли вы, дорогой мой сторож! Понимаете ли, что произошло?!

Сторож недоумённо развёл руками:

— Ну, так вот и живём.

Я оглядел старое кладбище.

— Прощай, дед, — махнул я сторожу рукой, не желая более говорить, и зашагал прочь. Я решительно пошёл к выходу, радостно оглядывая кладбищенский простор. А кругом кресты, кресты, кресты — деревянные, чёрные, покосившиеся — разные, как людские судьбы, и они провожали меня жить дальше.

* * *

Лёшкина жизнь удивительна и талантлива, он, невзирая на инвалидность и детдомовское детство, прорвался через тяжёлую юность и такую же, как у нас, непростую жизнь — не озлобился, не остервенился, не опустил, выжил. И главное, не потерял великое достояние — доброту, это величайшее человеческое достоинство.

И мне радостно в этой невесёлой истории то, что Лёшка не предал ни себя, ни родного отца, остался хорошим человеком и стал замечательным мастером, как завещал ему дед Моисей. Это ли не наша с вами радость — встретить и утвердиться в подвиге и победе добра и любви. Лёшка разгадал тайну жизни, прорвался через все её трудности. А всё остальное неважно. Важно — прорвёмся ли мы?



Памятник

Речка шумно пенилась на частых порогах, бежала за поворот и скрывалась в непролазной чащобе тайги. Небольшая деревушка, кажется, прилегла на крутом берегу, чтобы передохнуть, напиться таёжной силы, да так и осталась лежать, пригревшись на солнышке, глядя на окружающий её покой подслеповатыми окнами крепких, будто гранитных, домов.

Генка, с губами, посиневшими от долгого купания, вскарабкался на пологий валун и прижался к нагретому камню. Он притих, глядя в прозрачную воду на изумрудную россыпь мелких камней, дышал водяной свежестью и дивился, как быстро сохнут влажные пятна на сером граните.

Чуть поодаль женщины полоскали, выжимали и складывали в «поленницы» на плоские валуны туго скрученное бельё. Лет десять назад они и стирали на этих валунах, но вот сбылась их мечта — в сельмаг привезли стиральные машины. Но полоскать приходилось на речке. Правда, власти грозились вскоре провести в деревню водопровод и заставить женщин навсегда забыть эти походы с тазами белья на шумливую речку, разговоры-пересуды и ломоту пальцев от ледяной таёжной воды. Сотни лет, а может, и более, здесь, на берегу реки, бабы обсуждали новости, сплетничали, ругались и мирились. Бабье многоголосье и смех река уносила в тайгу, может быть, поэтому вниз по течению охота у мужиков и не ладилась. Здесь же бегали детишки, гоняли одуревших от страха мальков, купались, визжали и брызгались речным серебром.

— Генка, — позвал кто-то из пацанов, — твой отец приехал!

Генка обернулся. У обрыва, неподалёку от дома деда Титова, стоял отец в светлой соломенной шляпе и с рюкзаком в руке. Женщины на мгновение перестали заниматься бельём, тоже посмотрели на берег.

— Стройный мужчина, — сказала высокая женщина. Она бросила выжатую тряпку в таз. — Ох, бабоньки, и полюбила бы я его!

— Тебе что, наших мужиков мало?

— Да что ваши? Матерщинники, а этот культурный.

— Тихо ты, мальчонка его тут.

Генка смутился и отвернулся.

— Вот этот? Ой ты, худоба. Ну я бы такого рожать не стала, я бы такого высмолила!..

Генке стало обидно и за отца, и за себя, он спрыгнул с валуна и помчался к дому. Отец стоял возле ворот, курил, на скамейке рядом с палисадником сидел дед Титов.

— Папа! Папа! А на тебе бабы жениться хотят! — взволнованно пожаловался Генка, подбегая к отцу.

Дед Титов хохотнул, почесал худую грудь, довольный, и сказал:

— Это они могут, это у них зараз.

— Как отдыхается, сынок?

— Хорошо. А ты мне сапоги купил?

— Сапоги? Ах да, сапоги... Денег пока нет.

Генка помрачнел, но молча вслед за отцом вошёл во двор.

Баба Ева сидела и чистила лук. Дед Титов смастерил для неё табурет, низенький и широкий,

с дополнительной распоркой для прочности. Баба Ева очень любила этот табурет; когда она садилась на него, то он исчезал под её юбками так, что невозможно было различить, на чём она всё-таки утвердилась.

Располневшая, малоподвижная женщина, она никогда не ругалась с соседками, да и с дедом бы не ругалась, если бы тот не «задурил». А задурил дед ровно год назад, после празднования Дня Победы — перестал отдавать пенсию. Первые месяцы баба Ева смеялась над ним, потом насупилась. Так продолжалось ещё несколько месяцев, и, видимо, ничего бы не изменилось, если бы недавно Генка не нашёл рисунки, из которых сделалось ясным, что дед Титов собирается устанавливать себе памятник. Просмотрев листки, баба Ева позвала деда Титова и дала ему «генеральное сражение». Дед Титов отмолчался, но денег так и не дал. И в тот же день перед ним на обеденном столе поставили пустую тарелку. Генка, с аппетитом поглощавший наваристые щи, даже поперхнулся и не смог более проглотить ни ложечки. Дед Титов посидел перед пустой тарелкой, прокашлялся и достал из нагрудного кармана десять рублей. Довольная итогами своего марш-броска, баба Ева поспешила налить ему глубокую чашку с увесистым говяжьим маслом. Но бабке не довелось торжествовать по поводу окончательного сокрушения противника — на ужин дед Титов не явился. Не пришёл он и утром, и к обеду тоже не появился, а перебрался со своим скарбом в дровяной сарайчик и даже приготовил себе нехитрую ополченскую похлёбочку. Баба Ева сначала плакала, а потом потребовала от деда Титова развода.

Постепенно страсти утихли. Супруги изредка переговаривались, дед иногда кредитовал старуху десяткой и исчезал в своём убежище.

Так уж случилось, что, отвоёвав верой и правдой все четыре года Великой Отечественной, дед вернулся домой без ранений, контузий и без наград. Вот такая военная судьба: ходил в атаки, мёрз в окопах, дошёл до Белграда, а наград не получил. В День Победы собирались деревенские ветераны около правления, в пропревших и полинялых гимнастёрках с яркими орденами и медалями на груди, рассказывали школьникам о войне, хвастались, смеялись, а пуще всего красовались блеском наград. Юбилейная медаль деда Титова поблёскивала, как укор его военной судьбе. Он тоже пытался рассказывать школьникам о днях войны, но те, глядя на одинокую награду на его впалой груди, слушали невнимательно. Обиделся дед. Обиделся так, что покой потерял, и извёлся бы, да вдруг пришла ему мысль увековечить себя в памятнике. Он и глыбу гранитную нашёл, и эскизы подготовил, оставалось только найти скульптора, но денег не хватало. И дед принялся откладывать с пенсии.

— Здравствуйте, мама, — поздоровался отец, перевернул пустое ведро и присел напротив бабы Евы. — Как Генка, не балует?

— Генка-то не балует, а вот вы с дедом ему сапоги обещали? А охоту? Обещали?! — услышал Генка грозный голос бабы Евы и спрятался за углом дома.

— Понимаете, мама, забыл я, закурился. Ремонт. В следующий раз, как сюда поеду, обязательно куплю.

Генка не расслышал, что ответила баба Ева на слова отца, но скоро её голос зазвучал громко и отчётливо:

— Памятник! Впроголодь живёт и нас мучает! Ты хоть с ним поговори как мужчина с женщиной. Титов тоже обещал мальчонке сапоги, а теперь хвостом виляет, всё боится, что на памятник не хватит, совсем с ума спятил!

Генка увидел, как, резко толкнув калитку, со двора выскочил дед, за ним появился отец. Дед проковылял за угол дома и скрылся в узком деревенском переулке, а отец остановился у палисадника и закурил.

От реки по крутому берегу поднимались бабы с бельём в круглых тазах.

— Здравствуйте, — поздоровались женщины с отцом.

— Здравствуйте, — ответил он и вынул изо рта сигаретку.

— Здрасти, пожалуйста, — улыбнулась женщина, которая ещё недавно восхищалась Генкиным отцом. — На рыбалку или так, погостить?

Отошедшие бабы громко рассмеялись.

— Вы осторожней, унесёт она вас прямо в тазу с бельём!

Женщина, не смущаясь, стояла напротив отца и улыбалась. Обеспокоенный Генка подбежал к отцу и встал рядом.

— Ваш? — спросила она, пытаясь погладить Генкину голову. — Да не съем я твоего папку, не съем! — Она повернулась и быстро пошла прочь, и только подол юбки нервно заплескался от скорого шага.

Отец внимательно посмотрел вслед уходящей женщине, щёлкнул Генку по лбу и выкинул сигаретку. Генка обиделся и покраснел.

— Ну, пошли во двор, — позвал отец.

Следом во двор вошёл дед с ведром свежевыкопанной картошки.

— Что долго-то? — недовольная, спросила баба Ева.

Дед молча поставил ведро и, вынув из кармана деньги, положил на стол.

— И это всё?! А на сапоги?

— На неделе схожу в магазин.

— Не надо идти, он сам сбегает, ты денег дай!

— На неделе схожу, сказал.

Дед развернулся и поспешил в огород.

— Ах, сатана! Опять обманул! Пошли!

— Куда? — удивился Генка.

— На охоту!

— Как? Без сапог?!

— Без сапог!

— С тобой?

— Со мной, внучек, со мной! — Баба Ева сняла передник, швырнула его на кухонный табурет и, тяжело ступая, неуклюже заспешила в дом передеваться.

— Баба, а как же салат, котлеты?!

— Котлеты с собой возьмём!

— Папа что, есть не будет?

— Папа? Папа — гусь ещё тот, сам приготовит — не маленький!

Генка ринулся в дом и вытащил из плотной темноты плательного шкафа тяжёлое ружьё.

Через пять минут сборы были закончены: баба Ева в плаще и тапочках, в тёплой шали на плечах и с хозяйственной сумкой, в которой скрылись котлеты и пирог, вышла во двор, где её уже ждал Генка с дедовским ружьём на плече.

— Патроны взял? — деловито спросила баба Ева, надела на седую голову белую кепку, оглядела двор и скомандовала: — Вперёд!

Они вышли со двора и направились в сторону леса.

— Куда это вы? — неуверенно спросил отец, повстречавшийся им по дороге.

— На охоту! — гордо ответила баба Ева.

Дойдя до крайней избы, баба Ева сказала:

— Ты сходи, но ненадолго. Тут с краю поохотишься — и домой. Я-то не дойду, какая охота с моими ногами. Я к бабам зайду, поболтаю.

Генка понимающе мотнул головой.

— Гена, а может, ружьё ты мне оставишь?

— А как же охотиться? — оторопел Генка.

— Конечно, конечно, — смутилась баба Ева.

— Баба, да ты не беспокойся, я умею стрелять! Честное слово!

Не теряя более ни минуты, Генка заспешил в лес. Высокие сосны, неодобрительно покачиваясь, следили за ним. Генка насторожился, заспешил обратно и, выбежав на берег реки, уже больше не помышлял о таёжных делях. Он дошёл до широкого развоя, которое примыкало к небольшой лесной поляне, и решил охотиться здесь.

Очистив от шишек и сучьев место под сосной, он лёг, приспособив ружьё на упор, зарядил его и несколько раз прицелился по сучьям засохшей берёзы.

Он напряжённо лежал в ожидании какой-нибудь дичи, время текло, дичь не появлялась, и Генка не заметил, как уснул. И приснилось ему, будто стоит в палисаднике у дома деда Титова гранитный постамент. Толпа сельчан собралась на улице. Причёсанный дед Титов прощается с бабой Евой, медленно поднимается по деревянной лестнице на площадку гранитной глыбы, и вдруг его фигура каменеет. Баба Ева уносит лестницу, а многоликая толпа украшает пьедестал с окаменевшим дедом Титовым круглыми венками и букетами цветов.

...Небрежно брошенное ружьё валялось во мху. Генка вынул из ствола патрон и заглянул в дуло, оно не просматривалось, грязь плотно залепила его внутренность. Расстроенный, он отломил сухую ветку и начал пробивать засорившийся ствол. Сначала дело шло туго, но когда из дула вывалился первый, затем второй и третий комок плотно скрученных купюр, ветка легко вытолкнула оставшиеся деньги.

Генка с минуту рассматривал смятые комки денег, затем оглядел округу, как бы призывая обступившие его сосны в свидетели, что он не делал ничего дурного, и вдруг понял: «Памятник! Это деньги на памятник!»

Он торопливо скрутил деньги, засунул их в ствол, проталкивая вглубь сухой веточкой, собрал разбросанные вещи и зашагал домой.

Ещё издали, на подходе к дому, он увидел деда Титова, тот сгорбленно сидел на низенькой скамеечке у ворот и близоруко глядел вдаль.

— Дед! — закричал Генка и кинулся к дому бегом. — Деда!

— Живой, — всхлипывал дед Титов и, прижав к себе, гладил Генкину голову. — Не стрельнул...

— Я хотел, но там деньги!

— Господь милостив. Разорвало бы ружьишко. И всё, и нет внучка. А зачем мне всё без внучка-то...

— Дед, — зашептал Генка, — я деньги обратно положил, на памятник...



«Ненавижу»

Витьке исполнилось двенадцать лет. Он учился в пятом классе, уже дважды был влюблён, ходил вместе со мной на акробатическую секцию, сносно стоял на руках, но в школе успевал так себе. Бросался в наступление, когда одолевали двойки, но, едва лишь в дневнике появлялись четвёрки и пятёрки, сдавал позиции.

Однако в тот день Витька был тщателен и последователен. И даже гордился своею хозяйской рачительностью. Он появился во дворе с авоськой, в которой, точно рыбёшка в подсачнике, ёрзала свежая булочка. Навстречу ему шёл отец. От неожиданности Витька остановился. Он не знал и стеснялся своего следующего шага. И всё потому, что несколько месяцев назад папа покинул пределы этого двора, а мама сказала, что он ушёл к другой женщине.

Витька знал, что значит прогуляться с другой девчонкой, но не понимал, отчего такая мысль вошла именно в папину голову.

Его родители долгое время увлекались скандалами и даже дрались. Первой, как правило, начинала мама. Она подступала к отцу с открытыми и яркими до мщения ладошками, стремясь отщепить от него какой-нибудь клочок волос или свитерной шерсти. Папа опрокидывал её на диван, складывал ей на груди руки и держал некоторое время, точно больного, нуждающегося в полезном, но противном уколе.

— Милицейские приёмчики применяешь! — шипела придавленная к дивану мать и обещала больше не драться.

И вот теперь, в шляпе и длинном плаще, отец вышел к Витьке навстречу и держал большой и немного влажный кулёк с виноградом.

— А! Про детей вспомнил! — крикнула вдруг от парадных дверей мама. — Нет у тебя больше детей!

— Витя! С днём рождения, — сказал отец и протянул кулёк с виноградом.

— Не нужны нам больше твои подарки! Ушёл и ушёл! Опомнися! Что, тоскливо стало со своей мымрой?!

Витька почувствовал, что презирает мать за этот всесторонний крик и рыночный говорок. Он не понимал отца, его молчание, его уход, его беспомощность. Но понимал только, что способен любить их вместе за их согласие и свой покой.

А мама кричала всё громче, чтобы все слышали, какой он, её бывший муж, плохой. Отец стоял и что-то говорил Витьке. И Витька вдруг побежал. Побежал прочь со двора.

— Витя! Сынок! — услышал он отца.

Но слёзы уже текли по щекам, и рыдание перехватило горло.

— Вот! От тебя даже дети убегают! — победно кричала мама.

Витька вдруг остановился, обернулся к ним и заорал срывающимся голосом:

— Ненавижу! Не-на-вижу!

— Ага! Дождался! Дети тебя ненавидят! — кричала мама, стремясь заглушить и себя, и двор, и все возможные возражения и доводы.

Нет, Витька кричал это не только отцу, он кричал это им обоим. Как он мог их ненавидеть, если он их

любил? Но он уже не останавливался, он бежал дальше, он уже рыдал.

Витька забежал в строящийся дом. Вокруг — битый кирпич, хрустящий под ногами. Лестничный пролёт упирался в голубое и тёплое небо. Он сел на деревянный поддон, утёр слёзы и уткнул голову в колени, на которых лежал мягкий батон хлеба.

Домой Витька вернулся поздно. Мать суетилась подле, точно чувствовала свою вину. А ему почему-то сделалось всё безразличным, остались лишь тоска и ощущение, что у него нет родителей, что он — сирота.



Сальто-мортале!

Когда мамина подруга тётя Неля работала буфетчицей в цирке, к нам в город приехала всемирно известная иллюзионистка, и звали её, кажется, Гертрудой, но не исключено, что Виолеттой, а возможно, даже Сюзанной. Точно я не помню, но имя было загадочным. Из какого мира это небесное тело рухнуло на наш город, я не знаю, но тётя Неля рассказывала, что эта артистка крайне надменна и капризна, и даже сам директор цирка почему-то лебезит перед нею, как дворняжка перед колбаской. Рядовых сотрудников это обстоятельство крайне раздражало и вызывало ироническую скорбь, поскольку с ними директор не церемонился. Может быть, именно поэтому мама и тётя Неля в разговорах между собой звали эту цирковую супер-пупер-звезду просто и незатейливо — Звезданутая.

Звезданутую цирковую знаменитость я видел, и не один раз, потому что она обслуживалась у моей мамы, которая работала в парикмахерской и едва ли не каждый божий день строила на её голове неизменно пышную причёску. На эту причёску — а вот это я запомнил точно — уходило два шиньона. Сначала мама принимала Приму в парикмахерской, а потом уже и дома, отчего наш семейный достаток немного попрос.

Прима была обыкновенной женщиной, ничем не примечательной, за исключением усиленной и даже необузданной манерности: она вела себя как капризная принцесса, уставшая от внимания

поклонников, придворной челяди и шутов. И теперь у меня перед глазами её неспешные и томные движения, взгляды, обращённые под веки, глубокие ахи и вздохи — действительно абсолютно Звезданутая, причём на всю голову. Глядя на Приму, можно было подумать, что иллюзионистка однажды вышла на сцену, а сойти с неё забыла. Но подлинной жизнью она дышала на арене нашего нового цирка, в своём водном аттракционе, расцвеченном причудливыми танцами фонтанов. Её номер занимал всё второе отделение, отчего перерыв полностью приходился на установку и монтаж её громоздкого оборудования. Кстати, я знал, что под ареной цирка есть огромное помещение, в которое во время представления исчезали её помощницы-красавицы. Они тоже бывали на приёме у мамы, и я видел их заспанные и малопривлекательные физиономии. И должен признаться со всею прямотой — они не были красавицами, а уж кто и был настоящим иллюзионистом в нашем городе, так это моя мама. И тогда уже я задумался над неутешительным выводом: ох и дурят же нашего брата-мужика! Ох, как дурят! Прямо в бараний рог скручивают, в самокрутку сворачивают, как младенцев беспомощных пеленают, нежными, в боевой маникюрной окраске пальцами, чтобы только не вырвался из цепких и беспощадных женских рук.

Памятный разговор с Примой произошёл случайно. Я вернулся из школы, сумка с книгами улетела на диван, я — на кухню, где что-то и быстро успел закинуть на дно желудка, и готов был уже бежать на тренировку, как услышал из маминой комнаты:

— Юноша, это вы?

Я приоткрыл дверную щёлочку в мамины апартаменты, и предо мной явилась чудовищная картина: на стуле сидела Прима, в заношенном мамином халате, моих тапочках и с целлофановым пакетом на голове, из-под которого вытекала коричневыми струйками то ли краска, то ли какая иная секретная женская приманка. Вся эта прелесть ручейками бежала по её лицу и, точно лава, застывала на шее неопрятной коростой.

— Юноша, — как-то безразлично и даже лениво поинтересовалась Прима, — вы любите цирк?

Более дурацкого вопроса в своей жизни я не слышал. Разве можно не любить цирк мальчишке в четырнадцать лет, который вот уже пять лет бегает в гимнастический зал и мечтает стать великим и знаменитым спортсменом!

— Конечно, люблю!!!

— А доводилось ли вам бывать на наших представлениях?

— Да, конечно, — с меньшим энтузиазмом ответил я, поднял глаза на часы: до тренировки ещё полчаса, то есть в распоряжении Примы не более пяти минут. Она явно скучала, видимо, мама накрасила её, а сама куда-то ушла, и Приме хотелось разделить с кем-нибудь вынужденное безделье.

— А кто вам, молодой человек, более всего симпатичен: фокусники, жонглёры, — она отчего-то манерно ударила на «о», — или клоуны? Наверное, всё-таки клоуны? Я угадала? — Прима сидела неподвижно, её глаз из-за надвинутого на лоб пакета практически не было видно, и я глядел только на движения её губ.

— Мне нравятся акробаты!

— Очень странно! Отчего же не клоуны? — закапризничала Прима.

— Клоуны тоже, но акробаты больше.

— Хотя бы, например, фокусники? Акробаты крайне грубы и дурно воспитаны, — попыталась преподать мне урок назидания Прима.

— Но они стоят на руках, как боги! — с восторгом заявил я. И, чтобы окончательно решить спор и убедить Приму, распахнул дверь настежь и тут же, в проёме, встал на руки, развернулся и, шлёпая ладонями по полу, пошёл к выходу.

— Bravo! — услышал я уже на лестничной площадке. — Недурственная техника!

И вот эта последняя её фраза о моей технике меня подкупила навсегда, и даже теперь, когда прошла целая жизнь, я испытываю благодарные чувства за её высокую оценку моих гимнастических навыков. Но всё должно было бы на этом закончиться, потому что каждый получил что хотел: Прима убила несколько минут безделья, я произвёл впечатление и при этом не опоздал на тренировку. Но, видимо, в цирке и с цирковыми артистами всё по-другому. Через пару дней мама передала мне прямоугольную визитку Примы и сказала, что теперь и отныне я могу ходить в цирк на любое представление, но только через служебный вход.

— И меня пропустят? — с недоверием полюбопытствовал я.

— Ещё как! — уверила меня мама. — Это же визитка самой и несравненной... — И далее мама перечислила её международные заслуги и звания.

Я очень удивился, потому что значимость перечисленных регалий не совмещалась в моей голове

с маминым драным халатом и моими истоптанными тапочками. Однако ни в этот день, ни в последующий в цирк я не пошёл! Почему? Думаете, я не знал, где находится служебный вход? Знал, конечно! Думаете, я волновался и несколько раз подходил к дверям, но не сразу решился открыть их? Да, на этот раз вы не ошиблись, именно так и было! И я вошёл с пятой или седьмой попытки! Господи, как глупы были мои опасения по поводу того, что меня с позором вытолкают прочь! Всё случилось не так. Вахтёр глянул на визитку, нажал на педаль, которая блокировала вертушку, я, удивлённый простотой манипуляции, шагнул вперёд... и вот я в цирке!

К моему удивлению, цирк встретил меня едким запахом навоза и ароматами пряных духов. Пробежал мужик с собачкой на руках, громила в ливрее посмотрел на меня внимательно и свысока и грубо спросил, за-ради какого овоща я здесь болтаюсь. Я предъявил ему визитку. Мандат от Примы действовал на всех как удав на зайца — заворазживающе, и скручивал смотрящих в мелкую и податливую пружину. И меня любезно провели и усадили в директорской ложе. Ха! Вы можете себе представить, что эта самая ложа находится на втором ярусе, как раз напротив выхода на арену, а тут же, над входом — рукой достать можно — весёлый цирковой оркестр. А вокруг празднично одетая публика — теснотища и толчея, и только я один в директорской ложе, как в ладье, покачиваюсь в гордом одиночестве на людской бурлящей волне! Сначала я устроился на носу ложи, потом переместился на корму, но после решил, что солиднее, если я расположусь посередине, там,

где предположительно должны быть мачта и капитанский мостик.

Но вот восторжествовали фанфары, и оркестр заиграл цирковой марш! Господи, какой это замечательный и красивый марш! И в тот же миг распахнулись кулисы, и начался парад артистов цирка: сначала шествовали красавицы в каких-то неимоверно пышных и ярких перьях, потом воздушные гимнасты, кувыркающиеся акробаты, жонглёры, играющие в воздухе любимыми предметами, собачки, козочки и — о господи! — медведь на цепи! Его вёл старичок — божий одуванчик, а за ним шествовал Геракл, нет, сам Аполлон — гора мускулов! Это был бородатый богатырь, затянутый серебряным поясом, в золочёных сапожках и в манжетах на руках. Но я уже знал, что под манжетами прячется эластичный бинт, защищающий запястья от травм. И в момент, когда все уже выстроились вокруг арены, в центр манежа царственно ступила Прима и её помощницы!

Вот когда я испытал восторг! Да нет, не от того, что Прима была в короне и королевском платье, шлейф которого несли два пажа-карлика, и даже не от того светового калейдоскопа, который крутил весь амфитеатр цирка и арену в едином круговороте весёлого и бравурного марша! Я испытал восторг от того, что я знаком с самой... имя, жаль, не помню, с самой знаменитой Примой цирка, которая не просто пригласила меня в директорскую ложу, но и теперь приветствовала меня взмахом руки и улыбалась! И я помахал ей! Я видел, что на меня обратили внимание все зрители и все артисты цирка. Я понимал их замешательство и знал — они сейчас все в недоумении

и, может быть, мучимы одним и тем же вопросом: кто этот юноша в директорской ложе? А это был я!

И жизнь моя вдруг изменилась: наступили каникулы, тренер перевёл нас с пятидневных нагрузок на трёхдневные, и потому я шастал в цирк уже как на работу, беспрепятственно преодолевая вахтёров, которые вскоре перестали спрашивать с меня какие-либо документы. Я проходил в зал, садился во втором ряду и наблюдал за репетициями артистов. Признаюсь, что репетиции значительно интереснее представления. Вот где настоящий цирк — за кулисами! Настоящий цирк — он не лощёный и не праздничный, и я уверен, если бы зрители могли выбирать, поверьте, все ходили бы только на репетиции. Все артисты, подавляющее их большинство, почему-то очень эмоциональны, а некоторые безудержно эмоциональны. Вот эти немногие, у которых в работе уживались и свежий матерок и подзатыльники, были мне крайне интересны. Более всех дурачились клоуны, — они даже дрались между собой. Но вечерами, выпив немного в буфете у тёти Нели, как ни в чём не бывало они выходили на арену, и зал рыдал от смеха. Закулисная жизнь — удивительная жизнь! Как все ухаживали за больным и капризным слоном, которого оставили в цирке уехавшие артисты. Ему носили яблоки и апельсины, а когда он начинал стонать, гладили по могучей ноге, словно кошку по лапке.

Если не брать в обязательный расчёт танцующих девушек и акробатов, то среди прочих мне особенно нравился силач. Вот его-то я запомнил на всю жизнь. Его звали Валентин Дикуль. Он был подобен русскому богатырю, и виделся мне просто огромным:

накачанные мышцы, борода, серебряный пояс, стягивающий талию. Он выходил на арену на специально подготовленную платформу и жонглировал гирями по восемьдесят пять килограммов каждая. А ещё я запомнил шары, золотые: он катал их по рукам и груди, подбрасывал вверх и ловил на шею. Иногда он ставил гирию на барьер арены и жестом приглашал зрителей попробовать поднять её. И находились смельчаки! Но только один однажды двумя руками поднял эту гирию выше головы. За смелый выход этому зрителю аплодировали как настоящему артисту.

Но дело было не в гирях и не в силе атлета, а в том, что Валентин, как рассказали мне работники цирка, был воздушным гимнастом и упал во время номера. Говорили, что сильно переломался, лежал парализованный, но начал тренировать себя — и совершилось чудо, о котором говорили даже доктора, не верившие в его выздоровление. Я с восторгом наблюдал за своим кумиром, который на ту пору моего подросткового максимализма затмил всех прочих героев Советского Союза. Он репетировал сосредоточенно и усердно, не обращая внимания ни на кого, и только один раз подмигнул мне, потому что я в это время был его единственным зрителем. Шёл первый или второй год, как Валентин вышел на арену цирка после продолжительной болезни и изнурительных тренировок. В те ранние юношеские годы я понял, что чудеса бывают только тогда, когда мы сами стараемся их совершить. И я решил, что тоже буду твёрдым и уверенным в достижении своей цели, а если случится беда, то, как Дикуль, буду тренироваться и совершу чудо. И на своих тренировках прыгал

бесстрашно и уверенно, потому что не боялся никаких переломов.

В основном, конечно, я посещал репетиции акробатов. Я с интересом и пониманием следил за их работой. Труппой руководил дядя Лёша, по крайней мере его так все звали. Особенность труппы заключалась в том, что все акробаты были разновозрастными родственниками — сыновьями, зятьями, братьями или племянниками.

В тот день я, как всегда, сидел во втором ряду, а на арене работали акробаты. Собственно, они занимались тем, чем и мы занимались у себя на тренировках, — разучивали новые акробатические упражнения. А потом уже, в конце репетиции, проходили всю программу выступления от начала до конца. В тот день дядя Лёша в очередной раз бился с племянником Серёжей, мальчишкой лет десяти. Они разучивали с ним арабское сальто. Это достаточно простое упражнение, его ещё можно назвать сальто боком или в сторону. Чуть сложнее сальто назад, потом по сложности идёт сальто вперёд, бланш*, пируэт, лунное сальто** и прочее акробатическое разнообразие.

Серёжа конкретно буксовал и никак не мог сделать это несчастное арабское сальто. Дядя Лёша уже открыто раздражался на него, а тот упрямо смотрел на ковёр и опять творил чёрт знает что.

— Серёжа! Не надо спешить, вот смотри, два шага, прыжок и группировка! Группируясь, ты себя

* *Блани* — сальто назад прогнувшись.

** *Лунное сальто* — в просторечии сальто с одновременным вращением в поперечной и продольной осях.

закручиваешь, вот так! — И дядя Лёша ловко продемонстрировал арабское сальто.

Серёжа или специально не хотел и включал дурака, или действительно у него не получалось. Такое бывает: работаешь над сложнейшими прыжками, а какая-нибудь проходная вещь не идёт и всё тут, хоть убейся! Я помню, как забуксовал на перевороте вперёд, а потом так почувствовал его, что следом за переворотом делал сальто вперёд прогнувшись! Представляете: переворот вперёд и сальто вперёд прогнувшись! Хотелось бы увидеть этого смельчака, который рискнул бы повторить эту связку!

— Серёжа! Ты чё, издеваешься?! — уже орал дядя Лёша. — Вон, видишь, пацан сидит, он уже наверняка понял, как надо группироваться! — И вдруг дядя Лёша поворачивается ко мне и спрашивает: — Слушай, друг, скажи, ты понял, как надо группироваться?

— Конечно, — с готовностью откликнулся я.

— Вот видишь, сидит пацан, простой местный пацан, и тот уже всё понял, а я с тобой уже месяц бьюсь и никакого результата! Давай ещё разок, но только соберись.

Видимо, то был не самый удачный день для Сергея, он опять не докрутил и упал на поролоновый мат.

— Я уже устал тебе показывать. — Дядя Лёша вновь повернулся ко мне: — Слушай, если ты всё понял, может, и сальто сделаешь? Может, это его пробьёт?!

— Ладно, — согласился я, разулся, перескочил через барьер и, ускорившись в два шага, сделал арабское сальто.

— Ты видел, что творит, — обратился к Серёге дядя Лёша, — ты видел высоту и скорость вращения? Ты видел, как он руками себе помог закрутиться? Слушай, парень, — обернулся он ко мне, — а что ты ещё умеешь делать?

И, не моргнув глазом, я ответил:

— Всё!

Труппа акробатов, которая давно наблюдала за нами, дружно рассмеялась.

— И сальто-мортале можешь? — вдруг ввернул, как ему показалось, горький вопрос Серёжа.

— Это как? — не понял я.

— Это сальто назад, цирковая терминология, типа смертельный прыжок, ничего особенного, — ответил дядя Лёша, уже догадываясь о моём положительном ответе.

— Назад могу двойное, а вперёд двойное только с трамплина, — не тормозил я.

— Здорово, — оценил дядя Лёша, и все закивали, соглашаясь с ним. — А окрошку* осилишь?

— Без проблем, — я уже захлёбывался хвостовством и кинул в довесок на свою чашу весов: — И лунное сальто могу!

— Лунное? В двух осях? — не поверил дядя Лёша.

Я восторженно закивал.

— Всё, ребята, мне пора на пенсию, если пацан из Новосибирска может делать то, чему я научился уже под старость лет! Мне пора на пенсию. Всё, допрыгались.

* *Окрошка* — в просторечии акробатическая связка: рондат — фляк — сальто темповое — фляк — сальто группированное.

С того дня и началась наша дружба. И я изредка даже прыгал вместе с ними на репетициях. И Серёжку научил делать арабское сальто — я просто понял, что он боялся. И я ему сказал, что если он боится, то никогда не станет настоящим акробатом, потому что настоящий акробат — это тот, кому неведом страх, акробат — это самый свободный человек в мире, акробат — это птица, ему даже земное притяжение нипочём. И я в подтверждение своих слов подпрыгнул, взлетел и сделал арабское сальто. Это так удивило Серёжку, что он тут же разбежался и сделал это несчастное арабское сальто. Сам удивился и засмеялся, да так задорно, что и я с ним смеялся как полоумный. А потом я ещё научил его делать твист — это такое сальто назад с поворотом.

И вот однажды дядя Лёша увидел меня в цирке и сказал:

— У меня работать сегодня некому, приходи, я с директором постараюсь всё уладить. Понимаешь, обстоятельства, у нас дед помер — старейший акробат, основатель труппы, и ребята поехали проститься, вот мы и остались вчетвером, сам понимаешь, ни два, ни полтора.

И я умчался за спортивной формой домой, благо жили мы минутах в семи от цирка. Когда я вернулся и нашёл дядю Лёшу, тот огорчённо развёл руками:

— Извини, зря тебя гонял, директор категорически против, видишь ли, есть такая наука — техника безопасности. Кто, говорит, отвечать будет, если что случится. Он прав, за всё в ответе директор. Вот так, брат-акробат.

— А если Приму попросить, ну, эту, иллюзионистку? Она, знаешь, какая! Он её сразу же послушается, — горячо предложил я.

— Нет, я не могу, мы поссорились с нею, обиделась она на меня, — глубоко вздохнул дядя Лёша и посмотрел куда-то вдаль печальными глазами незаслуженно побитой собаки.

Вот в чём дело, понял я, дела тут сердечные, запутанные. Любовь! Я уже знал, что это такое, и мне от всего сердца стало жаль дядю Лёшу.

— Щас нарисуем, — уверенно сказал я, — я пойду к ней, она его, этого директора, как лягушонка, наизнанку вывернет и авкать научит.

— Что делать? — не понял дядя Лёша.

— Авкать. Лягушка что делает — квакает, а если её вывернуть наизнанку, она авкает! — радостно пояснил я и кинулся в гримёрную Примы, потом повернулся и крикнул: — А ещё я вас сейчас помирю!

— Не вздумай! — услышал я дядю Лёшу, в голосе которого уловил надежду и благодарность.

С Примой к тому времени у меня сложились совершенно дружеские и доверительные отношения. И всякий раз, когда мы встречались у нас дома, она начинала болтать со мной без удержу, но, как всегда, манерно и со вкусом. Или, когда я приходил на представление и размещался в директорской ложе, она махала мне рукой и даже посылала воздушные поцелуи. Но что мне эти поцелуи от старухи: ей уже, как и маме, и тёте Неле, было лет под тридцать пять. Лучше бы подтанцовка посылала поцелуи, там тоже девчонки не молоденькие, как говорится, не первой свежести, лет по семнадцать, но всё равно не так безнадёжно.

Я не знаю, о чём говорила Прима с директором цирка, но то, что он сам пришёл и уведомил дядю Лёшу о своём разрешении на моё выступление в составе акробатической труппы, — то факт исторический.

Когда я переоделся, дядя Лёша несколько смутился. Дело в том, что они выступали в светло-сиреневых одинаковых майках и спортивных трусах, а у меня было ослепительно-белое шерстяное обтягивающее тело гимнастическое трико. Он махнул рукой, мол, семь бед — один ответ. И вот мы за кулисами на изготовке. Но сначала девчонки танцуют, они стояли с нами за кулисами и должны были, пока разбирают оборудование предыдущего номера, заполнить паузу своими танцами. Паузы заполняли либо клоуны, либо танцующие девушки. Они стояли совсем рядом, шелестели своими яркими перьями и тихонько переговаривались. Тут же ходил разодетый, как павлин, конферансье в ливрее: он вышагивал важно и иногда по-индюшачьи шипел на болтающих девушек и щипал их за тощие бока.

Как приятно чувствовать себя соучастником праздника. И вот, наконец, запыхавшиеся после танца девчонки забежали за кулисы, потом торжественные фанфары, конферансье объявляет наш номер, и под какую-то немислимую музыку мы бежим навстречу ослепительным прожекторам и лучами разлетаемся по манежу в разные стороны, каждый исполняя свою акробатическую связку. Я замолотил несколько фляков* подряд, они очень эффектно смотрятся. А потом я летал по арене без удержу,

* *Фляк* — переворот назад.

и дядя Лёша пытался меня слегка уговорить, но настроение, с которым я прыгал, понравилось многим, и нам бурно аплодировали. Мои прыжки отличались манерой исполнения, особой эластичностью и чистотой. Теперь-то я понимаю, зачем наш тренер водил нас на занятия в хореографическое училище, где мы часами томились у станка рядом с какими-то соплевыми девчужками и кляли тренера несчётно. Только я среди акробатов московского цирка мог исполнять затяжные прыжки с вытянутыми носочками, идеально прямыми ногами и ровно прижатыми пальцами рук! И в конце выступления, когда мы задействовали трамплин, который подкидывал нас метров на пять в высоту, и делали особо сложные прыжки, чистота исполнения вызывала особое восхищение зрительного зала.

О! Как скоротечны счастья минуты! Я разбежался для заключительного прыжка, взмыл вверх в тяжёлом, на секунду завис в воздухе, любясь многоликим амфитеатром, но вдруг в какой-то момент понял, что всё, как говорится, туши свет и поливай веники! — та заветная секунда уже позади и что-либо крутить поздно. Это как у парашютистов: поздно дёргать за кольцо, парашют уже не успеет наполниться воздухом. Я продолжал парить, теряя высоту и пикируя ровно на голову! Зал замер, предчувствуя беду, но в самый последний момент я сложился и упал на страховочный мат спиной, а ноги накрыли меня, гася силу падения, — напуганный зал взорвался аплодисментами. Потом я уже нарочно исполнял этот прыжок, специально щекотал нервы зрителям.

Конферансье в момент, когда мы раскланивались и уже готовы были покинуть арену, вдруг объявил,

что к акробатической группе из Москвы сегодня присоединился «наш земляк, акробат из Новосибирска», и назвал моё имя. За «земляка» зрители согрели нас новой волной аплодисментов, и я почувствовал себя особо ответственным представителем нашего города, почти что дипломатом, обеспечивающим мир и согласие, и под шквал рукоплещущего зала последним покинул арену.

За кулисами первыми меня встретили девчонки из подтанцовки. Они говорили очень приятные слова, и кто-то сказал, что я прошёл «крещение», мол, сегодня родился новый артист цирка, и ещё что-то удивительное и трогательное, и некоторые, как мне достоверно показалось, самые симпатичные девочки смотрели на меня с любопытством. А потом я увидел силача Валентина Дикуля, который ждал, когда рабочие утвердят на арене пирамиду с шарами и круглый помост. Он мне опять подмигнул и показал большой палец, мол, всё очень хорошо, и тогда вдруг я тоже ему подмигнул. Потом подошёл дядя Лёша, пожал мне руку, а Прима обняла меня, и я прижался к её боку и подумал, что зря мама и тётя Неля прозвали её Звезданутой. Да если бы она была другой, я бы так никогда и не выступил на арене цирка! А дядя Лёша сказал, что цирк — это семья и здесь все, как мушкетёры, живут по одному принципу: «Один за всех и все за одного». После я ещё не единожды выходил на манеж, но вёл себя на арене сдержаннее. Профессионализм не купишь. Я уже знал, как надо работать со зрителем, и для этого совсем не обязательно мотаться по арене как угорелому.

Клоун

Кто в стремительной и бесшабашной юности своей не задавался вопросом: а что это за чудо такое — любовь? Ровесницы-девчонки строчили в дневниках: «Любовь — это роза, красивая, но колючая». Лично я искал ответ у поэтов и находил совсем не то, что искал: «Я вас любил, любовь ещё, быть может, в душе моей угасла не совсем...» Но шокировала меня в этом произведении концовка, мол, «дай вам бог любимой быть другим». Сознание зависало, мой быстрый на расправу процессор скрипел и отказывался давать вразумительный ответ на вопрос: «Зачем своей любимой желать любви другого пацана?!» Были и иные авторы, более конкретные и по-хозяйски деловитые, которые писали: «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне...», но далее опять пугали, мол, «всё будет — слякоть и пороша...», и несли прочую муть, наподобие девчачьей болтовни о розах и шипах. И что? И где ответ? По прочтении этих и иных не менее туманных сентенций вопрос оставался открытым, ответ блуждал в потёмках неразберихи вечно запутанных отношений между мужчиной и женщиной.

В студенчестве я раз пять был влюблён, то есть отточил свой характер до ловеласного. А в руки стали попадаться книги, в которых анатомия любви представлялась или в заоблачных просторах романтических грёз и фантазий, или в грешных коридорах пошлости и цинизма. Ответа, который мог бы утолить мой пылко пытливый и въедливо дотошный ум, категорически не было.

Легче дело обстояло с понятием любви к маме, папе, бабушке и другим, ещё живым родственникам. С Родиной и патриотическими чувствами тоже всё обстояло более или менее определённо и достаточно аккуратно было уложено в моей, тогда ещё вихрастой голове. Но вот я ознакомился с Новым Заветом, в котором чёрным по белому было написано: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Понять эту заповедь мой здравомыслящий мозг отказался сразу. По улице ходили, спешили, бродили люди, высокие и низкие, худые и толстые, но причём здесь я?! — рационально думал я. И с чего их всех вдруг необходимо любить?! Я этого понять не мог.

Потом я прожил много лет, и, как все люди на этой грешной земле, страдал и радовался, терял и находил, предавал и был предан, лгал и был оболган, влюблялся и даже счастливо женился, но и после всех этих передрыг я так и не смог разъяснить, даже самому себе, что же это такое — любовь.

Но вот недавно я вдруг и совершенно беспричинно, после звонка мамы, вспомнил случай, который никогда не обсуждался и потому, наверное, и не вспоминался. И тот мамин звонок не был связан ни с моими мыслями о любви, ни с тем далёким случаем из детства. Но вот отчего-то слова, интонации, настроение и непогода за окном отправили меня в ассоциативный путь, который увёл в чащу давно позабытых дней.

Мне исполнилось тринадцать, когда младшую сестру Нелю положили в больницу на операцию. Я, кажется, всегда знал, что она больна, но вот так ясно и вдруг предельно отчётливо подступившую опасность понял только теперь. Я понял, нет, я её почувствовал

всем телом, всею душою, всей интуицией и сознанием, что есть смерть, реальная и жестокая, что она — смерть — то самое явление, которое не подвластно никому на земле. И я понял, что смерть сильнее жизни.

Учился я с тем рачительным расчётом, чтобы не доводить отношения с мамой до грубых разборок, чтобы моё прилежание и поведение не нарушали спокойствие завуча школы, готового в любой момент назначить свидание в кабинете директора. Кроме обязательной программы, которой потчевала наша средняя общеобразовательная школа за номером двадцать два, была любимая, но произвольная программа — я четыре раза в неделю посещал акробатическую секцию на стадионе «Спартак». В шестом классе я лихо прыгал и был изрядно ловок, и однажды в школе на спор спустился по лестничному пролёту на руках со второго этажа под восторженные аплодисменты сотни школьников, которые чуть позже сделались честными свидетелями этого события в кабинете у завуча по воспитательной работе. Я был унижен и прославлен одновременно.

К Нельке в больницу в Академгородок я ездил в свободные от тренировок дни. В кардиологическое детское отделение передачи не принимались, свидания были запрещены, видимо, как я теперь понимаю, с профилактической целью — не допустить в отделение заразу типа гриппа или какую другую гадость. Я выходил на остановке «Строитель» и через десять минут путешествия по вековому бору оказывался возле клиники, обегал двухэтажное здание с тыльной стороны, на которую выходили окна больничных палат с приклеенными к стеклу листочками, на которых

взволнованным почерком были нарисованы номера. Я лепил снежок, запускал его в цифру пятнадцать, и в окне возникала чья-нибудь голова, а потом появлялась медлительная Нелька. Она, как и все жители этого отделения, синела остриженной наголо круглой головой и смотрела на меня, сидя на подоконнике. Я топтался под соснами, взмахивал руками, пытаюсь что-то рассказать, — кричать было бесполезно, нас наглухо разъединяли двойные рамы окон. Потом мне изрядно надоело топтаться без толку на заячьей тропе, проторённой редкими прохожими, и я начал вытаптывать на снегу гигантские буквы её имени. Я вяз в сугробах, падал, а Нелька сидела на подоконнике и смеялась. И я вдруг понял, что надо делать. Нужно веселить сестрёнку! И тут же принялся изображать неловкого художника, который рисовал её имя на снегу. Я неуклюже падал в снег, выскакивал на тропинку, рассматривая своё произведение, а в самом конце забрался на толстую разлапистую сосну и прыгнул в снег, выдавив своим щуплым телом восклицательный знак в конце уже завершённого произведения. Когда я поднял голову, то увидел, что около Нельки сидят ещё девчонки, такие же стриженные и весёлые. Они беззвучно хлопали в ладоши, и была среди них одна, почти моя ровесница, её круглую голову также украшали маленькие ушки и большие глаза. Но вот эти глаза и ушки мне показались самыми красивыми в мире. Я никогда и предположить не мог, что стриженная наголо девочка может быть такой обворожительной. Не надо даже сомневаться! Я влюбился в неё мгновенно, когда ещё валялся в позе восклицательного знака.

Уже в следующий свой приезд, когда рядом с Нелькой в окне появились все девчонки, я смело подошёл к вытоптанному на снегу имени сестры, сначала показал на него пальцем, а потом на красивую девочку и спросил: «Как тебя зовут?» Она поняла сразу, подышала на оконное стекло, которое тут же густо запотело, и написала своё имя. Я прочитал: Яна — и принялся вытаптывать его на снегу. Но дети застучали в окно, и девочка начала писать буквы отдельно, одну за другой, и получилось: Аня. Я понял, что мне надо было читать не слева направо, как мы привыкли, а наоборот, справа налево, как в зеркальном отражении. Имя Аня мне очень понравилось, оно звучало в моём сердце хором небесных птиц, пока я вытаптывал на снегу её имя с особой тщательностью и клоунской сноровкой, кривляясь и падая.

Прошло несколько дней, и я вдруг заметил, что стоит мне ступить на тропинку, в окнах второго этажа, как по команде, появляются стриженные головы детей. Только в одном окне всегда было пусто, а когда там включался свет, мне было видно, что на потолке светилась огромная космическая тарелка.

Медсёстры и врачи не ругали меня и не гнали, хотя я приезжал после школьных уроков, и мой приезд почти всегда приходился на тихий час в больнице. Это был важный знак признания моего скоморошества полезным и нужным делом. Я совсем осмелел, хотя и сам догадывался, что детям и до операции, и после было скучно и, наверное, страшно. Я освоил сосны, с которых умело и смело падал в глубокий снег, вновь забирался на них по-кошачьи ловко,

разыгрывая очередной сюжет, который придумывал, пока ехал в Академгородок.

А потом вдруг в окне не появилась Аня. Я подошёл к её имени на снегу, показал на него пальцем и спросил Нельку: «Где?» Неля отстранилась от окна и провела рукой поперёк груди, и я понял, что Ане сделали операцию. Собственно, я знал, что это когда-нибудь случится, в клинике всем делали сложные и опасные операции, но я почему-то решил, что мой влюблённый рай продлится вечно.

В тот день я отработывал новую репризу, но мне было грустно. Нет, я не ленился, я честно работал, мотаясь по разлапистым ветвям сосен, но разыграл роль не влюблённой обезьяны, как смело задумал ранее, а обезьяны, потерявшей свою возлюбленную. И когда я сел на высокий сосновый сук, чтобы передохнуть, и увидел вытоптанные имена на снегу, мне почему-то подумалось, что вот придёт весна и эти самые любимые имена растают и утекут. Я разместился на ветке сосны, как мне казалось, по-обезьяньи, почёсывая бока и вытянув губы трубочкой, завыл. Дети смеялись, а я почему-то завыл по-настоящему, по-человечьи, по-обезьяньи не получилось.

Прошла неделя, а Аня всё не появлялась в окне, а я ждал. Я ждал встречи с нею, и даже стыдился, что сестра, наверное, уже догадывается о моей влюблённости. Но Аня всё не появлялась, и тогда я опять подошёл к её имени на снегу и спросил Нельку: «Где»? А Нелька неожиданно отстранилась от окна и скрестила руки на груди, потом, как приставучую муху, нечто смахнула с лица и смущённо улыбнулась. А я понял, что Анны больше нет, что она умерла.

Я забрался на дерево, сел на сук и смотрел то в небо, то в окна, где синели стриженные головы детей, больше похожие на диковинные растения, тянущиеся к уличному свету, смотрел на вытоптаные в снегу имена, на витиеватую каллиграфию имени Аня и назойливо и тоскливо думал, что вот имя человека есть, а человека уже нет! И в этом не было справедливости и смысла и не было элементарной и понятной честности, которую от нас требовали взрослые. Я понимал ложь происходящего, потому что жизнь, так получалось, есть то самое место, где требуют одно, а на самом деле происходит другое. И тогда, в тот самый момент, когда я, как всклокоченный и мокрый от растаявшего снега серый воробей, сидел на суку, совсем неожиданно выдохнулось из какого-то дремучего прошлого, со слезою и болью, и почему-то с жалостью к самому себе: «Господи! Как трудно жить!» И я уже точно знал, что веселить я не смогу, пусть дети не обижаются, пусть я плохой артист, но я не мог, потому что умерла Аня, самая красивая девочка в моей жизни, и изображать даже обезьянью тоску я не мог и не стал.

Я спрыгнул с сосны, помахал Нельке рукой, весь этаж махал мне, провожая грустно и удивлённо, но почему-то сдержанно и с каким-то пониманием. Я тогда ещё не знал, что дети, пережившие горе и боль, становятся мудрыми и понятливыми, как старики.

А я пошёл по заячьей тропе в бор, чтобы потом — на остановку, в автобус и домой, чтобы жить дальше, но без Ани, которая меня больше не ждала. И уже далеко в бору я сел в снег и дал волю слезам, и опять вырвалось, как стон, как проклятье: «Господи! Господи-и! Почему же так трудно жить!»

Я очнулся, к моему плечу прикоснулись. Я поднял голову и увидел красивую стройную женщину.

— Зачем плачешь? — спросила она.

А мне показалось, что это сама смерть устыдилась своих дел, преобразилась и пожалела меня. Я вскочил и побежал прочь.

«Зачем плачешь?» — слышалось мне. Она спросила: зачем, будто можно зачем-то плакать. Она не спросила: почему, а сказала: зачем, будто плакать — это ничьённое, пустое и неважное дело...

А потом в окне не появилась Нелька. Я знал, что в этот день ей будут делать операцию. Мы приехали вместе с мамой. Мама осталась в больнице, а я побежал к больничному окну, надеясь, что Нельку ещё не увезли в операционную и я увижу её, махну ей рукой, сморщю нос и скорчу смешную рожицу. Но Нельки не было в окне, зато были дети, дети всего второго этажа, которые смотрели на меня, улыбались и ждали представления...

Я хотел уйти, но в Нелькиной палате я увидел маленькую девочку, послеоперационку, её посадила на подоконник и придерживала, наверное, нянечка или, может быть, её мама. Опухшие глаза девочки смотрели на меня с какой-то глубочайшей мудростью и ожиданием, и я понял, что мне просто уйти и обмануть эти глаза, этого маленького человека нельзя, не имею права, это хуже предательства. Сегодня я — её радость, её любимый клоун, которого она ждала. И она, верно, съела те ненавистные семь ложек каши, которые её заставляла есть нянечка, и... мне почему-то так придумалось, что пару ложек, самых последних и самых противных, она съела за меня — за дядю клоуна.

Я отработал свою программу, летал, как птица, по веткам сосен, потешно падал и опять взлетал с каким-то остервенением, особой лихостью и злобой, рисковал, совершая невероятные трюки. Мне аплодировали все: и врачи, и медсёстры, и, конечно, дети. А девочка улыбалась, положив ладошку на стекло. А я пошёл к маме в приёмный покой, где мама ждала окончания операции. Я уходил от детей, уже точно зная, что через день приеду обязательно, я точно знал, что для них было важно, чтобы я приехал. И я приехал.

Уже вечером к нам с мамой вышел хирург. Он сел на стул в пустом, холодном и гулком холле первого этажа, руки безвольно лежали на коленях. Было видно, что он сильно устал. На мамины вопросы он отвечал односложно. Он говорил, что операция прошла удачно, что всё, что задумывалось, сделали. Что есть надежда на хороший результат. А я смотрел на его руки и думал, что вот эти руки только что держали сердце моей сестры, и я зачем-то пытался увидеть на них хоть капельку крови, но они были чистыми, и манжеты белого халата тоже были ослепительно чистыми. Потом мама задала неожиданный вопрос, наверно, оттого я запомнил его. Она спросила:

— Скажите, как долго проживёт моя дочь?

Хирург ответил сразу, будто и сам думал об этом, он сказал:

— До сорока лет... — замер на секунду и решительно кивнул, — до сорока доживёт.

Мама положила на его руку свою, как-то чуть сбобку, не для рукопожатия, а для чего-то иного, необычайно доверительного и благодарного, и слегка сжала её:

— Спасибо, — сказала она. — Большое спасибо.

* * *

Моя сестра жива и теперь, ей уже пятьдесят два года. Вы понимаете, о чём я? Я о том мальчишке, не о себе, а о том мальчишке, который прыгал по веткам, веселил детишек, чья жизнь висела на волоске и многие из которых не вернулись из операционной, потому что спасти их было практически невозможно, потому что в тот момент смерть была сильнее жизни. Я о том клоуне, который и сам-то был ребёнком, но каким-то чутьём понимал важность детских улыбок и дарил радость от всего своего пылкого и чуткого сердца. Он не знал и даже не думал о том, что он любит людей, он просто старался для них, как мог, как умел, как понимал и чувствовал в тот миг. И уставший хирург всякий раз, оперируя маленькое существо, которое ещё толком-то и не понимало, что такое жизнь, отдавал толику своей жизни. И не ради зарплаты он это делал, а потому что любил людей. Знал ли он об этом, думал ли — не знаю, навряд ли. Любовь — это чувство не от ума, а от сердца, из самой глубины человеческой души, это жертва, бескорыстная и счастливая, за-ради другого человека! И именно потому, что это жертва за-ради кого-то, она и названа таким красивым словом — любовь!

Значительно позже хирург стал знаменитым, и клиника благодарными людьми была названа его именем. А я вообще забыл про этот случай из моего далёкого детства. Но ведь я должен же был когда-нибудь понять, а что же это за чудо такое — любовь. Я понял и самое важное: да, смерть сильнее жизни, но любовь сильнее смерти! Понимаете это?! Понимаете? Любовь сильнее! Ведь когда я звоню сестре, то слышу в ответ: «Колечка, это ты, здравствуй, родной».

Баламут

Учился я в школе, скажем прямо, не очень ровно, поскольку собирался стать великим спортсменом. А для спортсмена, так представлялось мне, главное — это сила, ловкость, скорость и выносливость.

Вернулся со сборов и вдруг узнал, что у нас появилась новая учительница по истории — Наталья Николаевна, женщина молодая и красивая. Я с облегчением вздохнул, потому что к тому времени я уже приобрёл незаурядный опыт, опираясь на который мог безболезненно морочить учителям голову. Молодая учительница, то есть человек без достаточного опыта работы, мне показалась лёгкой добычей.

Пока я отсутствовал, будучи на очередных соревнованиях, Наталья Николаевна вышла замуж. Об этом много болтали наши девчонки. «Ну-с, — подумал я, услышав девичью болтовню, — теперь ей во все не до нас». Но прозвенел звонок, и предчувствие тревоги овладело мной — я достаточно ясно осознал, что сегодня меня непременно вызовут к доске рассказывать про Ивана Грозного. Если бы оно посетило меня, когда я был дома, я бы непременно успел познакомиться с необходимым параграфом. Но моё шестое чувство в этот раз опоздало.

Оставался единственный, но очень верный ход — затянуть время, отведённое на опрос домашнего задания, то есть лишить «противника» инициативы, отодвинуть его грозный фронт как можно дальше и заставить его пробиваться к доске и журналу с изнурительными боями местного значения и так, чтобы

даже в случае успеха он бы оказался в цейтноте и вынужден был, отложив опрос пленных, перейти к новой теме и следующему стратегическому плану.

— Наталья Николаевна, можно спросить? — Я поднялся с места.

— Да, слушаю вас. — Она обращалась к нам на «вы». Эту привычку молодые учителя наследуют вместе с университетским дипломом, но затем она как-то сама собой стирается.

— Я слышал, вы вышли замуж?

— Однако от вас ничего не скроешь. И что?

— Я хотел поздравить вас от всего класса.

— Спасибо. Садитесь.

Я сел, но тут же прервал её внимательное изучение журнала.

— А сколько вы планируете детей?

Учительница внимательно посмотрела на меня.

— Пять, — ответила она и вновь принялась разглядывать журнал.

— Круто! — оценил я. — А когда планируете первого?

Наталья Николаевна опять внимательно посмотрела на меня.

— Чем же вызван такой интерес?

— Не торопитесь с детьми. А вдруг вы разлюбите мужа, ну, сами понимаете, дело молодое. Разводы на каждом шагу. Я это к чему говорю, чтобы вы помнили, что к тому времени я уже стану совершеннолетним и на вас смогу жениться.

Одноклассники всегда были благодарны мне, хотя и считали меня легкомысленным. Но сейчас в классе воцарилась мёртвая тишина. Такой наглости от меня, видимо, не ожидали даже они, мои одноклассники.

Наталья Николаевна задумалась.

— В меня что, влюбиться нельзя? — я пытался держаться выбранных козырей.

— Почему же, можно. Вы с юмором, а я люблю людей весёлых. Но я люблю и образованных, и перед будущей свадьбой хочу убедиться, что вы, молодой человек, прекрасно знаете историю царствования Ивана Грозного. Так что милости просим к доске.

Я медленно поднялся, понимая, что пересолил свадебный каравай и теперь вместо пиршественного стола неизбежно плыву к позорному столбу.

— Пожалуйста, Николай, коротко и ёмко.

Я вышел к доске.

— Иван Васильевич Грозный, время царствования 1547–1584 годы, — начал я размеренно и стараюсь держаться тех скудных строк, какие успел подглядеть в раскрытом учебнике своего соседа. — Наталья Николаевна, не нравится мне Иван Грозный!

— Что же так? — отозвалась вдруг она с пониманием моей затруднительной ситуации и откинулась на спинку стула.

И я почувствовал самыми сокровенными уголками своего живота, что она приготавливается с наслаждением вернуть мне обратно все мои дерзости.

— Понимаете, Наталья Николаевна, у всех цари как цари, а у нас — то тупой, то бездарный. Вот взять того же Ивана Грозного, сколько он народу загубил? А опричники, как фашисты, устраивали карательные операции, жгли, вешали! А сколько царевичей передушили?! Цари против бояр, бояре против царей. На Западе — электричество, а у нас — свечи, там — паровозы, а у нас — полудохлые, заморённые лошади! Даже стыдно. Вот если бы я родился во Франции...

— А что вы знаете о французских королях?

— Ну, там всё в порядке, — невнятно ответил я, понимая, что о французских королях я даже приблизительно ничего не знаю и напрасно заикнулся в их сторону.

— Мне всё понятно, но я думаю, что многие из вас немного знают, а потому послушайте, что я сейчас вам расскажу. — Наталья Николаевна встала и пошла между рядами. — Иван Васильевич Грозный был достаточно привлекательным человеком: высокий, стройный, с ясным взглядом, прекрасный ритор, талантливейший писатель, философ — христианин, который ежедневно по несколько часов посвящал церковным службам. В три года осиротел. Будучи семнадцати лет от роду взошёл на престол и, невзирая на все интриги, какие сплетали бояре ради своей власти и денег, простил всех. «Забудьте, чего нет и не будет. Оставьте ненависть, вражду», — сказал он с Лобного места народу и боярам.

— Куда вы, Николай? — прервала свой рассказ учительница. — Я за вас сейчас отвечаю урок, а вы даже постоять не хотите.

Я вернулся к доске.

— Иван Васильевич ввёл обновлённый Судебник, — продолжала Наталья Николаевна. — Навёл порядок на севере страны. А затем на южных рубежах усмирил казанских татар, терзавших разорительными набегами окраины России. Именно в царствование Ивана Грозного окончательно формируется русское самосознание и понимание государственности как общего дела и общего служения Родине. Это мировоззрение не претерпело изменений за все прошедшие

четыреста лет! Теперь об опричниках. Вы, Николай, говорите — фашисты. Параллель, которую вы проводите, просто невежественна, если не сказать — кощунственна, но я прощаю вам вашу необразованность. Да, Иван Грозный — личность, безусловно, незаурядная, сложная, даже противоречивая, но я надеюсь, что к истории своего Отечества вы научитесь относиться уважительно, если захотите узнать её. Кто не знает истории своей Родины, тот не может её любить.

Ивана Васильевича прозвали Грозным. Обратите внимание, не Жестокий, Кровожадным, а именно Грозным. Да, Иоанн родился во время грозы, но прозвище не закрепилось бы за ним, если бы не великая сила духа и политическая воля на пути государственного строения, которую проявил царь Иоанн. Я хочу быть грозным учителем и стану им, если услышу на уроках столь безапелляционные заявления.

Когда бояре в очередной раз попытались втянуть его в интриги, царь создал отряд опричников — людей, на которых можно было положиться и которые решали вопросы государственной безопасности. Символами опричников были собачья голова и метла — это символы преданности и борьбы с предательством. Вот что вы должны были мне ответить сейчас.

— Замечательно, Наталья Николаевна! — рванул я наступившую тишину, понимая, что уже утонул и давно стою не у доски, а на илистом дне какого-то вонючего водоёма. — Да, всё так, Наталья Николаевна, но Иван Грозный — а вы должны знать это! — был четыре раза женат, а я однолюб и женюсь на вас только один раз и всё! И до самой до вашей смерти.

Наталья Николаевна удивлённо смотрела на меня и почему-то молчала. Ребята тоже сидели не шелохнувшись. Потом она как-то грустно улыбнулась:

— Собственно, да. Я же старше. Хорошо, Николай, я не буду ставить вам двойку. Вы нас сегодня удачно развлекли, но следующий урок готовьте серьёзно. И вот ещё что, подумайте на досуге, и не только вы, но и все, — она обвела взглядом весь класс. — Я уверена, что человека, не знающего и не уважающего историю своей Родины, нельзя считать патриотом, такой человек не способен любить свою Родину. Подумайте, пожалуйста, об этом. А теперь садитесь.

Одноклассники, предатели, после урока молчали. Поняли, что и сами не умнее меня. Спасибо так никто и не сказал. А ведь я кого-то сегодня выручил, и он, этот кто-то, не получил двойку.



Пуговица

Очевидно, что мне не хватает оперативной памяти, и я с трудом вспоминаю, что было на днях, как зовут того лысого чёрта, в какой папке спрятан нужный файл или куда я положил молоток. Часть дня уходит, как говорила моя мама, чтобы «найти вчерашний день». Но хочу тут же заметить, что не всё так грустно и безнадёжно, и в моём окне памяти есть место лучу света, иногда прошибает такой удивительно тёплый, чистый и яркий свет, что аж глаза слепит. Этот свет из самого детства, из тех времён, когда девичья юбка действовала как красная тряпка на корриде, когда воздух сам влетал в лёгкие и будоражил воображение, а на сердце всегда звучала радостная или душевная, но очень трепетная песня!

Я учился в легендарной 22-й школе, не так чтобы очень хорошо, но учился терпеливо и безысходно. Класс был хорошим, не очень дружным, но самостоятельным, и всё потому, что мы преодолели черту детской трусости перед учителем и оценкой, которые держали нас в ежовых рукавицах первые годы учёбы. В седьмом классе наши хвосты начали покрываться робким, но многоцветным оперением. Утренники теперь назывались мероприятиями, родители сидели не в зале, а дома у телевизоров, мы же учились накрывать ещё безалкогольный стол, но уже с закусками. Между торжественной частью и чаепитием непременно проводились развлекательные конкурсы. Памятное мероприятие, о котором я завёл речь, было посвящено Международному женскому дню Восьмое марта.

Мы собрались после уроков в актовом зале на первом этаже школы, стулья заботливо расставили вдоль стен. Я не помню всех деталей и подробностей того дня, но точно помню стол с бубликами, пышками, рогаликами, пончиками и устремлёнными, будто ракеты на космодроме Байконур, бутылками «Дюшеса» и шипучего «Буратино». Как я любил лимонад! Но прежде торжественная экзекуция: в зал вошли ВПП — Прохорова Валентина Павловна, наша классная руководитель, и завуч школы Антонина Савельевна, у которой по какой-то трагической случайности прозвища не было.

У нас в классе были две неприлично круглые отличницы — это Ленка Комарова и Танька Косаткина, в их дневники было противно смотреть, однообразие и штиль, как на болоте. А вот по моему дневнику успеваемости можно было проследить всю бурную и трагическую жизнь будущего писателя. Каждая страница — это карта боевых действий, с наступлениями, перемирием, победами и проигрышами. Иногда внизу страницы, на полях, учительница выкидывала белый флаг, просила пощады и умоляла родителей прийти в школу.

Ещё у нас была воображулистая Маринка Ронкина и заносчивая Ольга Савиных, которые вечно выигрывали всесоюзные олимпиады по физике и математике. Вот по поводу этих отличниц и выскочек явилась Антонина Савельевна с особым поручением и завидными подарками.

После торжественной части и награждения, но до чаепития в программе значилась игровая часть, где мы соревновались с девочками и где, как

полагается настоящим джентльменам, проигрывали им: таким совершенно убогим и примитивным способом мы радовали наших будущих спутниц жизни. Честно скажу, я не помню, что за конкурсы проводились в тот день, потому что я презрительно и хладнокровно не участвовал в этом нечестном спектакле.

Я высокомерно болтался без дела в ожидании пропустить стаканчик-другой лимонада. И вдруг я усёк, что в толпе одноклассников смятение, никто из пацанов не хотел участвовать в конкурсе швей! А делов-то было — пришить пуговицу к тряпчатому лоскутку наперегонки с девчонкой. Оценив всеобщую растерянность и негодование девочек, я согласился на поединок. Моей соперницей стала Марина — великий математик и зазнайка!

Маринка была большеглазой, худенькой, вечно с претензией на затейливую причёску на забитой формулами голове, всегда щепетильно аккуратная и крайне дисциплинированная. Из её юбки торчали тонкие, как палки, ноги и упирались в большие ботинки. Мы в своих мальчишеских кругах считали, что она совершенная дура, но училась она почему-то хорошо.

Я должен пояснить, почему я так смело и безрассудно согласился на несвойственный мужскому достоинству конкурс швей. Дело в том, что мама держала меня в строгости, именно мама, потому что папа к тому времени уже уплыл в самостоятельное плавание и, как я понял, возвращаться не собирался. В доме мы с сестрой делали всё сами: варили, мыли, стирали, прибивали, когда требовалось, гвозди, гладили

и занимались прочей житейской ерундой очень самостоятельно. Ещё классе в третьем мама отказалась пришивать мне оторванную в послешкольной возне пуговицу, подала иголку, нитки и надменно предложила мне совершить этот трудовой подвиг самостоятельно. Я его совершил после третьей затрещины качественно и надёжно. Мне кажется, что та пришитая пуговица всё ещё жива и так же намертво приторочена к уже истлевшей школьной курточке.

Однако на этом обучение швейному делу не закончилось — у меня протёрся всё на той же курточке локоть, егозил я за партой, как истинный двоечник и непоседа. Заметив порчу имущества, мама подала мне лампочку, обычную лампочку накаливания с тонкой спиралькой внутри, и рассказала, как нужно штопать, мол, сначала нить кладётся так, а потом ровно перпендикулярно, при этом нужно было умудриться все эти нити переплести между собой, как корзину. Лампочка нужна была как поддерживающая опора, на которой и развивались все эти драматические события. Мама консультировала, терпеливо помогала и добилась-таки от меня качественного результата. В последующем я пришивал всем пуговицы — и маме, и сестре, штопал и выполнял сильный ремонт верхней одежды. Более того, я овладел напёрстком, когда пришла пора пришивать пуговицы к зимним пальто.

Конкурс так конкурс! Я подошёл к столу, на котором лежали иголки, деревянные чурички с нитками и лоскутки материи, а в пол-литровой стеклянной баночке полоскалось несколько пуговиц. Я взял иголку

и нитку, наслюнявил кончик нитки, она безошибочно влетела в ушко, одним движением вокруг указательного пальца я оставил на хвостике узелок, скрепив обе нитки разом, приложил пуговицу и в несколько привычных приёмов пришпандорил её, заключив финальным узелком. Потом уже с победным наслаждением откусил нить ещё молочным, но достаточно крепким зубом.

Класс онемел, Марина всё ещё возилась с иглой и от волнения не могла попасть в ушко.

— Неправильно! — сказала ВПП и посмотрела на меня выразительно, типа «Ты что творишь?». — Коля начал пришивать без команды, раньше Марины. Предлагаю конкурс повторить.

Антонина Савельевна предательски закивала головой и на пальцах, будто немому, пыталась мне что-то сказать. Но я азбуку жестов не знал, а мой друг Витька Грачёв, который всегда был сообразительным, но крайне нерасторопным, ткнул мне кулаком под лопатку.

— Не торопись, — шепнул он мне на ухо.

— Нормально, — отмахнулся я, решив, что друг заботится обо мне и трепетно ждёт моей победы.

Хочу сказать, что Антонина Савельевна учительница, конечно, хорошая, но штучка ещё та: только в десятом классе я узнал, что она ходила обслуживаться к моей маме в парикмахерскую. А я всё время удивлялся, почему у завуча школы такая же красивая причёска, как у моей мамы, и откуда мама знает про все мои школьные тайны. Стучала она на меня, скажу я вам откровенно, стучала беззастенчиво и профессионально!

Я дождался команды «Марш» и, сделав выразительную паузу, давая фору сопернице, повторил свой подвиг так же стремительно, но на этот раз стежки на пуговице я положил крест-накрест. Получилось симпатично.

— Марина — первая! — решительно подвела итог конкурса Валентина Павловна. И все почему-то с облегчением выдохнули и вслед за Антониной Савельевной зааплодировали, но Марина вдруг бросила свою тряпочку на стол и, чуть не плача, убежала домой.

Ребята не хотели со мной разговаривать, Витька выразительно повертел пальцем у виска. Я ничего понять не мог и тоже, не прощаясь, свалил домой.

Вечером по телефону Витя пытался мне доказать, насколько я тупой, но я действительно был тупым и ничего не понял. Я кричал, что это конкурс, соревнование, и при чём здесь девочка и Восьмое марта, мол, всё должно быть по-честному! Я не понимал Витьку до следующего года.

Когда после лета мы собрались в классе, я вдруг заметил, как изменились ноги у Марины, как она вдруг округлилась под школьной формой, какой томительной тенью покрылись её обворожительно карие глаза... Но перспектив у меня уже не было, она не простила мне моей победы даже через двадцать лет, когда мы увиделись на встрече выпускников. Она степенно ступила в класс с затейливой причёской на голове, вся офигенно красивая, улыбнулась всем, а на меня посмотрела как на растёртую по оконному стеклу муху — высокомерно и даже безглаголиво.

* * *

Так вот, зачем я рассказал о каком-то там празднике Восьмое марта? Просто я хочу вас предупредить, что прежде, чем совершить подвиг, надо подумать, а нужен ли он окружающим? В общем, нужно думать, всегда много и хорошо думать, особенно если рядом девчонка, в которую влюблён, и если действительно любишь лимонад.



Ромео

Есть у меня друг — Виктор Николаевич, возраста предпенсионного, практикующий хирург. Хороший хирург.

Как-то я его спросил:

— Вить, скажи, жизнь у тебя удалась?

Вопрос, конечно, дурацкий, но потому мы и друзья, что слышим немного больше, нежели способны сказать.

— Саныч, — он всегда обращается ко мне, сокращая отчество, — я в трёх клиниках оперирую, света белого не вижу — разве это жизнь?

В тот памятный день я появился у него в больнице, уже и не помню по какому поводу, и застал его в ординаторской. Он сидел на диване, откинувшись на спинку, а руки его отдыхали на коленях. Грустно посмотрев на меня, он сказал:

— Саныч, проходи. Не ожидал тебя увидеть.

— Извини, я без звонка. А ты, похоже, прихворнул, доктор. Докторам болеть вредно, — я шутил, а сам пытался понять, отчего мой друг такой хмурый.

— Дежурство у меня было. Устал, — ответил он.

— Давай я тебя домой отвезу.

— Не могу. Тут у меня паренёк, не ровён час, померёт.

— Кто померёт?

— Да вчера привезли, вечером. Местный Ромео, из соседних домов. Девчонка его бросила, а он от горя под машину метнулся. Его метров на двадцать откинуло, всего переломало, голова — как холодец в руках. Делать мне было нечего, ночь впереди, смену

коротать надо. Вот и собирал его помаленьку. Глаз на место поставил — каким-то чудом нерв целый оказался, ключицу... Всё равно, думаю, в гробу по-человечески выглядеть нужно. Собрал его и вот жду, когда помрёт.

Я был уже знаком с этой чудной манерой своего друга разыгрывать из себя циника.

— А он, как назло, не помирает, — подыграл я.

— Нет, не помирает, — тяжело вздохнул Виктор Николаевич.

— А если дома подождёшь его смерти?

— Если уеду, сразу же помрёт. Я его всю ночь уговаривал потерпеть, не помирать до утра.

— Да, я знаю, ты мужик нудный, кого угодно уговорить можешь.

Прошло с того памятного дня месяца два-три, и опять пересеклись наши дорожки. Рукопожатия, дежурный разговор: как жизнь, как дети, как здоровье жены. Потом я вдруг вспомнил:

— Вить, а что с пареньком, которого ты по частям собирал? Ну того, что под машину из-за несчастной любви кинулся. Ты его ещё Ромео назвал. Как он?

— А, Ромео. На выписку готовится.

— Да ты что! — обрадовался я. — Ну ты мастер! Человечище!

— Нет, Саныч, я тут ни при чём, тут без Бога не обошлось.

— Ты что, в Бога веришь?

— Всегда верил. В церковь не хожу и не пойду, но что неведомая сила над нашими скальпелями и капельницами стоит, уж кто-кто, а я, поверь мне, знаю.

Наверное, на этом бы и закончилась эта история о Ромео, если бы не день моего рождения. Виктор Николаевич зашёл поздравить меня.

Мы сидели за столом, вели неспешный разговор, пили коньяк, молчали, опять говорили.

— Вить, — спросил я, — а что с Ромео? Случаем, не заходил к тебе? Ты же ему жизнь спас.

— Как же, заходил, вот этот коньяк, что мы пьём, он мне подарил. Пришёл с молодой беременной женой, весь из себя счастливый. Меня теперь дядей Витей зовёт. Если, сказал, сын родится, Виктором в мою честь назовут.

— Чудеса, — я поднял стопку. — За тебя, доктор!

— За нас, Саныч! — Виктор улыбнулся и подмигнул. — Мы всё-таки не последние люди на этом свете.

Совсем недавно я опять заглянул в клинику к своему другу. Он сидел бледный, грузный, понурый, а вокруг него суетились люди в белых халатах.

Приступ — понял я. Я знал, что Виктор страдает от ишемических приступов.

Он посмотрел на меня умными уставшими глазами и произнёс:

— Саныч, сейчас меня спасут, и мы с тобой поговорим.

— Как он? — спросил я знакомого врача, который готовил шприц.

— Всё под контролем, но вам лучше уйти.

Я вышел из ординаторской. На диванчике сидел молодой человек. Когда я проходил мимо, он спросил:

— Как там Виктор Николаевич?

— Говорят, что приступ не опасен, но ему нужен покой.

— Да, да, — закивал парень, и я вдруг увидел на его шее, за воротничком, ещё не обесцветившийся фиолетовый шрам.

— А я хотел его обрадовать, — парень засмутился и покраснел. — Но теперь, видимо, потом. У меня сын родился...



Щенок

Я ехал на дачу, без спешки, элегантно вычерчивая каждый поворот, наслаждался пьяным июньским ветром, с удовольствием, с душой планировал мелкие дела: поправлю замочек в баньке и перед ужином разомнусь с дровами, чтобы потом свежим, бодрым, исполненным собственного достоинства сесть к столу. И главное — закуски. Их никому не доверю. Тоненько-тоненько, кружочками нарежу солёненькие огурчики, постным маслицем окроплю, добавлю мёда, уксуса, лучок салатный и утомлю, утомлю всё это в соку до изнеможения. И грибочки — положу в тарелочку груздочек, три волнушечки и пару рыжиков, немного опят и лисичек и искупаю всё это в сметане. И — на стол.

— А не желаете ли, Николай Саныч?..

Но вот впереди, возле самого поворота к моей деревне остановился «Москвич», старенький такой, неуклюжий, синий «Москвич», открылась дверца, и из салона на обочину выкатился щенок с белым несуразным пятном на груди, точно Господь смеялся, когда всё это рисовал, и кисточка у него дрожала. Щенок быстренько присел по делам и бросился за кем-то в траву, запутался, кувыркнулся через голову, облаял кого-то в сердцах и понёсся дальше. Я аккуратно съехал на просёлок, притормозил, опасаясь, чтобы щенок по дури не выкатился под колёса, и вдруг заметил, что дверца у «Москвича» захлопнулась, и он отъехал, оставив только облачко выхлопных газов, точно воспоминание, которое тут же и рассеялось. Вот так!

А щенок даже не сразу заметил, что его бросили, не сразу он это понял, долго возился с каким-то сучком, потом только поднял голову и удивился, побежал к дороге, — хвост дрожит, виноватый такой хвост, дескать, «не со зла я заигрался, забегался, простите». А некому уже прощать-то, некому. Я остановился, нашёл в пакете кусок какой-то колбасы и поманил рыжего, а он даже не сразу отозвался, сидел и месил песок на обочине своим дурацким хвостом, но потом подошёл, поводил носом по штанам, чихнул от души и поглядел на меня с любопытством.

— А ты, ты поешь, пацан, лучше поешь, ты не чихай, ты поешь, в таких делах закусить сразу — это первое дело, а потом уже чихай во всю вселенную, во все ноздри чихай, на всех чихай, — предложил я.

И главное, я сразу стал извиняться, всё пытался объяснить ему, дескать, мужик-то я нормальный, но с проблемами:

— Ты понимаешь, понимаешь, — говорил я, — я бы взял тебя, но у меня уже есть собака, вот ведь что, догиня у меня, лошадь такая здоровая, и ещё тёща. Понимаешь?

А рыжий посмотрел на меня вдруг и с удивлением, да вроде того: «Ты о чём, старина? Забудь, я же не просил». Прикопал колбаску и ушёл к дороге, уселся возле своего столба и замер. Я вернулся к машине, с капризами запустил двигатель и поплёлся по просёлку, точно провинившийся школьник, вылизывая каждую ямку, каждую пупочку, и я всё время оглядывался, и извинялся перед рыжим: «Ну не могу я тебя взять, ну не-мо-гу, у меня догиня, до-ги-ня, жена, дети, кого только нет». — Я от досады бил ладонью

по рулю: «Даже тёща есть, — что там догиня. Представляешь, у меня даже хомячок есть, у меня есть хомячок, спроси у кого-нибудь — на хрена этот хомячок нужен, но он есть и его как бы любят, ты понимаешь это или нет?» И постепенно мне стало казаться, что он меня понял, он давно понял меня. Давно.

А вот дома я не стал ничего объяснять — нечего мне было уже объяснять. Женщины и так всё увидели: дочка поцеловала меня, жена поставила ужин, и они исчезли, они знали, что сейчас мешаться не нужно, не знали почему, но знали, что не нужно, — и всё. Мы ру-у-ские, мы правосла-а-вные, самый трепетный народ в околотке, ушлый такой, но очень трепетный, барахло всё, тряпье и досада. Я всё не понимал, ну что ж меня так завело-то, что так бесит? То ли то, что там щенок один и ждёт? Или то, что я такой же, как все, и всего дождался? И главное, сам себя успокаиваю: «Ну что там, щенок, стариков бросают, младенцев». Да, я такое успокоительное нашёл, такое вот успокоительное принимаю и даже не смеюсь. Но ведь сам же, сам же ведь недавно с ментом разговаривал, на днях. Пил пиво в тенёчке, с газеткой, пристойно, с душой. Подошёл сержант:

— Извините, — говорит.

— Ну, пожалуйста, — отвечаю, — я в газетку пиво завернул. Можно меня оставить с пивом и с покоем?

А он замялся, он застеснялся.

— Я ж не об этом говорю, хотел спросить, где пиво покупали.

Я показал, он взял два пива и вернулся, ножичек попросил, чтобы крышечку сбросить. А я смотрю, что руки-то у мужика трясутся. Здоровый такой сержант,

грузный, лет сорока. Он сам как бронезилет, и тряcётся.

— Дежурил ночью, — говорит, — остановился возле помойки, чтобы нужду справить, а там прямо в коробке, в объедках, ребёнок. Я чуть не помочился на него, представляете? То есть они вернулись из роддома, отметили, сложили всё вместе с бутылками в коробку и вынесли. И одеяльце — тонюсенькое, больничное. Вы что-нибудь понимаете?

И вдруг у него мобильный звонит, и он улыбается, жена, говорит, разрешила взять, — раз я нашёл, значит, мне тащить положено. Правильно?

Конечно, правильно, конечно, правильно, но только где же эта грань-то, где же она, за которой уже неправильно? Ведь с кого-то же она начинается? С кого-то же начинается этот рубеж: с жучка, с хомячка, с котёнка? Где-то же есть эта линия, за которой уже всё равно, всё равно и всё неправильно? Должен же там стоять какой-нибудь знак?

Утром я, как мальчишка, украл еды из холодильника, спрятал в портфель и уехал на работу, а рыжий уже проснулся, он уже сидел на своём посту возле своего пограничного столба и смотрел на дорогу. Я подозвал его:

— Ну что, бабанька, не одумался ещё, не остыл? А я вот тебе подстилочку подтибрил, полежи вот, погрейся.

Рыжий посмотрел на коврик без восторга, мотнул башкой, взял курочку и пошёл к своему столбу, точно честный солдат, равнодушный к пропаганде супротивника.

— Ну, извини, извини, чем могу, — я даже обиделся, — давай, давай, давай, чеши, чеши. Ты же —

Рыжая Пенелопа! Ты же пижон! — Я сел в машину и уехал.

А вечером я вновь обнаружил его возле того же занюханного столба с этим знаком. Он сидел совершенно недвижно, и только уши что-то чутко ловили в воздухе, а когда вдруг появлялась синяя машина, он подпрыгивал на всех лапах, катался по песку и визжал от восторга, машина исчезала, и он снова замирал, без отчаяния, без воя, просто замирал и продолжал слушать неведомую мне даль.

— Слышь, Рыжан, — я взял его за холку, — ты бы уже как-то успокоился, а? Ты уже всех достал здесь, сосредоточься как-нибудь, прикинь хвост к носу, никто уже за тобой не приедет, ты в это врубаешься или нет? Ни на синей машине, ни на белой, и даже с алыми парусами за тобой никто не приплывёт. Беги в деревню, в деревню беги: там таких, как ты, — банда, мафия. Погавкаешь годик у магазинов, потом забуреешь, будешь лежать на солнышке — дань собирать.

Мне понравился мой план, я даже дверцу открыл:

— Ну, хочешь, подвезу? Ну, поехали! — Рыжий перестал трепать колбасу и, взглянув на меня, развернулся таким козырем, ну вроде бунтующего кошака, и пошёл к дороге.

— Ну всё, всё, всё, придурок, сдаюсь, — не выдержал я, — поехали, я усыновляю тебя. Пёс с ней, с этой догинеёй, будут два придурка — ты, догиня и хомячок — по кредитной линии.

Я взял его на руки и попытался посадить в машину, он даже зарычал, он зарычал, он вырвался, пустился бегом к своему столбу и замер. Ну «щ-щенок»!

А дома меня всё-таки «прищучили», вспомнили и пропавшую курочку из холодильника, и моё невнятное настроение, вспомнили, и прищучили, и устроили перекрёстный допрос с пристрастием. Пришлось во всём сознаться. Дочка обрадовалась:

— Папочка, так давай возьмём его, он будет играть с нашей Багирой, она будет за ним ухаживать, мыть его, жалеть. Поехали, поехали, прямо сейчас поехали. — Она даже курточку успела накинуть.

— Никуда мы не поедem, щенок будет сидеть, где сидел, вот пока... пока... и всё, — решил я.

— Ну правда, Коля, съезди, забери щенка, ну что ты упёрся-то? — поддержала дочку жена.

— Не я упёрся-то, не я упёрся-то, это он упёрся, вот в чём дело-то, это он сидит возле своего столба второй день и ни гугу, я ему и «пожалуйста», и «здрaсте», и курочку, и машину, и эскорт, — а он рычит, и всё. Ну вот это понимаешь или нет, вот ты это хотя бы как-то понимаешь или нет?

— Конечно, понимаю, Коленька, ну что ж здесь непонятного, — она погладила меня по голове, — я ж возле тебя, как возле того столба, тридцать лет просидела и ничего, а тут два дня, два дня — это не срок, это даже не пятнадцать суток.

— Да, папочка, — вдруг выпрыгнула дочка, — вот вы все такие — мужики, сделаете что-нибудь нехорошее, а потом мучайся с вами.

— Ну вот ты-то! Ну вот ты-то, что встречаешь? — возмутился я. — Ну, может, там баба была, в этом «Москвиче», ну, может, это баба щенка выбросила? Ну при чём тут мужики?

— Женщина бы не выбросила, — решила жена. — Утопила бы, усыпила бы, что угодно, но не бросила бы.

— Ну всё, договорились, я ушёл.

Наверное, неделю я возил рыжему завтраки, потом покупал что-нибудь в городе вечером и возвращался домой. Он с благодарностью вытирал свой мокрый сытый нос о мои ладони, но в машину не садился, не повезло мне с машиной — она у меня чёрная, а не синяя. И вдруг однажды я не нашёл щенка на дороге, не было его, я пробежался по обочине, по полю, свистел — никого. Ну убили же собаку, а? Задавили же собаку, вот ведь что! Почему-то только мрачные мысли приходили мне в голову, а я всё метался, бегал по обочинам и пытался найти раздавленный трупик, пока не увидел на столбе объявление. Подошёл и прочитал.

«Найден щенок, совсем ещё юный мальчик, брошенец или потеряшка, рыжей масти, но со светлым пятном на груди и очень добрый и отзывчивый. Люди, помогите, — ему не прожить на этом свете с таким характером, он всё время верит, надеется и ждёт. Анна». И номер мобильного телефона.

А рыжего этого я нашёл в тот же день в палисаднике нашей недалёкой соседки и вспомнил: её действительно звали Анна, и, по информации моей тёщи, от неё уже месяц назад ушёл муж — смешной такой парень, он каждые выходные игрался в огороде с вертолётками на радиоуправлении — огурцы опылял. Я даже как-то раз подслушал женские инвективы в его адрес, — это Анна жаловалась моей теще: дескать, как нехорошо, что мужик с вертолётками по огороду носится, да ещё перед глазами честного народа.

Я, говорит, понимаю рыбалку, даже пиво с футболом — у мужика что-нибудь должно быть для дури, но вертолётки — это как-то неудобно. А тёща её успокаивала, ну вроде того, что пёс с ним, хозяйство в порядке, пусть играет, лишь бы в лес не бегал, а чем эта рыбалка заканчивается — это тоже не хобби.

— Ну это же обидно, Мария Андреевна, это же обидно, когда вертолётки предпочитают тебе и всему остальному, — это же трагедия, — жаловалась Анна.

— Трагедия, детонька, это когда он тебе скажет, что у него, кроме тебя, ничего и никого нет, — вот это уже полная пьеса.

А Рыжик узнал меня, оставил в покое свою косточку и подошёл поздороваться, а потом на крыльцо вышла Анна, и он со всем усердием бросился к ней. Она села на ступеньку, он устроился у неё под рукой, и они вдруг замерли, вглядываясь в просёлочную дорогу и ещё куда-то в даль, самую что ни на есть даль.

А я вернулся к машине. Вот только откуда же такая досада-то, а? Конечно, предательство, это маленькая такая блажь, маленький, маленький такой каприз с большими последствиями. Ну хорошо же всё кончилось. Все нашли друг друга. Откуда же досада-то? И самое главное, вот чем же она взяла-то его, эта Анна? Что же такое она ему сказала, что он пошёл с ней? Вот ведь где заноза-то, а! Вот заноза-то!

Источник

Люблю тяжёлую и просторную «Волгу», и чтобы рядом сидела жена, и чтобы дурманило бензином и качало, как на финской волне. Ира всегда внимательно следит за дорогой, назидательно указывает на возможные опасности, изредка забывает об обязанностях ментора, опускает солнцезащитный козырёк, в котором есть маленькое зеркальце, и, чуть разомкнув губы, поправляет причёску. Люблю летнее утро, в котором не содержится ещё признаков зноя и душной людской суеты. Люблю чувствовать в себе бодрость и силу и обольщать жену сосредоточенным спокойствием.

Шесть часов утра. Дороги свободны от подслеповатых пешеходов и прозорливых гаишников. Можно покачать закосневшую педаль газа и познакомить неуклюжую машину с её собственными возможностями.

— Куда разогнался? Я хочу ехать без напряжения. Имею я право отдохнуть или нет?

Я ждал этого вопроса и потому сбросил скорость. Ира действительно имела полное право на отдых, на покой, на что угодно, но, при всём нашем всемерном старании в сторону обеспечения этого неприхотливого женского права, создать условия для его действительного присутствия нам никак не удавалось: облегчить ей жизнь, уберечь от потрясений, переживаний и всяких непредвиденностей. На её голову, и обязательно при отсутствии моих мужественных плеч, падали все возможные беды и несчастья: роды нашей собаки, её собственные роды и даже роды

наших соседей сверху, которые в суматохе забыли закрыть кран с горячей водичкой; даже роды жены нашего электрика — и те прищлись кстати и ровно на мою командировку, и моя семья провела при свечах три незабываемых вечера. Такова метафизика моего дома — всё непредвиденное и внезапное в нём случается без моего согласия и охранный глаза, но только чьими-то упрямыми усилиями.

В тот день мы путешествовали в сторону Ложка, так называется местечко за Искитимом. В этом отдалённом и неприютном местечке когда-то располагался лагерь для политзаключённых. А теперь о нём знают благодаря целительному источнику, пробившемуся, как говорят люди, недалеко от того места, где расстреляли священника.

Указатель с надписью «Ложок» я нашёл довольно скоро, однако задумался, точно витязь на распутье, разглядывая паутинку из просёлочных дорог, прихотливо разбегавшихся в разные стороны. Я решил попылить по самой накатанной и натруженной колее. И не прогадал.

Мы прорвались через берёзовые колки по тряской скалистой дороге, и вот перед нами широкий простор: огромный зелёно-цветочный луг; за ним, прицепившись тонким ручейком, будто ниточкой за воздушный шар, большое бело-зеркальное озеро, а прямо перед глазами домик-часовенка с деревянным крестом на крыше.

— А где же родник? — спрашивает жена.

— Теперь уже найдём, — бодро отвечаю я, останавливаю машину недалеко от часовенки, выхожу размять затёкшие ноги.

Пока я выходил из машины, Ира, прикрыв голову пепельным шарфиком, уже встала против простенькой бумажной иконки Иисуса Христа и перекрестилась.

Мы стали спускаться вниз, к глубине лога; высокая, не успевшая выгореть трава и цветы оросили потемневшие штанины до колен, я сорвал несколько ромашек, уложил плотным букетиком и повернулся к жене.

— Неужели ты вспомнил, что у тебя есть жена? — растрогалась довольная вниманием Ира. — А я уже начала подозревать, что ты про меня вообще забыл.

Она протянула руку за букетиком. Подражая небезызвестным рыцарям-паломникам, я опустил на колено и, склонив упрямую голову, преподнёс своей даме букетик, норовя украдкой обхватить её стройные ноги.

— Ну началось, ты не можешь не кривляться!

— О Господи, — воздев руки, взмолился я, — накажи эту женщину участью жить со мною до конца третьего тысячелетия!

— Боже, — засмеялась Ира, — упаси меня от этого наказания. — Но вдруг сделалась серьёзной. — Хватит болтать, не отдыхать приехали, а к Святому источнику.

Мы нашли родник, устроенный какими-то умельцами так, чтобы удобно было набрать катящуюся по желобку святую воду в пластиковую канистру. Около родника стол и две лавки по бокам, но мы пошли вниз по ручью — были наслышаны о купальне, где можно окунуться в святые воды источника.

Мы шли медленно, выбирая дорогу, радовались, что одни, что утро свежее, говорили о расстрелянном священнике.

— А где он похоронен? Давай найдём его могилу и положим цветы. — Ира с надеждой посмотрела на меня.

— Не думаю, что найдём могилу, но, может, часо-венка и стоит на могиле священника?

— Да, наверное. Мы цветы у часо-венки поставим, я банку с собой взяла, чтобы воду черпать, в неё цветы и поставим.

После этих слов Ира затихла и задумчиво произнесла:

— Отчего люди такие жестокие, друг дружку убивают? Какая пустота в душах, темень непроходимая.

А меня удивило не это, хотя всё, что сказала Ирина, верно; меня удивило другое: за убийство — не наказание жестоким людям, а Святой источник на исцеление. Иногда меня приводит в ужас многотерпение Бога, сколько же зла совершено человеком.

— Знаешь, — продолжала Ира, — мне иногда представляется наш Бог в виде солнца, он дарит нам любовь-свет, а мы, люди, — это зеркальца-души. Если душа чистая, то она отражает Божественную любовь, и маленький лучик летит обратно на солнце, и это радует Бога, а наша планета похожа на шарик с миллионами светящихся огоньков. Но если человек грешит, то его зеркальце-душа начинает отворачиваться от Бога, и свет его души улетает в пустоту, а у самых отъявленных грешников, которые отвернулись от Бога, в них отражается только тьма. Когда человек умирает, его чистая душа по лучику, как по ниточке, улетает к Богу, а душа злого человека остаётся без любви.

Я представил себе Бога в виде солнца и земной шар, светящийся калейдоскопом чистых душ, и мне стало хорошо и уютно.

Купальня была оборудована неожиданно добротно, а тропинка вымощена плитами. И даже сами вязкие берега укрыты опрятными камушками.

— Нужно помолиться и трижды окунуться в воду, — назидательно сказала жена.

Мы трижды окунулись в ледяные воды Святого источника, клацая зубами, с трудом произнесли «Отче наш» и выскочили на берег.

Тела наши стали розовыми и лёгкими. Я натянул рубаху и штаны, обуваться не стал. Чтобы согреться, мы побежали наверх по тропинке, остановились на косогоре, отдышались. Потом мы медленно побрели к часовенке.

— Как хорошо, что мы сюда приехали, — радовалась жена и срывала цветы.

Я шёл рядом, помогал ей в нехитром деле, тоже выискивал крупные ромашки, укладывал в букет и чувствовал себя удивительно молодым и счастливым.

— Нам нужно приехать сюда с детьми, но не как теперь, а на весь день, и обязательно искупаться в источнике.

— Хорошо, будем считать, что нынешняя поездка — это разведка боем.

— Этот источник, — вслух продолжила свои размышления Ира, — многих исцелил, и никто ещё ни разу от купания в нём не простыл...

Мне нравилось, что она осталась наивной девчонкой, верящей в сказки, волшебство и чудеса. Я обхватил жену, сильно прижал к себе и поцеловал.

— Мне больно, ты груб, у тебя только животные инстинкты...

Я не дал ей договорить:

— Я люблю тебя, я люблю детей, я люблю Бога, даровавшего мне мою жизнь, мою жену и моих детей. Я не знаю, за что я счастлив, но я счастлив, и пойдём, поставим этот букет, наш с тобой букет, к часовенке, помянем священника и поблагодарим Бога за моё незаслуженное счастье.

Ира посмотрела мне в глаза и сказала:

— Хорошо, но мы забыли налить воду. — И она протянула мне литровую стеклянную банку.

Я помчался обратно к ручью, вихрем летел обратно на косогор, желая удивить жену скоростью в исполнении поручения, но замер, удивлённый: Ира стояла около часовенки и плакала, горько плакала.

— Ира, что случилось? — Я огляделся кругом, пытаюсь увидеть обидчиков.

— Посмотри, что они наделали! — Ирина обвела меня вокруг часовни и показала на иконку Божьей Матери, простреленную мелкокалиберными пулями.

Ира поставила цветы у часовенки-домика, перекрестилась, поцеловала осквернённую икону и пошла к машине.

Я смотрел на лик расстрелянной Богородицы, на рваные дырочки, расставленные по образу со снайперской тщательностью.

«Что ж ты, парень, натворил? — думал я. — В кого стрелял? А попал в себя...»



ПАМЯТЬ
ВСТРЕЧ

The image features the Russian title "ПАМЯТЬ ВСТРЕЧ" (Memory of Meetings) in a bold, black, serif font. The text is centered and presented as if it were on a piece of paper that has been torn at the edges. The torn edges are irregular and jagged, with several small, detached fragments of paper floating around the main piece. The background is plain white, which makes the black text and the torn paper effect stand out prominently.

Маты моя

Почему и по какому поводу этот человек оказался в нашем доме, я не знаю, уж очень я мал был, годиков эдак пяти. Но не запомнить его я не мог. Когда он заходил в дверь, то невольно наклонял голову, на которой лежала выдавшая виды фуражка с тряпочным козырьком, из-под этой нахлобучки с неистовой силой и волей вырывались крупными кольцами чёрные волосы, и сам он был велик, особенно в плечах. Он стеснялся своего объёма и всё оглядывался по сторонам, чтобы не задеть или ненароком не зашибить кого.

Очевидно было, что мой отец, на ту пору милиционер на станции Болотная, сделал этому великану какую-то любезность, думаю, выгащил его из криминального события. Время было послевоенное, и уголовный элемент, расправивший плечи во время войны, гулял ещё на свободе. Папа всегда отличался способностью выручать и помогал людям. Однажды, когда мы жили уже в Новосибирске, он поздно вечером, со смены привёл девушку, и она жила у нас полгода. Оказывается, она училась в юридическом институте, а ночевала на вокзале. Потом отец добыл ей место в общежитии, и она съехала от нас. Однако всю жизнь, изредка, вдруг, будто ниоткуда, вновь возникала в нашей жизни «тётя Лида» — та самая девушка, которая после института дослужилась до высокой должности в Омской областной прокуратуре.

И мама наша не отличалась равнодушием. Работая дежурным по вокзалу на станции Болотная, однажды во время смены прибежала с какой-то

женщиной домой, надёргали из нашего стога сена в мешки и умчались опять на станцию. Вечером она рассказала папе, что помогла семье, которая переезжала на новое место и везла с собой корову в специальном вагоне. Сено кончилось, и вот женщина, когда случилась остановка в Болотной, подбежала к маме, и та, недолго думая, поделилась с нею запасами для нашей коровы Зорьки. Благо, мы жили совсем рядом с вокзалом на улице Линеиной, 3. Только имени этой женщины мама не спросила, время стоянки было ограничено.

Великан ночевал у нас и спал на полу на кухне, его пегая кепка, будто банная шайка, висела на вешалке, а под пальто и плащами стояли его огромные, будто вёдра, сапоги-кирзухи. Я даже пытался залезть в один обеими ногами, но не смог, однако подобных сапог в своей жизни я больше не видывал.

Утром нас провожали все: и мама, и папа, и даже соседские дети — мы со старшей сестрой Наташей уезжали на две недели в гости к Великану в деревню Большечёрное. Ехали на полуторке: сестра в кабине рядом с водителем, а я с Великаном стоял в кузове, крепко вцепившись в передний борт у кабины, и смотрел вперёд. Однажды я оглянулся, но пыль тут же напрочь забила глаза. Мы ехали долго, а мне было в радость, особенно когда берёзы наклонялись над дорогой и нужно было ловко уворачиваться от веток.

В Большечёрное въехали уже изрядно пыльными и уставшими, ползли по деревенской разбитой улице медленно. Великан успевал кланяться или махать рукой знакомым, но вот машина притормозила, преодолела жутко разбитую дамбу пруда, потом немного

натужно покряхтела, поднимаясь в горку, после чего Великан застучал по кабине. Машина пискнула тормозами и устало остановилась.

Мы с Наташей робели, а потому Великан пошёл вперёд, дёрнул калитку. К нему под ноги кинулась радостная собачонка, потом к нам, и вдруг откуда-то из-за угла раздался буквально визг, какой мы слышали от машинных тормозов:

— Зявився, чорт кудлатий! Де ти шлявся три дни? И коли повинен був повернутися?

Великан поманил нас к себе, мы подошли и увидели совсем молодую женщину, удивительно, по-детски стройную, в цветной длинной юбке, в белом переднике и белом, повязанном узелком на лбу платке.

— Маты моя! — всплеснула она руками и кинулась к нам. Она что-то закудаhtала, заговорила часто непонятными словами, периодически всплёскивала руками и голосила: «Маты моя!» И будто уже не было Великана, и для неё уже ничто не значило его шалопайство в сравнении с тем, что появились мы.

Мы скоро обвыклись в этом маленьком и удобном белёном домике, нас отмывали тут же во дворе в деревянном корыте, «Маты моя» мылила и тёрла наши податливые тела и всё говорила и говорила, какой-то скороговоркою, нисколько не понятной, но удивительно ласковой. Она будто пела песню, приговаривая: «Ой боженько, як жэ добрэ, що вы добрались. А сэрцэ зранку чуло, що будуть в хати добри людь». Она суетилась и всё повторяла, какие мы хорошие и как замечательно, что приехали к ней в гости. С этого дня Великан исчез. Нет, он, наверное, был и в доме, и во дворе, но память его не зафиксировала, всё пространство заняла Маты моя.

Жили они вдвоём, детей у них не было; в небольшой горнице с двумя окнами стоял стол, тут же рядом русская печь, в которой Маты моя пекла хлеба в специальных формах. Буханки пышными поджаристыми корочками возвышались над формами, долго потом настаивались в сторонке, и только вечером Маты моя не резала, а отламывала нам куски хлеба, и мы съедали его, запивая густым сладковатым коровьим молоком.

В хозяйстве молодой семьи значилась огромная свиноматка и десятка полтора маленьких поросят, которые ещё утром уходили со двора и бродили по деревне, наслаждаясь придорожной грязью, а то и вовсе уходили на весь день на деревенский пруд. А вот Боровок, круглый, как воздушный шарик, с проблеском чёрной щетины, всегда был во дворе, он-то и стал объектом моего пристального внимания. И я всё-таки уловил момент и вскочил на него верхом. Мои ноги намертво прилипли к его круглым бокам, а руки схватили уши Боровка и не знали большей цепкости, чем в тот момент. Боров завизжал, подражая всё тем же тормозам полуторки, и помчался вперёд. Он не вилял, не обходил препятствия, а скоро и тупо нёсся по прямой, пока не врезался в робкую изгородь, отделяющую хоздвор от огорода. Я остался лежать под обломками изгороди, а с огорода неслось уже два визга. Когда я поднялся, то увидел, как Маты моя гналась за Боровком, а тот, минуя тропинки, метался по грядам с зелёным урожаем.

Боровок скоро пришёл в себя, вспомнил дорогу и ринулся в пролом. Я отлетел в сторону, а Боровок забился в щель между амбаром и сараем. Не успел

я подняться, как оказался в заботливых руках Маты моя.

— Сынку! Як ты? — она ощупывала мою голову и руки. — Чы нэ пошкодыв тэбэ цэй дыккый кнур, тварынота клята?

Я со страху вмиг всё понял без перевода, отрицательно замотал головой и от пакостных чувств и понимания своей вины громко заревел.

— Напугал-таки, завтра же зарежу! Напугал! Ух ты! — погрозила она свинье. — Гад ты эдакий!

Весь остаток дня я был окутан заботой, Маты моя обнимала меня, гладила по голове и подарила конфетку. Впрочем, Наташе конфетка тоже досталась, но это не остановило её от предательства, и на следующий день она торжественно и прилюдно сообщила, что Боровка убивать не надо, что это Коля его оседлал, после чего свинья и сошла с ума. За обедом все сидели молча, и со мной никто не разговаривал. Но эта экзекуция длилась недолго. После обеда я пошёл в туалет и провалился в круглое отверстие: не так чтобы весь, только одной ногой, но черпнуть нечистот я всё-таки успел.

Отмывали меня всё в том же деревянном корыте, но на этот раз с применением пучка полыни. Маты моя окунала полынь в тёплую воду и тёрла посрамлённую ногу, а после унесла меня голого и спелёнутого в своём переднике в дом, сама вернулась драить мою обувь. Но как ни мыли меня, в доме воняло два дня, будто кто сдох в укромном уголке, пока хозяйка не прошла по комнатам с пучком горящей соломы.

Вечерами мы сидели на крылечке, примостившись под тёплый бочок Маты моя, а та пела нам

тонким и чистым голосом заунывные песни, глядя куда-то вдаль, за огород, в котором теснились яркие и пышные головки подсолнухов:

Вечорие. Здаля простяглися поля
До Чумацького шляху бездонного,
И зитхнула земля, як сповите маля,
Пригорнувшись до обрью сонного...

Потом укладывала нас спать и всё гладила то по спине, то по руке, то по моей коротко стриженной голове и тихо напевала скороговоркою нечто крайне нежное и оберегающее: «Ходыть сон биля викон, а дримота биля плота...»

И вот прощальный обед, за нами приехал отец. Мы сидели в светлой горнице, и Маты моя потчевала нас, суетясь между печью и столом, и всё говорила, какие «слухняни та хороши». На столе в коробочке теснилось два пузырька с солью и перцем, я ещё никогда не видел таких и решил посолить. Я не знал, что в крышечке есть специальные дырочки, открыл её, а закрутить не смог, видимо, резьбу забило солью, да так и поставил обратно, нахлобучив железную крышечку сверху. Наташа тоже решила воспользоваться услугой солонки, но она была постарше и уже знала про чудесные дырочки, короче, соль хлынула ей в тарелку.

— Маты моя, — всплеснула руками Маты моя, а отец нанёс мне позорную затрепину. Я заревел и выскочил на улицу. Меня настигла Маты моя, обняла, прижала к себе и что-то то ли заголосила, то ли завыла или запела, но так жалостливо и нежно, что я притих, замер в её объятиях и почувствовал такое

ответное желание, что вырвался из её рук и кинулся ей на шею.

— Всё, сынок, хватит прощаться, поехали, — отец шагнул к калитке.

Я ещё сильнее прижался к Маты моя.

— Ну, ты что? Не поедешь домой? — в шутку спросил отец.

И я отрицательно замотал головой и ещё сильнее прижался к милой женщине.

Я не помню её имени, мал был, но я запомнил на всю жизнь, что на украинском языке могут говорить только добрые мамы России.



Гость Чёрного дома

На нашей улице стоял старый одноэтажный дом с окнами, вытянутыми кверху, словно монастырские бойницы. Время и дожди отчеканили его мощные брёвна, и он казался чёрным, даже на солнце. Яблони, сирени, беззастенчиво разросшиеся в палисаднике, совершенно скрыли его от посторонних глаз и сделали недоступным и таинственным.

В доме жила старуха с большим крючковатым носом и недвижимым взглядом. Она редко появлялась и всегда носила только чёрное: длинную юбку, застиранную до седины, чёрную кофту и тяжёлую шаль с кистями. Шаль была такой большой, что нам казалось, будто старуха накинула на голову чёрную простыню и вышла нас пугать. При её появлении мы, пацаны, разбегались врассыпную, потому что меж нами сложилось поверье, будто она ведьма и может заколдовать любого, кому только посмотрит в глаза. Она нам казалась очень страшной.

Рассказывали, что она с мужем появилась у нас в самом начале войны, их вывезли из Ленинграда. Они купили этот дом и прослыли очень богатыми. Но муж вскоре умер, а старуха осталась жить одна и в стороне от всех. Мы, уличные мальчишки, придумали, а после свято поверили, что она стережёт клад.

Да и сам Чёрный дом жил загадочной для нас жизнью. Мы не видели, когда привозили туда дрова или уголь, когда и кто прибирался в палисаднике или красил наличники на окнах. Но зимой из Чёрного дома валил сытный угольный дым, летом палисадник

был выполот, а наличники торжественно поблёскивали на солнце, не в пример нашим — забелённым извостью.

А у нас в доме жили открыто, тесно и шумно, что называется с распахнутой калиткой. В семье нас было четверо детей — я и три старшие сестрёнки. Ещё дед с бабушкой — мамкины родители. У нас всегда было шумно, весело и все всегда чем-то были заняты.

И всякое существенное движение по хозяйству — заготовка дров или сена — у нас превращалось во всенародный сход. Праздник! Всё шумело, двигалось — порознь и слаженно. Мужики ломали колуном упрямые чурки. Мальчишки складывали дрова в поленницу. Предлагали друг другу подышать самыми ароматными из них, пахнувшими пряным муравьиным спиртом. Кто-то катал уголь в тачке, чьи колёса выписывали такие кренделя, что и самому запойному пьянице никогда не повторить. Девчонки помогали складывать посередь огорода стожок изпряного и ещё нежного сена, тёрли платочками и без того красные щёчки, подражая взрослым бабам, загадочно улыбались.

А мама с бабушкой что-то готовили, варили, крошили, раскладывали по тарелкам. Запахи солений и корешков носились по двору и дразнили голодные желудки. Потом застолье и песни. А как старики пели! Слаженно, на разные голоса. Мой дед, бывало, подхватит низким голосом, да вдруг расплачется. А когда я его спрашивал: «Почему, деда, плачешь?» — он улыбался и говорил, что соринка в глаз попала.

К нам ходили соседи. Мы — к соседям. Короче, суета, жизнь кипела. Потом мама решила рожать. И шуму стало ещё больше.

Дед подначивал:

— Давай, доченька, давай, только мужика нам, чтоб Миколке под руку, а то одни бабы на дворе, никакого с них толку.

— С вас толк большой, за стол да на горшок, — возражала бабушка, а к маме обращалась ласково: — Доченька, ну куда тебе их столько, солить, что ли? Так ведь погреба не хватит. Ты пойми, через год-два я тебе уже не помощница.

— Дети — на старость, — отвечала мама. — Эти скоро вырастут, девки — по мужьям, а этот, — она кивала на меня, — хвост пистолетом и поминай как звали. А за себя не волнуйся, вон у меня какие помощницы подрастают!

Главное, потом все собрались в уголке, возле комода — мама, бабушка, сестрёнки — и давай тряпочки, пелёнки, распашонки перебирать. Смеются. Жалуются. Клянутся не бросать друг друга, помогать. И плачут — одно слово, бабы. Бабы — да и только.

И вышли они из этого угла уже клином — сплочённой такой армией. И давай каждому рассказывать, что кому надлежит делать. И уж тут всех расписали — кому строгать, кому светить, кому окурки подбирать. А отец как-то умел выкрутиться. Пригладить этот бабий пыл. Подойдёт к маме, приобнимет её и скажет:

— Люблю я тебя.

— Чего?! — ещё с пылу-жару несёт маму.

— Красивая ты, — подмигнёт отец.

— А, — махнёт рукой вдруг подобревшая мама, — у тебя всё одно в голове. Кто про что, а вшивый всё про баню!

Но довольная. Пусть с боем, но свой комплимент получала.

...И всё-таки я полез в этот Чёрный дом. Пробрался по крыше соседского сарая. Сверху оглядел двор — никого. Но дорожки выметены, травка ровная, даже крапива под забором не растёт. Спрыгнул с двухметровой высоты, повалился на землю, а когда поднялся, то увидел перед собою страшную старуху.

— Здравствуйте, — растерянно сказал я.

Она вдруг протянула мне руку. Я зажмурился, подозревая, что сейчас она треснет меня по голове или, того страшнее, посмотрит в глаза.

— Прощу вас. Как я понимаю, вы в гости пришли? Пойдёмте же пить чай, — сказала она и провела меня в дом.

Возле окна стоял стол. Сытно пощёлкивал самовар. И пар поднимался над початой чашкой с чаем. За окном я рассмотрел соседский сарай и понял, что старуха видела, как я пробирался во двор.

В комнате было темно, но очень чисто, так чисто, что казалось, будто здесь никто не живёт. Старуха предложила мне тяжёлый стул с резными ножками и прямой спинкой, украшенной шишечками и укрытой ажурной салфеткой с вышитыми вензелями. Поставила передо мной массивную фарфоровую чашку с позолоченной ручкой, шоколадные конфеты в корзиночке, сплётенной из тончайших фарфоровых нитей, колотый сахар в просторной вазочке, устроила рядом щипчики и какой-то диковинный пинцет, изготовленный из серебра и украшенный гербами. А у нас таких вазочек и в помине не было — всё больше железные и алюминиевые тарелки, а чай мы пили из гранёных стаканов. А тут — чашка с блюдечком и пинцет.

— Угощайтесь, прошу вас, — предложила старуха, посмотрела на меня чёрными глазами и... погладила по голове. — Чай цейлонский, жуковского развеса, шоколад от Эйфеля. Это замечательная фабрика, поверьте мне. Попробуйте вот эти — с халвой. Халву там готовят просто вдохновенно.

Старуха молча пила чай и пристально разглядывала меня, а я ложечкой гонял по блюдцу кусочек сахара и всё оглядывался по сторонам. На окнах от самого потолка висели тяжёлые бордовые шторы, точно платья с поясками или занавесы в Доме культуры. Мне казалось, что сейчас из-за шторы, прямо по подоконнику, выйдет конференсье и торжественно объявит следующий номер концертной программы.

А у нас были только простые занавески с вышивкой. Вечерами бабушка, мама и сёстры садились на кухне за рукоделье и пели песни, как на репетиции. Бабушка вязала, мама строчила на старой швейной машинке, а сёстры вышивали на пяльцах. А я сидел на полатях и смотрел, как крестики превращались в цветочки на белой материи. Мне нравился шум швейной машинки, тепло печки и котёнка, который засыпал под моим боком и непрестанно мурзил, мурзил, мурзил, сладостно отзываясь всем своим тельцем. Но больше всего мне нравились песни. Начинала бабушка, сёстры подхватывали, а потом вступала мама — и получалось очень красиво. Я тоже пытался подпевать, но сёстры всегда просили меня заткнуться.

Чай был горячим, и я пил его с ложечки. Получалось чудно и шумно. Старуха всякий раз, когда я втягивал его, морщилась и кривила тонкие бескровные губы.

— Как вас зовут? — спросила она.

— Коля, — тихо ответил я.

— Вы вор, Николай?

— Нет, — удивился я.

Потом мы надолго замолчали, и мне показалось, что наступила моя очередь вести разговор, и я спросил:

— А вы живёте одна?

— Да, я одинокая женщина.

— А где ваши дети?

— У меня нет детей.

— Умерли?

Она не ответила.

— А это кто на картинке? — я указал на портрет в рамочке. На стене висело много фотографий, но только на этой была женщина в пышном белом платье.

— Это я.

— Ух ты! Красивая. А у вас и сёстры есть или, скажем, братья? — Я совсем осмелел и съел пятую конфету.

— Нет. Скажем, брата у меня нет, впрочем, о сёстрах можно сказать то же самое.

— А у меня три сестры, вреднючие. Но больше я не люблю Верку. Она дрыгается по ночам.

— Вы вместе спите?

— Да, на одной кровати. Она развалится, как корова. Я два раза уже падал, а ей хоть бы что. Говорит, если я летаю по ночам, значит, расту! А вы кем работали?

— О, это достаточно подробная история, но, впрочем, извольте, пройдёмте в залу.

Она провела меня в большую комнату с кожаными креслами и роскошным диваном, в очертаниях замысловатой резьбы которого угадывались львиные морды и даже лапы с грозными когтями, настолько точно вырезанные, что их непременно хотелось потрогать и даже поскрести своим собственным ногтем.

— Взгляните, Николай, — предложила старуха, — это моё пианино. Мой инструмент. А это скрипка мужа. Вы когда-нибудь видели пианино?

— Да, — ответил я, — в Доме культуры. А вы сыграйте что-нибудь.

— Извольте, юноша. А что бы вы хотели?

И я, приосанившись под местного блатыку, лихо спел:

— На палубе матросы курили папиросы, а бедный Чарли Чаплин окурки подбирал... пара-па-па! Умеете?

— Едва ли, мой друг, но я постараюсь разучить к вашему следующему приходу. Вы же придёте ещё? — спросила старуха.

— Приду, — согласился я и, едва коснувшись струн на таинственной скрипке, вернулся к столу.

Вскоре мы распрощались.

А конфет с собой старуха не дала. Я потихоньку стянул две штуки. Но она вышла меня провожать, открыла тяжёлую калитку в воротах и спросила:

— Что у вас в руке?

Я разжал кулак с двумя подтаявшими шоколадными конфетами.

— А ведь вы уверяли, что не воруете.

— Но это же сестрёнкам, — возразил я.

— Идите, — сухо ответила старуха.

— Спасибо, баба Соня. Спасибо. До свидания, — попрощался я.

Она вдруг посмотрела на меня насмешливо и удивлённо.

Я пожал плечами, не понимая, что сказал не так. И ушёл, опозоренный, но с гостинцами.

С этого случая и началась наша странная дружба с ней. Иногда, заметив меня на улице, она выходила и низким хриплым голосом звала:

— Николай!

Она звала меня, как взрослого, — Николай.

Я бежал к ней, она приглашала меня в дом, усаживала за стол, наливала чай и ставила передо мною пирог или ещё какую-нибудь вкуснятину. И мы разговаривали. Она, оказывается, была знаменитой пианисткой.

Я ел много, потому что старуха с собою не разрешала ничего брать. Одно мне было непривычно — когда она вдруг гладила меня по голове. Я всякий раз втягивал голову.

Так я перестал бояться Чёрного дома, и мои друзья, которые сначала по привычке прятались от старухи, теперь без страха, но с любопытством разглядывали её. А когда я шёл в гости к старухе, друзья просили:

— Сопри конфет.

— Как я сопру, если она меня проверяет? Ты, говорит, здесь ешь сколько хочешь, но не воруй.

Друзья обижались на меня. А дома удивлялись, но ходить к старухе не запрещали. Бабушка даже, напротив, говорила:

— Сходи, внучек, развесели старушку. Скучно ей одной, без внуков. Это у нас тут одно веселье, покою нет, а у неё тоска.

А отец как-то сказал, ты, мол, гость Чёрного дома. Все рассмеялись, а мне отчего-то сделалось жалко старуху — чёрную, худую и одинокую. И на праздник я подарил ей свой рисунок — рогатую корову с чёрными пятнышками. У меня только вымя нарисовалось ниже копыт, и потому казалось, что моя корова тащит его по траве.

Но старухе очень понравился мой рисунок, и она прикрепила его на стене возле фотографии женщины в белом пышном платье.

Вскоре старуха умерла. Я обнаружил её мёртвой на кровати. Позвал отца. Он посадил нас, ребяташек, возле ворот и велел ждать, в дом не заходить, никого не впускать, а сам ушёл вызывать милицию.

Потом он принёс домой фотографию «женщины в белом платье» и сказал:

— Это тебе, сынок, на столе лежала, и записка, мол, Николаю. Значит, она знала, что помирает, и о тебе думала.

Я взял портрет в руки.

— Кто это? — спросил отец.

— Это баба Соня, она была знаменитой пианисткой.

— Надо же, — только и сказал отец.

А фотография куда-то делась. У нас было много переездов, да и мал я был совсем. Потерял я её. Ну потерял.

* * *

Я не знаю, отчего старуха осталась одна, почему у неё не было детей и почему одиночество поймало её своими тоскливыми руками. Я не знаю, почему она превратилась в чёрное страшилище, от которого шарахалась уличная детвора. Да это и неважно. Важно то, что я уже тогда понял: одиночество — это страшно. И благодарен своим родителям за то, что нас много. И уверен, что наши дети будут благодарны нам с женой за то, что нас снова и вопреки всему тоже много.

Отец потом бегал по всяким конторам, организовывал похороны и даже вместе с соседями устроил поминки. Я, как единственный друг старухи, сидел во главе стола. И все, когда предлагали помянуть её, смотрели на меня. А я смущался.

Я не знаю, что заставляло отца мотаться по конторам, оформлять бумаги и хоронить старуху. Были службы, которые хоронили одиноких людей на бюджетные средства, пусть бы и занимались. Но не такими были наши родители. Они посчитали, что не по совести без подобающих почестей провожать человека в последний путь, не помянуть при этом и не пожалеть.

Кабачок

Его раньше видели, но не замечали. Этот худой, неряшливо одетый и невпопад смеющийся человек сразу получил статус городского сумасшедшего, а вездесущие дворовые дети скоро прозвали его Мишка-кабачок. Не в уме, но безобидный. Он вечно был слегка нетрезв, но не качался, не орал маты, а пребывал во хмелю, был немного выпимши, даже как-то интеллигентно, по-философски мудро, будто юридивый, — скажет, а ты думай. Наподобие вот этой сентенции:

— Путь-то у нас долгий, а дороги нет...

В июле он вдруг появился с зелёным, слегка изогнутым кабачком. Он тыкал им в прохожих, будто шпагою:

— Вам не нужен кабачок? — И плёлся сзади, иногда забегал вперёд, получал неожиданную плату, а кабачок оставался у него в руках.

— Счастлив, кто отдал, — обещал он расконвоированному прохожему и шёл в магазин.

Дни текли знойной чередой, новые потенциальные покупатели шарахались от него, удивлялись неприхотливости предложения и спешили дальше.

Он затаскивал кабачок до непотребного вида, до глубоких царапин и выбоин, и тогда коммерческое предложение его звучало менее настойчиво:

— Купите кабачок! Дёшево.

И как убедительный аргумент произносил вслед прохожему:

— Старое надёжнее нового!

Он подходил ко всем без разбору, даже к детям в песочнице, и тогда в торг вступали мамыши и няни, отчего однажды кабачок настиг спину убегающего продавца.

— Злобу рождает жадность! — напутствовал он агрессоров с безопасного расстояния, вытирая поверженный овощ рукавом, потом походил по двору, оглядываясь на злобных мамаш, сосредоточенно и со вкусом покурил и с надеждою сунул окурочек в мягкую мусорную утробу контейнера.

Пожарные ворвались во двор под вой сирены, сломали дворовой шлагбаум и разбудили столетнюю парализованную старуху, которая от любопытства смогла-таки своим ходом добраться до подоконника. Но после того, как стальная струя воды, перевернув контейнеры, разметала мусор по всему двору, по балконам и карнизам, жители пожалели, что не справились с вонючим дымом своими силами. Ошалевшие от исполнительного рвения, пожарные наконец-то перестали терзать помойку, так же стремительно покинули двор, оставив после себя гнетущую тишину и чёрное облако выхлопных газов. Однако все понимали: заявлять на Мишку было бессмысленно — что взять с больного человека! И кабачки начали покупать!

Миша получал с нетерпеливого покупателя деньги и мчался в магазин. Но Миша хоть и слыл не в себе, но дураком не был. Из магазина он возвращался сосредоточенным и со знанием дела устремлялся к мусорным бачкам, находил свой уже не раз проданный кабачок и изрыгал:

— Не хлебом единым жив человек, — отпивал из маленькой бутылочки, которую звали

«мерзавчиком», хмельной жидкости и шёл домой. Миша-кабачок был неназойлив, его устраивала одна коммерческая сделка в день.

Но утром торг возобновлялся:

— Вам не нужен кабачок? Почти новый...

И, как резолюцию к грубому отказу, он высокоумно изрекал:

— Мещанство рушит империи!

Так текла умеренная жизнь городского двора, больше похожего на каменный колодец, в котором эхом отдавался каждый звук горя или радости, беспощадной ссоры или воркования голубей.

В тот день Миша-кабачок появился к обеду. В надсадном усилии он выволок большую жёлтую тыкву. Покатил огромный овощ по асфальту от подъезда, остановился посередь двора и тут же пристал к мимо проходившей женщине, потом к другой:

— Вам не нужен кабачок? Очень нужны деньги...

Люди привычно сторонились, а соседи с любопытством наблюдали из окон новый факт, который очевидно свидетельствовал, что кабачки у Мишки закончились. Дети обступили его, хихикали над Мишкой-дурачком, но только одна девочка заметила, что сегодня Мишка почему-то трезв. Миша вдруг поднял умоляющий взгляд к небу и сказал, не крикнул, а сказал, но так, что его слова проникли через толщу стен:

— Купите кабачок! У меня мама умерла!

Кажется, даже птицы перестали гомониться и ссориться в ветвях липких тополей, наступила, как грозовая туча, страшная тишина. Сердобольные жильцы жидким и прерывающимся ручейком потекли к Мишке, складывали деньги в его прозрачную

ладонь, выставленную ковшиком игрушечного экскаватора, а он стоял и улыбался, невпопад и не к месту оправдываясь:

— Мама отошла, болела, — и, как в благодарность, чуть кланялся. — Жизнь — это счастье, но не вечное. А добро вам Бог вернёт за меня и меня простит.

Тыкву уже утром свёз куда-то рачительный дворник, и Мишка-кабачок исчез, будто вместе с матерью увезли его на погост, но более Мишку никто и никогда не видел.

Потекла жизнь дальше, тихая и суровая, но с того дня всем чего-то стало не хватать.



Лотов

Познакомился я с ним, когда работал в охране... Лотов был необычен во всём. Он много ел (при этом громко чавкал), читал всякую свободную минутку и всё подряд — от пошлой порнухи до русских классиков двадцатого столетия. Если «в резерве» он засыпал первым, то храпел так, что больше никто не мог уснуть. Рассказывал бурно, образно, слов не искал, притом матерился через слово и никак не хотел понять, что при женщинах нельзя сквернословить. На работе ходил неопрятным. Но однажды я встретил его на улице в шикарном белом костюме и не мог признать: передо мною стоял интеллигентный человек.

И всё-таки рассказам его о воришках-несунах верилось с трудом. Все задержанные были начальники: или цехов, или, как в последнем рассказе, районной милиции, когда Виталий Петрович Лотов отобрал у несуна машину, табельное оружие, самого начальника положил мордой в грязь да ещё выстрелил в воздух, призывая ленивую охрану полюбоваться его подвигом.

Около года мы на полном серьёзе воспринимали лотовские байки и во время обходов не боялись никого и ничего. Но удивительное дело, всякий раз, когда заваривалась каша с жуликами, погоней, сопротивлением и мордобоем, Лотова с нами не оказывалось: он был или в резерве, или в отгуле. Так что убедиться в его бойцовских качествах нам так и не удалось.

Стыдно нам стало за свои подозрения после субботника, на котором Виталий Петрович часа четыре

махал тридцатикилограммовой кувалдой, забивая металлические столбы для изгороди. Его кудлатая голова, играющие мышцы под тёмным загаром, рычание и маты после каждого удара произвели на нас неизгладимое впечатление. Во время перекура мы пытались попользоваться его инструментом: я — не слабый человек — не смог нанести ни одного удара.

Однажды заходит Лотов с топором в караулку и говорит:

— Хватит дурака валять, пошли баксы зарабатывать.

— Какие баксы? — удивились мы.

— Зелёные, — резонно ответил он, — они у нас за пятым цехом растут.

— Лотов, объясни толком.

— Короче, — деловито начал Виталий Петрович, положив при этом топор на стол, — я знаю мужика, который за баксы капы покупает. А эти капы за пятым цехом растут.

Он тряхнул кудлатой головой и встал, посмотрел на нас. Увидел, что мы ничего не поняли.

— Короче, капы — это наросты на берёзах. Из них всякие украшения и фигурки делают, — шахматы, например. Есть мужик, он эти капы за баксы покупает. Поняли?

— Нет, — сразу отказался я, — у меня спина больная, я пас.

Лотов, с пеной у рта, убедительно размахивая топором, начал уговаривать мужиков пойти и срубить капы, пока кто другой, пошустрее, не додумался. И уговорил дебильного вида здоровяка Вову. Они ушли. Скоро мы услышали приглушённый стук топора.

Я процитировал:

— В лесу раздавался топор дровосека...

Все дружно заржали.

Когда Лотов завалил первый кап и они с Вовой попытались тащить его к караулке, чтобы никто не спёр ночью, Вова плюнул и отказался от затеи и обещанных баксов в пользу Лотова.

Освирепевший Лотов заставил Вову взвалить кап ему на спину и понёс его один. Я стоял на пороге караулки и курил, когда из-за угла появилась согнутая фигура Лотова. На его спине громоздилась обезображенная толстым наростом берёзовая лесина. Что-то хрюкало в лотовской груди, и я с ужасом вдруг увидел, что его ботинки продавливают утоптанную тропинку, будто свежую пашню.

Кап упал на газон около входа и на треть утонул в земле, а Лотов, молча, чуть покачиваясь, зашёл в караулку и лёг на кушетку в комнате отдыха. Вскоре у него начались острые боли в низу живота.

Утром после смены мы поехали к знакомому хирургу вырезать Лотову грыжу. Но и там не обошлось без инцидента.

Николаич — опытный хирург и добрейшей души человек — поместил Лотова «по блату» в отдельную палату.

Через день я позвонил, чтобы узнать о здоровье своего «протеже».

— Харáктерный мужик, — тут же сказал Николаич, — мы с трудом сделали ему простейшую операцию.

— Что случилось? — удивился я.

— Саньч, он под наркозом моей сестре-ассистентке в любви объяснялся, приглашал к себе в палату,

пел на операционном столе и рассказывал, какой он ласковый мужик. У нас от смеха руки тряслись, я думал — никогда не закончу эту операцию.

— Вот чёрт полосатый, — облегчённо выдохнул я.

— Да, — задумчиво сказал доктор, — характерный, знаешь ли: все под наркозом в основном матерятся, а этот... молодец.

Посмеялись мы над Лотовым и распрощались. Но через два дня вдруг звонит Николаич и кричит в трубку:

— Забирай своего грыжевика к чёртовой матери!

— Что случилось? — не на шутку обеспокоился я.

— Работать не даёт. Как петух, бегаёт за каждой юбкой, скоро весь мой курятник перетопчет. У одной больной из-за него шов разошёлся. Как он умудрился её уговорить — не пойму. Всё, забирай, дома долечим!

Пришлось нанимать машину и срочно вывозить разбушевавшегося Лотова. Через неделю доктор снял швы, специально приехав к больному домой.

К концу лета кап прочно обосновался около караулки и немо напоминал о Лотове. Весной же пенёк всем на удивление дал несколько ростков с хилыми, бледно-зелёными листочками. И пошла гулять шутка, мол, Лотова нет и «зелёненькие» собрать некому. А Лотов так и не вернулся после операции в охрану завода и канул где-то на многочисленных улочках миллионного города. Кап из земли вывернули во время плановой уборки территории, подцепили краном и увезли на городскую свалку.

Прошли годы. Я давно не охранник. Однажды встречаю Лотова. За минувшие пятнадцать лет он нисколько не изменился: строен, крепок, шея — как

ствол. Цепко заgrabастал мои, как мне показалось, слабые пальцы в рукопожатии.

Я обрадовался нашей нечаянной встрече.

— Где ты? — заинтересованно спросил я.

— В научно-исследовательском институте низковольтной аппаратуры.

— Кем? — опешил я.

— Ведущим специалистом.

Я аж поперхнулся: точно знаю, что у Виталия Петровича Лотова высшего образования нет, никогда он в институте не учился и даже не помышлял об этом. Учился, конечно, в школе, но, как зналось мне, с большим трудом и неохотой.

Он коротко рассказал, как руководит академиками, и похвастался, что стал автором двух изобретений. Повествовал он обо всём так же уверенно и убедительно, как и пятнадцать лет назад.

И я пошёл в названный им научно-исследовательский институт. Я не мог дальше спокойно жить, не поймав вруна на слове.

Я постучался в дверь к заместителю директора института, который, кстати, курировал кадры.

— Здравствуйте, я из редакции. У вас работает Виталий Петрович Лотов...

— А, — заулыбался заместитель директора, — есть такой, рыбовод-селекционер.

Я невольно выразил удивление, и замдиректора поспешил пояснить:

— Днями были на рыбалке, он нам уху варил. Отменная уха! Я долгую жизнь прожил, а такой ухи не едал. Знаток Виталий Петрович, глыба, челове-
чище!

— Кем он у вас работает? — беспомощно спросил я.

— Вахтёром. Но... я понял, почему вы им интересуетесь: он настоящий Кулибин. Наш, так сказать, самородок. Он соавтор двух уникальных изобретений...

Вышел я из института, и опять сомнения берут: а может, и правда, как поведал однажды Лотов, он работал в роддоме и ушёл потому, что там условия труда тяжёлые — бабы орут сильно, когда рожают, а зарплата маленькая?

Так и остался Лотов для меня загадкой.



Длинный день

Екатерина отстранила руку мужа, приподнялась на локте и приоткрыла уголок шторы — за окном темень, но выработанное годами ощущение времени подсказывало, что пора вставать. Она торопливо поискала тапочки на ледяном полу и, обувшись, пошла умываться. Длинный сосок с железной пуговкой на конце легко нырнул вглубь умывальника, но вода не пошла. Под крышкой было пусто. Повязав на ходу халат старым пояском и шлёпая тяжёлыми подошвами тапочек, она вернулась в спальню.

— Гриша, Гриш, за водой надо.

Григорий пробурчал что-то невнятное и отвернулся. Пахнуло перегаром. Екатерина поморщилась и вспомнила, что пришёл он вчера поздно и пьяный.

— А ну, вставай, развалился! Вода кончилась, дрыхнешь!

Григорий с трудом поднялся и, тяжело вздыхая, сел на кровати.

— Ты что, мать, шумишь?

— Воды, говорю, ни капли, детям скоро в школу. Иди давай!

— А во фляге? Вы что, её ведрами хлебаете?

— Ведрами... мужики растут, поди. — Она вышла из спальни, оставив вздыхающего Григория в тяжёлых полусонных раздумьях.

На кухне было теплее, чем в других комнатах дома. Она уже жалела, что размахнулась на такое строительство: отгрохали хоромы в три комнаты и гостиную — теперь в долгах как в шелках и без тепла.

Опять-таки окна в полстены... Где это видано, чтобы в Сибири такие окна делали? Она вспомнила, как уговаривала Григория поставить большие рамы, тот не хотел, говорил, денег нет, и тогда она продала последнюю свою роскошь — золотую цепочку, тем и покорила мужа. Теперь поняла, что зря настаивала. Как грянет под сорок — что тогда?

Она ощупала тёплую печь, похлопала её белый бок, будто корову перед дойкой, и начала чистить поддувало.

Когда печь, шумно втягивая лёгкий древесный дым, потрескивала смоляными поленьями, Екатерина любила смотреть на весёлые светляки, которые мельтешили в щелях железной дверцы. С новым домом, тёплой печкой, запахом сухих валенок проснулась память о детстве, о матери и об отце. Эти воспоминания приходили как-то вдруг, с запахом, звуком или другим ощущением. Порою ей начинало казаться, что — вот ещё мгновение — распахнётся дверь, и появится отец в задубевшем на морозе тулупе, и кухня наполнится запахом овчины и сена.

Вёдра гулко отозвались на прикосновение, колокольню загремели о дверные косяки и скрылись в сенцах.

— Тихо ты, детей разбудишь, ирод! — громко зашептала она вслед мужу.

Вокруг дома толпились всё больше деревянные пятистенки в нелепом окружении сарайчиков и полусгнивших надворий. Екатерина долго мечтала о благоустроенной квартире, уговаривала Григория встать на очередь. Жили в общежитии, потом в комнате на подселении. Очередь двигалась медленно,

но вот несколько лет назад это движение замерло вовсе, будто задумалось. За пять лет ни шагу вперёд, и, потеряв всякую надежду, решили строиться. Деньги к тому времени уже появились, как-никак вдвоём работали, да и мальчишки были уже в таком возрасте, когда нужно было задуматься об отдельной комнате. Купили завалюху с большим огородом, и два года, как один миг, — стройка, стройка и только стройка. Как ни рассчитывали, денег не хватило, и начались займы. Сначала тысяча, затем вторая, а строительству конца и края не видать. И то хорошо, что до наценки успели. Так и получилось — печаль радостью кончилась. Но и беда не прошла мимо, постучалась в новые ворота — Григорий начал попивать. И указ вышел, а что толку, он как назло, чем дальше — тем больше. Вот и вчера пришёл — языком не ворочал.

Растворилась дверь, и, окутанный морозным воздухом, вошёл Григорий. Он поставил полные вёдра на пол и начал растирать заиндевевшие усы и смахивать белый налёт инея с плешивого воротника старого полушубка.

— Мороз такой?

— Мороз — что надо! Колонка барахлить начала, опять промерзает. Будет теперь волынка.

— А я-то думаю, что это пол ледяной? Голова болит?

Григорий хмуро глянул на жену и ничего не ответил.

— Ну это ничего, это тебе на пользу, — вздохнула Екатерина и увидела себя в большом настенном зеркале.

Частые морщинки мелкой рябью разбрелись от уголков её больших серых глаз, две глубокие борозды надломленной кожи пролегли под подбородком, а на лбу даже в плохом освещении были видны следы, где кожа складывалась, когда она морщила лоб.

Екатерина глубоко вздохнула и провела рукой по крутому плечу и груди. Всё изменилось: лицо потемнело, плечи раздались, отчего грудь стала ниже. Она поправила халат на тугих ещё бёдрах и посмотрела на вспухшие вены у высокого взъёма стопы.

Настенные часы в большом и холодном зале гул-ко охнули раз, другой.

— Что, уже шесть?! — Екатерина крутанула похожую на колпачок от одеколонного пузырька ручку приёмника, в воздухе повисли последние звуки гимна. Она всплеснула руками, спихнула в сторону кругляши на плите и в раскрывшийся алчный зев высыпала ведро угля. Воющее печное чудище, кажется, подавилось углём и пфыркнуло сизым душным дымом.

— Гриш, снег идёт?

— Откуда снег в мороз-то? — Григорий жадно допил кружку ледяной воды и, утерев мокрые усы, вышел в комнату.

Екатерина принесла из сеней большую кастрюлю щей, открыла запотевшую в тепле крышку и заглянула внутрь. Жёлтый жир застыл ровным пятном по всей поверхности. В последние годы она приспособилась готовить на весь день с вечера, но всякий раз сетовала, что «мужики опять без свежего». Она любила угодить вкусным обедом, но времени, чтобы понастоящему заняться поварскими делами, не было. Ни свет ни заря — на завод, потом — магазин с часовой

очередью за тем, что «выкинули», а то и дольше приходилось простаивать, ничего не поделаешь — заводская окраина, другой раз и хлеба-то купить — проблема. Вся семья собиралась вместе часам к семи, уже потемну заходили в дом, доедали вчерашний суп, дети — за уроки, а она опять на кухню. Мужики только вдыхали свежий запах, щёлкали языками, хвалили предстоящий завтрак, а свеженького, по-настоящему вкусного не пробовали. Обидно. В выходные иное дело, если, конечно, суббота не рабочая, или, как её принято было называть, чёрная.

В воскресенье просто хотелось поваляться под одеялом, почему-то именно в этот день, когда появлялась возможность много и вкусно готовить. И она вставала, злилась, но баловала мужиков вкусными обедами. Теперь редкий выходной обходился без поллюбившихся всем ржаных лепёшек. Уже за завтраком старший, по-отцовски пристально глядя на мать, басил:

— Мам, а лепёшки?

А младший — Вовка — специально дразнил её.

— Фу, лепёшки, — тянул он, глядел, как реагирует на его слова мать, хватал кусок хлеба из большой круглой чашки и демонстративно с наслаждением начинал его есть. Она старалась не обращать на него внимания, прекрасно зная, что за неё сейчас вступится старший. И действительно, скоро слышался шлепок по голой Вовкиной шее.

— Ну чё ты?.. Дурак! — огрызался Вовка.

В этот момент входила она.

— Что это такое? Что за «дурак»? Кто сказал?

Старший молча продолжал есть, а младший опустил голову и бурчал что-то себе под нос.

— Ещё раз только услышу!.. — грозила она и уходила опять на кухню.

Григорий никогда не вмешивался в подобные разбирательства, он ел молча, медленно поднося ко рту ложку, чисто съедал с неё суп и мерно, не торопясь, долго жевал, задумчиво разглядывая цветную скатерть. И только когда мальчишки начинали беситься сверх всяких пределов, он поднимал на них хмурый, пристальный взгляд — и всё само собой затихало, и за столом возобновлялся порядок.

Может быть, именно этот пристальный, тяжёлый взгляд Григория и покорила когда-то её сердце? Любила она его глаза и задумчивость, и руки любила — большие, сильные, уверенные.

— Ты чего расселась? — Григорий поправил рукава серого, штопанного на локтях свитера. — Заболела?

Екатерина надсадно вздохнула, торопливо встала, сняла с плиты кастрюлю и поставила на стол, затем достала глубокую металлическую чашку и налила жирных щей. Она любила раздавать еду, ей казалось, что в этом есть что-то необычное, чудодейственное, доброе. И она всегда разливала по чашкам очень аккуратно, будто совершала какое-то волшебство.

— Буди, — помешивая горячие щи, сказал Григорий и вытащил поджаристую корку из кучи хлебных кусков.

— Вова! Гена! — громко позвала Екатерина, продолжая собирать на стол. — Дети! Вставайте, времени уже много!

Григорий всегда ел горбушки: когда-то, ещё очень давно, соседская бабка болтанула, что для рождения

мальчика мужику горбушки есть нужно, мол, примет такая народная. Вот и вошло у Григория в привычку есть горбушки. Он был уверен, что его мальчишки родились благодаря бабкиному совету.

Екатерина улыбнулась и погладила Григория по голове.

— Ты что, мать, сегодня? То казнишь, то милуешь.

Екатерина смутилась, отдернула руку и пошла будить сыновей. Старшему шёл пятнадцатый год, а младшему недавно исполнилось восемь. Большая разница, но что поделаешь, хотели раньше, да всё как-то не получалось, а когда и надеяться перестали, вдруг затяжелела — появился Вовка.

— Мальчишки! А ну, подъём! Ну, хоть бы кто пошевелился. Мне, что ли, за вас в школу прикажете идти?

— Мам, — пробасил старший, — сходи за меня.

— Хорошо, сынок, а ты за меня на завод.

— Ура!!!

— Тихо!

— И я хочу на завод! — подхватился младший.

— Тебя там как раз и не хватало. А ну, вставайте! Марш умываться!

Старший учился плохо, вырывал листы из дневника, но на занятия ходил исправно и не курил. А младший, напротив, учился хорошо, но в школе с ним сладу не было, мог посреди урока встать и уйти домой.

— Что случилось? — спрашивал тогда Григорий провинившегося сына, сидя на диване в длинных семейных трусах.

— Надоело! — дерзил Вовка.

— Учиться, дурак, надо, — отвечал отец и предупреждал: — Ещё раз уйдёшь, выпорю.

Вот и всё воспитание.

— Ты хоть бы штаны надевал, когда дитё воспитывать берёшься, — ворчала на него Екатерина. Но что толку ему говорить — уставится в телевизор, и хоть кол на голове теши, ничего не видит и не слышит.

Выходили за час до начала работы, завод не так чтобы далеко, но добираться крайне неудобно. В часы пересмены автобусы и троллейбусы, переполненные, пронеслись мимо, высаживая людей далеко впереди в рыхлые сугробы. Опытные и лёгкие на ногу пассажиры подстерегали автобус между остановками и, пока тот высаживал людей, настигали его и благополучно добирались до своих рабочих мест. Идти семь остановок пешком было не резон, после такой прогулки восьмичасовой рабочий день казался очередным испытанием на прочность. Хотя случались и такие прогулки. В дни сильных морозов, когда весь транспорт ломался ещё в гаражах, длинная цепочка рабочих уминала тротуары вдоль всей заводской улицы. И куда только ни писали, и в каких газетах эти письма ни печатались, но результат всегда был одинаков. Потому и выходила Екатерина загодя, спокойно садилась в полупустой ещё автобус и появлялась в цехе, когда там ещё никого не было. Ей даже по своему нравилось это время торжественной предрабочей тишины. Непривычно было видеть бездействующие станки, застывший конвейер, мёртвым казался великан из Германии с программным управлением, у которого во время работы весело перемигивались разноцветные лампочки пульта и моргал телеэкран;

всегда одинаково шутили, обращаясь к оператору: «Слышь, друг, а когда мульти-пульти показывать будут?» «Скоро», — отвечал хмурый Генка-оператор и опять углублялся в чтение старой и залапанной масляными руками газеты. Скучно было Генке: станок всё сам делал, только деталь смени, вот от скуки и корчил он умный вид, вроде как стоит на охране зарубежной техники. Потому, наверное, и зовут операторов, не очень вслух, конечно, — обезьянками. Мол, покажи обезьянке три кнопки — вот и ещё один оператор готов, причём работать такой оператор будет не за зарплату, а за банан.

У Екатерины было два полуавтомата. Она включала их, неторопливо проверяла, настраивала размер, прогоняла пробную деталь. Может, благодаря вот такому неторопливому началу и удавалось ей лидировать среди токарей.

На заводе она проработала без малого двадцать лет и почти семь из них — на этой линии, на этой вот «детальке», у которой-то и названия нормального не было — только номер. «УМ-14». Для чего она служила, в цехе не знали.

По конвейеру нескончаемой чередой плыли блестящие, ещё тёплые «детальки». Сколько же она успела сделать за семь лет?

Утром каждого рабочего дня к ней первой подходил мастер, раскрывал толстый синий блокнот и доставал из нагрудного кармана карандаш.

— Здравствуй, Катэрин, — здоровался он. — Как дела? Апбарудование не барахлыт?

Гарик был армянин, умевший быстро и непонятно говорить по-русски. Но рабочие научились его

понимать, поскольку все разговоры велись вокруг единственного предмета — детали «УМ-14». В цехе сложился своеобразный акцентный язык, в котором слова были русские, а произношение армянское.

Сегодняшний день не был исключением. Гарик подошёл и вынул из кармана блокнот.

— Здравствуй, Катэрин. Ест разговор.

— Если собираешься говорить о бригаде, то скажу сразу — иди к чёрту.

— Катэ, ты режешь меня без нож! Панымаешь?! Начальник сказал, содня последний день! Панымаешь?! Содня бригад должен быть! Ты человек или нет?! Катэ!

— Гарри, отвали. Я тебе уже сказала, мне семью кормить надо, за дом ещё рассчитываться. Мне из Армении не вышлют, понял?! И некогда мне твоих алкашей перевоспитывать.

— Катэрин, ты пойми, брыгад — это сила! Коллектив может всё! У вас один Брызгалов, а в брыгад Колчин их две! Две! Катэ!

— Сказала нет — значит, нет. Отойди и не мешай работать! Ты знаешь, что мне Брызгалов вчера сказал? Нет? Я, говорит, на нарах шесть лет ничего не делал, а ты хочешь, чтобы я у вас работал. Понял? Его тюрьма не перевоспитала, а ты его бригадным подрядом пугаешь.

— Хорошо, Катэ, я пойду начальник, Брызгалов не будет у вас в брыгад...

— Всё равно — не буду! Ты что, думаешь, все дела из-за Брызгалова? Куда там! А простой? А где металл? Где металл, спрашиваю? Нынче когда мы его получили? Девятого? А прошлый месяц? Ты же

каждую пятницу у нас в ногах ползаешь, чтобы в субботу вышли поработать, план нужен!

— Тогда к другой уходи! Увалняйся! Всё! Другой ход нет! На этой линии будет бригада! Понял? Всё!

— Как увольняйся?! Ты в своём уме? Ты хоть соображаешь, что говоришь?! Да я на этом заводе... ты в своей Армении ещё без штанов ползал, когда я эту линию осваивала! А ну иди отсюда!

— Тише, Катэ! Я тебя уважаю, честное слово, вот, как человек, даже люблю, но, Катэ, начальник сказал, сегодня собраний и чтоб бригад был, понимаешь? Время такой, бригад везде. А кто, грит, не хочет, ганы. Это он так сказал, Катэ. Согласис.

— Я работаю?

— Работаешь, Катэ, хорошо работаешь!

— Вот и отстаньте от меня. Я чужих денег не беру!..

— Постой, Катэрин. Ты не понимаешь, течение время такой теперь, сейчас везде бригад, перестройка.

— Ты меня не перестраивай! Ты мне металл дай, я тебе и без бригады два плана сделаю! Я знаю, почему вам так приспичило. Смотри-ка, вмиг вдруг бригады понадобились! Знаю! Цех бригадного подряда! Передовой опыт. Комиссия, радио, телевидение. А мы — на конечный результат, когда по полмесяца металла нет, когда станки свой третий срок доживают. А главное, больше уговаривать никого не придётся! Зачем? Сами отсюда не выйдут, как же, деньги-то нужны, жрать на что-то надо! Или не так?!

— Катэ, ты не права! А договор? Мы составим, я содня весь ночь пысал. Там обязательства администрации, бригад...

— Ты знаешь, куда с этим договором сходи? Отстань! Всё! Ты про договор кому другому Расскажи, я учёная, я знаю, как у нас правда достаётся! Пока за квартирой ходила, всё вызнала. Понял?

— Эх, Катэ, Катэ, нехорошо, жалко будет. — Гарик безнадёжно махнул рукой и быстро пошёл прочь.

Екатерина несколько минут стояла неподвижная, потом вдруг ударила по кнопке экстренной остановки. Цанга замерла, и она уловила чуть слышимый сухой щелчок — откололись режущие кромки резцов. Теперь если даже и взяться настраивать станок, то уйдёт не меньше получаса.

— Ну и прекрасно, — прошептала она и почувствовала, как слёзы подступили к глазам.

Она села на зелёный ящик и бездумно уставилась в бетонный пол.

О бригадном подряде заговорили как-то сразу — и по телевизору, и по радио, и в цехе. Екатерина отнеслась к этому как к очередной «волне». Скоро по телевизору стали передавать многочасовые передачи о бригадном подряде, на экранах появились счастливые рабочие, которые восторгались новой формой коллективного труда и просто удивлялись, как это они до сих пор жили без такой благодати. Бригады начали вырастать на заводе, как грибы после обильного дождя, и тут же рушились, обнаружив свою скороспелость. Но всё, возможно, было бы хорошо, если бы не желание начальника цеха ухватить время за хвост — организовать цех поголовного подряда.

Когда ещё удастся стать «современным», «прогрессивным»? В цехе уже существовало две бригады, правда, они дышали на ладан, раздираемые неразберихой, а одна из них в своё время развалилась, но была реанимирована, после чего уволилось десятка полтора рабочих.

Начальник цеха относился к Екатерине доброжелательно, при встрече улыбался и часто на общих профсоюзных собраниях ставил её в пример другим рабочим. Со стороны складывалось такое впечатление, будто у них короткие дружеские отношения, и Екатерина скоро сама в это поверила. Поверила и пошла заступиться за рабочих. Разговор с начальником цеха получился скупым и коротким. Рабочие уволились, а на их места скоро пришли новые люди.

Начальник, как раньше, при встрече улыбался Екатерине, будто старому знакомому, но она теперь относилась к его доброжелательности настороженно, а когда догадалась, что он знал о предстоящем сокращении в соседнем цехе и потому так неумолим был к своим рабочим, прозвала его Галстук. Почему? Да бог его знает, сорвалось с языка, и как будто всю жизнь его так звали.

Галстук был невысок, широколиц, на собеседника всегда смотрел открытым ласковым взглядом. Он был деликатным, обходительным, предупредительным и вежливым. Лоск, приобретённый не одним годом работы в партийных органах, служил ему верой и правдой и на производстве. Ему верили, потом ненавидели, а когда убеждались, что бороться с ним нет никакого смысла, увольнялись. Куда им сражаться с испытанным идейным борцом? Легче плюнуть, сесть

в автобус и пусть с измятыми боками, но приехать домой и вытянуться на диване.

Екатерина обхватила голову руками. Что её жизнь? Колесо, в котором она даже не белка. Белка хоть бежит красиво, а она? А тут ещё Гришка с запоями. И почувствовала себя Екатерина загнанной, уставшей и измороженной бешеной погоней за счастливой жизнью. И не нужна спичка, чтобы вспыхнул пожар раздора, достаточно слова, жеста. А на сон грядущий, как успокоительный укол, кусочек фильма по телевизору и пряный запах нагретых печных кирпичей. А потом всё сначала, всё как вчера.

— Почему вы не работаете?

Екатерина подняла голову и не сразу поняла, что её спрашивает начальник цеха. Он смотрел холодными глазами и нетерпеливо ждал ответа.

Екатерина тут же поняла: Гарик уже рассказал, что она не хочет работать в бригаде, и теперь она в одном ряду с теми, кто увольняется с плевками и проклятиями, она теперь в рядах несознательных и ненужных.

Обида вновь подступила едкими слезами и запершила в горле. Екатерина старалась справиться с ними, не пустить к глазам, но они пробились по невидимым лабиринтам, раздражая виски и нос, вдрут вырвались наружу.

Она подхватилась, побежала в раздевалку, но и там не успокоилась, накинула пальто и выскочила из цеха — только бы уйти отсюда! Уйти подальше! Не видеть и не слышать! Не знать и ни с кем не говорить!

В проходной дорогу ей преградила охранница.

— Пропуск. Почему гуляем?

Екатерина оттолкнула её и, ничего не сказав, вышла на тихую улицу.

— Стой! Стрелять буду!

— Да стреляй ты! Стреляй! Господи!.. — с каким-то злорадством выкрикнула Екатерина и уверенно зашагала прочь.

Мороз заметно обмяк, и холодный воздух не щипал лицо по-утреннему, до белых пятен. На заснеженных улицах городской окраины было немногочленно. Во дворах от холода и скуки то тут, то там начинали отчаянно выть и лаять собаки. И в эту морозную деревенскую тишь врывались далёкие мерные удары сваебойки, которая работала где-то за новостройками, вгоняя длинные каменные пальцы в холодную глину вековых глубин. Чёткие хлопки проносились над головой и ударялись в прозрачную стену берёзовой гряды. Новый микрорайон, как каменная опухоль, заполз в длинные ряды чёрных домиков, и блики оконных стёкол высотных домов сверкали многоцветно и празднично под куполом сизого неба.

Екатерина остановилась около своего дома и, кажется, впервые посмотрела на него глазами постороннего человека. Приземистый и неуклюжий, он больше походил на сельский универмаг с большими окнами, чем на обычное жилище. Она открыла ворота и вошла внутрь, прошла по аккуратно расчищенной дорожке — мужики постарались, — достала ключ, но дверь отпирать не стала. «Надо бы собаку завести, — оглядела кажущийся нежилым двор, — воры могут забраться». Она глубоко вздохнула и улыбнулась, подумав, что воровать в доме нечего, была золотая цепочка,

да и ту в рамы превратила. И всё-таки дом был родным, и даже здесь, на улице, казалось, что от него веет теплом и запахом натопленной печки. Ей вдруг до боли в сердце захотелось увидеть Григория. Она понимала, что все эти её настроения похожи на детские капризы, но, поддаваясь своим сумасбродным желаниям, она вышла на заснеженную, полусонную улицу и заспешила в сторону белых девятиэтажек, за которыми размещался гараж, — там слесарил Григорий.

Она с большим трудом отворила металлическую дверь на тяжёлой пружине, вошла в тёплый бокс. Приятно пахло машинным маслом и бензином. Григорий стоял около грузовой машины и протирал ветошью замасленные руки.

— Гриш, — позвала она, почувствовав, как от волнения перехватило дыхание, закружилась голова. Она шагнула к нему.

— Что?! Катя! Что?! — кинулся он к ней.

— Да нет, Гришенька, всё хорошо, хорошо. Я просто так, понимаешь...

Обида, почти заглушённая, вдавленная в глубину души, вдруг хлынула обильными слезами.

— Гришенька, — шептала она, — Гришенька... — и ей становилось удивительно хорошо и свободно, с каждым всхлипом, с каждым вздохом, сотрясающим её тело, неожиданно приходило облегчение.

Он прижал её к своей грязно-масленой спецовке и пытался успокоить, беспрестанно повторяя:

— Тише, тише, Катенька, что ты, тише...

— У меня... я так, я люблю тебя, Гришенька.

Потом они брели по улице. Он бережно поддерживал её под руку, она рассказывала про завод, про

Гарика и Галстука, про зэка Брызгалова и бригадный подряд. Она смеялась над тем, как охранница кричала ей: «Стрелять буду!» Григорий слушал, задумчиво покачивая головой, и хмурил свои чёрные брови.

— Слышь, Кать, а может, мне твоему начальнику морду набить?

— Ещё не хватало! Посадят. За таких, как он, много дают. — Она помолчала и, отвернувшись от мужа, сказала, глядя куда-то вдаль: — Господи, как надоело быть лошадьё, как надоело...

— Вот что, ты теперь увольняйся и дома посиди, поживём пока на одну зарплату.

— На одну? А долг? А дети пообносились? И ты ещё попить начал, а водка теперь вон какая дорогая, да и не в том дело. Ты же меня теперь не видишь... Хотя что я? — Она обхватила его шею и заглянула в глаза. — Гришенька, вот и грудь у меня... Гриш, а ты помнишь, какая у меня грудь была?

На её глазах навернулись слёзы.

— Да не выдумывай, ты у меня жена — всем жёнам жена!

— Какой там... Гриш, а может, нам сегодня праздник устроить, просто так? Я торт спеку, а ты — плов. Помнишь, ты после армии плов готовил, вкусный?.. Ты — плов, а я — торт! Придут мальчишки, и устроим пир горой!

Григорий улыбнулся:

— Ну, ты женщина, то рёвом ревёшь, то праздник давай. Плов? А что, попробовать можно. — Он обнял её и прижал к себе. — Эх ты, Катя-Катерина, горе ты моё.

Настя

Тяжёлая туча, оставшаяся после ночной темноты, не дала разгореться июньскому дню. Придавлив крыши домов, она брызнула крупными каплями, непрочно пригвоздив пышную пыль к измученной жаждой земле. Ни ветерка, ни голоса птицы, и только небо холодило округу свинцовыми красками.

Настя постучалась в большие металлические ворота, те охнули, задрожали, отозвались гулким пугающим вздохом.

— Настась, ты?! — окликнул её женский голос.

Вся огромная прямоугольная плита ворот дёрнулась и, поддаваясь надсадной силе мотора, поплыла в сторону.

— Здравствуй, — кивнула Настя встретившей её толстухе. — Вагонов много?

— Да куда б они подевались?..

— Пол не мыт? Вода не запасена? — прервала, зная Манькину словоохотливость, Настя. — Смену не приму.

— Примешь. Прибился тут один, работающий... воды принёс, — Манька хохотнула.

— «Бродячая собака», что ли?

— Бродячая... ничё мужик, передаю по смене, не пожалеешь.

— Пользованный? Хочешь, чтобы я его откормила? Ну уж дудки, своих кобелей сама корми.

Манька подняла приготовленные сумки и отступила за ворота.

— Как знаешь. Дело хозяйское, добровольное. Не хочешь, так выгони, он смирный, уйдёт.

— А ты опять полна? — Настя кивнула на тугие сумки.

— А что порожняком ходить?

Насте исполнилось пятьдесят. После шумного застолья прошёл месяц, а она всё повторяла: «Как? Шестой десяток? Шестой?» Мужики давно не маслили взгляды, да плевать бы на мужиков! Душа! Она, как и тридцать лет назад, была без возраста — молодой! И все эти годы, с самой юности мечтала о грядущем счастье. А тут вдруг поняла, в один день — счастья не будет. Произошёл какой-то дьявольский, не умецающийся в голове обман. Обманулась на всю жизнь! Ни красота не помогла, ни каре-зелёные глаза, ни всё ещё стройное тело, ни ум, наконец, такой не бабий. Всё — ни к чему, прахом! Но смириться с этой мыслью не могла. Умом понимала, сердцем — нет. Ни денег, ни любви, ни семьи! Сын... и тот многодетный, облысевший, поглупевший.

Исполнилось пятьдесят... Настя зашла в небольшой домик, над дверями которого была прибита фанерная доска с тремя буквами: КПП — «контрольно-пропускной пункт». Расшифровывали и по-другому: «Кто ПоПало» — намекая на охранников мясокомбината.

Не обращая внимания на худощавого мужчину, медленно поднявшегося при её появлении, она сняла трубку безномерного телефона.

— Алло, Пётр Егорович, пост приняла. Всё в порядке. — Нажала на клавишу и обратилась к стоявшему человеку: — Какие трудности?

Тот пожал плечами.

— Ну так до свидания.

Он хмуро глянул на неё, захватил пиджак со стула, вышел.

Настя достала из принесённой с собой сумки журнал — время убить, вязание в целлофановом мешке, да вспомнила про незакрытые ворота.

— Вот растрёпа-то, — подосадовала она и быстро вышла на улицу.

Будто сорвавшийся с привязи, ветер гонял рваные листы картона по железнодорожным путям, трепал лохматые берёзы, загибая до самой крыши их гибкие макушки, бился в ворота — отчего те дрожали, ходили ходуном на верхних скрипучих блоках. Настя закрыла их и поспешила обратно. Неожиданно громыхнуло раскатисто, да так близко, что тряхнуло весь домик и её, стоящую на пороге, и, не дожидаясь, когда испуг отпустит сердце, хлынул дождь. Он выхлестывал забившуюся в древесные поры пыль и сухость с такой отчаянной лихостью, что Настя невольно залюбовалась разбушевавшейся грозой. Ветер, не прекращаясь ни на минуту, то тут, то там ломал хрупкие ветви тополей, забивал крупной каплейю окно, грозился выдавить стекло; барабанный пляс по дощатым стенам казённой постройки слился в сплошной шум, и всё это принесло вдруг Насте утешение. Она прониклась буйством непогоды, и только непонятное что-то удерживало её под крышей. Свежесть прохладным краем задевала её лицо.

Она вдруг увидела человека, которого недавно выставила за дверь. Он стоял за углом, прислонившись к бетонной стене.

«Ну, репей!» — ругнулась она, ощущая неловкость оттого, что за нею наблюдал посторонний и что

теперь придётся звать его в дом, спасти от грозы. Они встретились взглядами. Он смотрел с вопросом и на-смешкой — так ей показалось. Настя отвернулась, за-шла, хлопнув дверью.

— «Бродячая собака!»! — Но раздражение не от-ступило.

Он постучался и заглянул:

— Войти можно?

— Войди. — Она подняла трубку телефона: — Пётр Егорович, тут у меня человек без пропуска... Да, с территории. Нет, без всего, — она глянула на стоящего около дверей: вода стекала с его слип-шихся на голове волос по лицу, он не утирался, под ботинками собиралась лужица. — Что, Пётр Егоро-вич? Поняла — гнать, — опустила трубку.

— Мне уйти?

— Сиди уже.

— А вы не злая...

— Откуда б тебе знать? — опять озлилась она.

— Красивая женщина...

— Про красоту Маньке расскажешь, мне не надо. Я всю лапшу ещё в девках съела.

— Да что Манька? Дура. А в вас характер.

Настя встала, распахнула дверь. Гроза утомони-лась, ветер стих, но дождь лил мелко, назойливо, для посевов благодатно.

— Давай гуляй, чтобы мне в дурах не оказатъ-ся. — Она накинула плащ, вышла следом, открыла металлические ворота настолько, чтобы можно было пройти.

— Вы зря... не так это...

Она махнула рукой, прервала его. «Собака — она и есть собака».

Подумала и успокоилась.

Невозможно вычерпать воду из ямки на песочном берегу, как немыслимо избавиться от бродячих собак на территории мясокомбината. Вся великая поселковая свора жила одной мечтой. Бороться с ними прекратили, когда заметили, что расселившиеся на комбинате собаки ревностно защищают свои владения от лишних клыков. Рабочие скоро к ним привыкли, откормили, а чуть позже вообще перестали замечать. Собаки жили дружно. Бывали, конечно, драки, но нешумные, вялые, бескровные. Протяжавшись, свора разбредалась по забронированным цехам.

Бичи, а здесь, соблюдая приличие, их называли «временными рабочими», вели себя достойно: пьянок не устраивали, воровали не для наживы — для соседствующего пивкомбината. Словом, обжились, как в родном доме: где разгрузить-погрузить, где просто вычистить живодёрню, и за всё плата «натуральная» — колбасой или мясом. А с такой «деньгой», как с валютой, везде бич — желанный гость, в пивной — друг. Их знали по именам, сквозь пальцы смотрели на воровство и не очень осуждали некоторых неразборчивых колбасниц.

Однажды на собрании Пётр Егорович резко обличал «непорядки по службе» и пуще всего досталось за «недогляд и попустительское отношение, когда на глазах тащут». Все так и поняли, что Егорыч опять завёл о «бродячих собаках» — излюбленная его тема. И как же смеялись, когда выяснилось, что говорил он о временных рабочих. И повелось с тех пор называть

мясокомбинатовских бичей «бродячими собаками». Жестоко. Клички, они всегда не в бровь, а в глаз. А в глаз — всегда жестокость.

Настя сидела на пороге КПП, уставшая за день от бегов, — сколько пришлось проверить вагонов; ноги болели, но свежий воздух, насыщенный ароматом призаборных трав, бодрил. Задумчивая, она подняла голову и вдруг увидела стоящего перед нею человека, которого ещё утром выставила за ворота. От неожиданности сердце её обмерло, но тут же наполнилось гневом.

— Испугалась? — он улыбнулся, в одной руке держал свёрток, в котором угадывался круг колбасы, а в другой бутылку водки.

— Ах ты, мать твою!.. Тебя кто впустил?! — Она поднялась, решительно вошла в домик и сорвала с аппарата трубку: — Пётр Егорович! Алло! Пётр Егорович! Что они там, спят, что ли?

— Я через центральную, нас пускают.

— Алло, Пётр Егорович! Тут опять мужик утрешний... Какой, какой, тот, которого утром приказали гнать... Ну так он опять пришёл! А?.. Да что гнать-то?! Сколько можно?! — Она с раздражением бросила трубку, несколько секунд смотрела на неё, потом подняла глаза: — Вот что, дружок, пошли. — Она отворила ворота. — Давай отсюда, попадётся ещё, пристрелю, как собаку!

Он вышел и спросил:

— А наган с собой приносить?

Она не ответила, ворота разделили их. Всё тем же решительным шагом Настя вернулась на КПП, но вдруг рассмеялась:

— Во, паразит! Про наган-то верно сказал!

Утром он встретил её на пути к дому.

— Здравствуй, — поздоровался и пошёл рядом.

Настя не удивилась его появлению, ждала, думала об этом, поняла, что его настойчивость криком не взять. «Смирный», — вспомнила Манькины слова и вдруг поймала себя на мысли, что эта настойчивость грязного мясокомбинатовского бича — «бродячей собаки» — не вызывает в ней отвращения. Поймала себя на мысли и озлилась. Но турнуть его не взялась, устала, да и понимала, что бесполезно, не тот случай.

— Ты что же, решил ухлестнуть за мной?

Он пожал плечами, не ответил.

— Кавалер... А что обо мне люди скажут? До подзаборного мужика опустилась? — Она резко остановилась. — Ты куда идёшь?

— Да так...

— Вот и иди «так»! Тебе — туда, мне — сюда. — Она быстро зашагала прочь, но обернулась: — Я тебе что сказала?!

— Да я провожу. Куда спешить?

Настя растерялась. С мужиком ей не справиться, а навстречу шла соседка, зыркнула на них и прошмыгнула мимо. Настя в сердцах рубанула рукой:

— Ну, как назло! Да чтоб вам всем!.. — И, больше не обернувшись ни разу, зашагала к дому.

Настин дом — бревенчатая постройка под черепицей в самой глубине двора. Отец купил его на выигравшую облигацию за двадцать пять тысяч теми, ещё дореформенными деньгами. Лучший дом в округе, богатый срубом и, конечно, небывалой в здешних местах черепицей. Как она сюда попала, можно

только гадать, но служила верно вот уже сорок лет, поблекла, правда, из красной стала бледно-розовой, но как звали его «черепаший дом», так и до сих пор зовут. Если бы не счастливая облигация, жить бы им в засыпушке, но тогда бы никто не завидовал. Косых взглядов было много, Настя помнит пересуды и озлобленность послевоенного люда.

«Вот, Настён, и твоё приданое», — смеялся довольный отец. Так оно и случилось. Вышла замуж рано, за фронтовика, давно не молоденького, на десять годков старше. Посватался Сашка, как нагулялся вдосталь по оголодавшим от одиночества вдовам. Отец, тогда уже больной, завёл его к Насте в комнату, да так и бухнул: вот, мол, жених, тебя в жёны просит, решай. И ушёл.

Поторопилась Настя, да как её судить, если бабы в то время в девках старились? Свадьбы не было, посидели вечерок, самогонку попили, песни попели, и все дела. Отец прорубил новый ход в дом, отделил одну комнату глухой стеной, так и получилось: дом на два хозяина. Не хотел мешать молодой семье. Да и скоро помер.

Теперь в его половине живёт Сашка-дурачок. Да, тот самый её муж, запивший вдруг после смерти отца не в меру, имевший контузию и ранение в голову. Вот и не выдержала голова, свихнулась.

Колюшке, сыну, третий год шёл, когда отправила она мужа в психушку.

Любовники? Как не быть, у красивой двадцатилетней Насти отбою от ухажёров не было. Дольше всех продержался Вовка, сосед. Но как Кланька выследила, Насте косы помотала, после и не жила по-людски,

с любовью. А тут Сашку выпустили, — он, мол, тихий, на воле жить может. Куда его? И заселила Настя своего мужа-дурачка в отцовскую половину. Отгородила ему двор и несколько грядок, вдруг дурной голове огородничать захочется. Ему и захотелось. Как Настя на смену, тот через забор — давай собирать урожай. И не столько брал, сколько пакостил. Дёрнет морковку — полгрядки вытопчет, огурец зацепит — так с ботвою и волочёт к себе. Голодовал, что там сорок шесть рублей инвалидской пенсии. Так и мучилась Настя: ни семьи, ни любви, да сын в отца: то пьёт, то гуляет.

Наплодил Николаша детей не по возрасту рано. И жена у него домовитая попалась, жить бы и жить, да куда там... А может, и правда, как говорят, в горе бабы лучше становятся? Только не верится этому. Не по-доброму примечено.

Вечером того же дня, как вернулась Настя со смены, сунулась зачем-то в окно и обомлела: стоит у калитки бич-кавалер, от папироски дым, курит. На заборе сетка висит, тугая, а в верхние зубья букет цветов заправлен.

— Нарисовался! — только и сказала Настя в растерянности. Но подхватила, скользнула из дому да по задворкам к Сашке.

«Господи, да загажено тут как, — вздохнула она, пробираясь по завалам мусора, — надо бы прибраться прийти».

Сашка спал на грязном тряпье на койке.

— Сашка!

Тот открыл глаза, увидел её, съёжился и, прикрыв голову руками, завыл.

— Да погоди ты! Не буду бить! Не буду!

Однажды вгорячах, как вытоптал пол-огорода, помидоры посбивал, шуранула его о забор, да ещё пинка дала, вот и боялся её как огня.

— Сашка, там мужик у калитки, скажи, что меня нету, а ты муж мой. Понял? Ты муж или нет? — Она оглядела его лысую голову с пушком над ушами, старческое глупое лицо, всего — высохшего, похожего на двенадцатилетнего мальчишку. — Э-эх!.. Иди! Мол, жены нет. Иди, водки дам.

Сашка подскочил и бочком, бочком к выходу: боялся, что расправится с ним за последний грабёж. Она вывела его — и опять по задворкам на свою половину.

Сашка почувствовал свободу, ринулся опрометью к калитке, вылетел из неё мимо бича-кавалера и убежал прочь.

— Заставь дурака Богу молиться! — в сердцах сказала Настя и пошла к гостю сама.

— Что забыл?

— Да вот, пришёл.

— А я звала?

— Я сам.

— Сам, сам! Иди отсюда! А не то мужиков соберу, будешь знать.

Он бросил на землю окурок, втоптал его, и тут только Настя заметила, что побрит он, пострижен и вообще имеет человеческий вид. Это её сбило с мысли, и, не найдя больше угроз, она ушла.

Не включая в доме свет, Настя легла в постель, но долго не могла уснуть, а ночью во сне расплакалась. Проснувшись, села в подушки, и так ей стало жаль себя, загубленную жизнь, красоту свою бабью, что дала волю слезам. Выплакалась, утёрлась, ещё пошмыгала носом и забылась до утра.

Шла на смену, машинально кивала знакомым, а мысли все во вчерашнем дне были. Сноха приходила с внучатами, до сих пор голова от них болит. Раньше всё убеждала: «Доченька, хватит рожать, куда нищету плодите?» А вчера вдруг сама посоветовала пятым обзавестись. Сноха расхохоталась: ты что, говори, мать, пластинку на другую сторону перевернула? А она ей: «Как хочешь понимай, но от пятого выгода будет. Квартиру дадут. Многодетная семья. Матероиня. Квартиру-то по-другому шиш заработаешь. Медаль повесят, приятно, не зря терпела. А то, что на один рот больше, теперь-то уж какая разница, что четверых, что пятерых — одна беда: кормить надо».

«Опять-таки, — теперь уже мысленно сама себя убеждала Настя, — комбинат под боком. Худо-бедно, а что в его буфете купишь, того в магазинах днём с огнём не сыскать. Огород держу — им же. Куда для одной двести кустов помидоров садить? И то, до весны чуть хватает».

Но что говорить, был способ и полегче жить. Здесь на комбинате и за воровство не считалось, если кусочек мяса с работы прихватил. Он, этот кусочек, так и назывался — «пайка». И проходя через вахту, на вопрос, что несём, так и отвечали — пайку. И не дай бог, если оказывалось больше, что называется, на продажу. Тут охранник вспоминал и честь, и совесть, и Родину-мать. И готов протокол. А протокол — не шутка. Самые шустрые приспособлялись «подкармливать» охранников, у таких паёк, конечно, покруче завёрнут был.

Общественное мнение на комбинате было за паёк, и в оправдание приводилось самое расхожее суждение:

«Без пайка здесь горбатить никто не будет». А у Насти всё получилось не как у людей. «Если воровать — так воровать, а пайком только пачкаться», — сказала как-то бабам и как отрезала: пайка не брала. Жалела, конечно, паёк — подспорье немалое. Но Настя виду не подавала и чем дальше, тем всё более озлоблялась против тех, кто пользовался этим неписанным законом. «Дура, — решили о ней, — в начальство метит».

Памятен был случай, когда пытались пронести через Настин КПП мясо. Бросили его, напуганные, бежали. Сначала Настя думала отдать мясо вора, когда те вернутся, чтобы унесли его в цех, где взяли, потом хотела позвонить в караул, но ранним утром, ещё в потёмках, вынесла сверток за ворота, схоронила в густой траве, а после, как несла домой, вся на нет извелась. На том и утвердилась: чтобы ещё хоть раз — да никогда, если это таких нервов стоит.

Решила, да на себя же за такое решение злилась.

Вот и ворота.

«Господи, — вздохнула Настя, — век бы их не видеть. — Постучалась. — Видеть — не видеть, а с нынешними магазинами с голоду помрёшь. Но и есть благодетель — комбинат. Надо бы сегодня опять костей взять. Тридцать шесть копеек кило, а навару... такого с мяса не бывает».

— Настась, ты?!

— Отворяй!

Она прошла на КПП, глянула в бачок.

— Почему воды нет?

— Тебе бы знать надо. Хахаля маво сманула, вчерась тут сидел, всё вздыхал, даже за сиську не тронул. — Манька засмеялась громко, похабно. — Да мне

не жалко, я добрая. Бери, пользуйся, мужик ничё, душевный, ну и... тоже ничё, — опять гоготнула.

— У тебя сумки не треснут?

— Ты, кажись, Настась, одна на комбинате такая осталась. Тянися, тянися, кому нада? Кто тебе орден дать? Тягай помаленьку, пока руки несут, а как отсохнут, так и честной станешь. Дура ты, не лучше свово Сашки.

— Ну, ладно языком лякать.

— А вон и любовь твоя чопаёт, еле дождался. Постригся даже...

— Иди, — поморщилась Настя и затворила за сменщицей ворота.

— Здравствуй, — сказал подошедший бичкавалер.

Настя ничего не ответила, вошла в домик, начала вынимать из сумки приготовленное, задумалась.

— Иди сюда, — позвала строго, а после, как вошёл, приказала: — Садись. Дело есть. Тебя Валентинном зовут?

Тот кивнул, сел на стул и положил руки на колени. Теперь она разглядела его. Продолговатое лицо, высокий, прихваченный морщинами лоб, крупный удлинённый нос, голубые глаза, чёрные усы и кудрявые волосы.

«Гайдук», — подумала, а вслух сказала:

— Дело у меня... Воровать поможешь?

— Зачем это? — Он внимательно посмотрел на неё, не поверил.

— Я серьёзно. Есть у меня задумка...

Он потёр колени, не зная, как понимать её. О Насте говорили, что сама не ворует и других через КПП

не выпускает. Советовали даже не соваться, проверено, мол.

— Хочу богатой невестой стать... — и вдруг совсем иным тоном, будто сама с собою, заговорила: — Внучата у меня, скоро ещё родят, пятого. Да не только они, самой невмочь... Дом оставлю им и... куда глаза глядят. Устала я, надоело всё, и здесь надоело, и дома жизни нет, и всё... Решай.

— А я как? — спросил, не поднимая головы.

Настя поняла вопрос, посмотрела на его склонённую голову.

— Потом. Сама решу. Но не лезь, я тебе не Манька. Он кивнул.

— Ну вот, вот и... — Настя не договорила, думая сосредоточенно, будто о чем-то совсем постороннем. Но вдруг посмотрела на него: — Не пить. Увижу или учую, считай — всё. Ты на слово как? Болтлив — нет?

— Нормальный.

— Да я заметила, не говорун.

Вот так, не гадала Настя не ведала, повернула вдруг жизнь свою да пришпорила, сама не зная куда. Но верно то, что жить по-старому уже не могла, а как по-другому — не знала.

Поселила Валентина в маленькую комнатку — «девичью», где прошла её юность, сама во вторую перешла, благо — отдельные. Ещё раз напомнила «жильцу», чтобы «рук не распускал и намёки не сеял». Удивительно легко плюнула на людские пересуды: «Да пускай хоть языки проглотят, что мне с них?» И, наверное, была права. Дала «жениху» сто рублей в долг, чтобы приделся хотя бы на первое время.

Дала и вся испереживалась: а ну, как пропьёт? Другой раз обо всём о том раздумается — голова кругом: «Кто он? Что он? Ни роду, ни племени. Как жил, с кем? Может, убил жену, детей зарезал?! Может, зэк? Ведь они, «бродячие собаки», — все зэки бывшие». От таких мыслей ей из дому бежать хотелось. Приглядывалась к нему, изучала, всё понять хотела. Спрашивала и напрямую.

— Ну, деревенский я. Потом город; конечно, работал. Жена? Была жена, и дитё, наверное, есть, а может, и нет. Не знаю.

Разве это ответы — два-три слова? Так, отмахивался.

Как-то решила спросить:

— В тюрьме был? — всё боялась, что зэк.

— Был, — кивнул он безразлично, а у Настя душа зашлась от отчаяния. Зэк для неё — это как позор на всю округу и на всю оставшуюся жизнь.

И совсем упавшим голосом, проклиная себя за глупость, что связалась с человеком, не узнав о нём ничего толком, но ещё с надеждой спросила:

— За что?

— За кражу, — помолчал и добавил: — И ещё...

Настя чуть не закричала.

— За тунеядство.

«Ну, слава тебе, Господи!» — выдохнула она и вся в холодной испарине отошла прочь. Чуть раньше узнала — и близко к дому не подпустила бы, а тут дело затеяла, да ещё какое.

«Может, и к лучшему, что воровал. Знает, научен», — успокаивала себя. Но то всё на поверхности, а Насте хотелось в самую его глубь заглянуть, но как?

Как понять человека? Сколько их сначала хороших, потом... да что говорить, всякий знает. Глаза его Насте нравились, хорошие глаза. Не красивые, не добрые, не умные, а именно «хорошие». С тем немного и успокоилась. Может, где и авось помог, не раз выручал. Наблюдала, как работает. Медленно, ловко, конечно, но очень уж медленно, и перекуры. Перекуры её раздражали, как собаку кошка. И нередко слышалось:

— Ты что встал? — Он на сарайчике рубероид менял. — Дождя ждёшь?

Валентин неторопливо втоптывал бычок в землю и без слов за работу. Но так у него всё получалось, что не понять: не то подчинился, не то посмеялся.

Попинает Настя вёдра, крепким словом припугнёт и ещё что скажет, сама потом силится вспомнить — не может. Чуть погода глядь, а он снова дымит. С неделю воевала и махнула рукой, не так чтобы совсем замечать перестала: гавкнет на него мимоходом, и за своё дело. В доме да в огороде никогда всех дел не переделаешь. А тут засела шить рюкзак под колбасу.

— Купи, — посоветовал Валентин, когда узнал, зачем машинка стрекочет.

Но у Насти на то было своё мнение.

— Зачем деньги платить, если самой сшить можно?

Но и нравилось ей, что вставал рано, со светом, долго одевался, всё что-то шебуршал, и — за дело. И пусть медленно, с перекурами, но прерывался, только когда сама позовёт или на обед. После обеда спал — вот к чему она привыкнуть не могла, а после опять за работу, нерасторопно, с ленцой, но дотемна,

другой раз уже и глаз выколи — ничего не видеть, а он стучит.

— В деда я, — сказал как-то. В тот вечер Настя ни о чём не спрашивала. — Помню, на сенокос меня взял. Вышли, солнце ещё за лесом. Тихо. Хорошо. Косы на плечах, котомки, ну, всё с собой. Пришли — за работу. Он меня впереди пустил, чтоб, значит, ему по пяткам не полосонул... Я дал жару. Он раз заведёт, я — три. Убегу метров за пятнадцать вперёд, встану, передохну, дождусь его и опять: он раз, я три. Правда, к обеде я поутих немного. Дед, он молчун был. И жалостливый. Как какую птаху зацепит косою, переживает, или даже мышонка, и хоронит. Вот пока он панихиды справляет, я метры набираю. Солнце в зенит — значит, обед. Сели, на белый мамкин платок — хлеб, огурцы, лук. Он бутылку самогонки достал. Выпил полкружки, крикнул, усы утёр, пол-ляжки мяса умял, допил кружку и спать. Храпел так, что листва на кусту дрожала. Долго спал. Я грибов искал, ягод наелся, бурундука, помню, ловил, да куда там. Проснулся дед и опять за косу: он раз, я два. Но только недолго. Скоро нога в ногу пошли. А к вечеру обогнал меня дед, не докричаться. С неделю с ним косил. В деда я.

Не всё поняла Настя в его притче. Намёк, конечно, ясен, но перебило её другое. Она так живо представила его мальчишкой с дедом у белого платка, собирающего ягоды и работающего с косою, что расстрогалась и чуть не прослезилась. Это был его первый и, кажется, единственный рассказ о своём детстве.

Понимала Настя и другое, что работает Валентин на чужом. Кто он здесь? Ни хозяин, ни родственник, ни сожитель. Так... общее тёмное дело.

Как спила рюкзак, пошла к Тamarке — продавщице коопторга. Знались они давно, захаживала Тamarка к своей подруге с «женихами». Настя не противилась, уступала комнату, а то и вовсе в сарайку отправляла на трухлявое сено в углу. Ей времени всё не хватало выгрести его и сжечь. А бывало и одна приходила с бутылкой. Сядут вдвоем, погорюют под рюмочку, а то и посмеются, песняка заведут, выскажутся. Тamarка всё о женихах-подлецах, а Настя о доме, о Сашке-дурачке да о сыне. На том и держалась их дружба. Давно уже не заходила Тamarка. Женихи отошли, как грибы в сушь, повяли да потрухлявились, а быт она наладила, как в коопторге работать стала. Пришла Настя в коопторг, а ту не узнать — в директорском кабинете. Поняла Тamarка её сразу, подивилась, помяла в пальцах сигаретку, сыпанула сухим табаком на дорогое платье, сдула одним дыхом и быка за рога: деньги пополам. На том и сошлись.

Сказано — сделано. У Насти всегда так, раз задумала — до дела доведёт и результата добьётся. Всякий бывал результат, но дело на полпути никогда не бросала. Может быть, эта настойчивость и не дала ей устроить свою жизнь? Как знать?

Ночью по цехам контроля не было, сторожа спали. Почему бы не спать, если вахтёры на проходных день и ночь. У вахты же свои думки на этот счёт были.

Первый рюкзак Валентин вынес часов около трёх да скоро вернулся.

— Что?! — и без того взволнованная, испугалась Настя.

— Ещё возьму. Что там десять кило...

И до пяти утра ещё два раза обернулся. Утром шли вместе (дождался на перекрёстке поодаль от комбината).

— Ну, славе тебе, Господи, — сказала Настя, увидев его. — Напереживалась... Воровка я теперь.

Валентин молчал. И уже на подходе к дому сказал:

— Не своруешь — не проживёшь.

Спали до обеда. Настя сильно устала. Только и хватило её, чтобы умыться, скинуть казённую форму да под одеяло. А Валентин так и уснул не раздеваясь.

Сарайка после ремонта смотрелась как новая. Настя обошла её снаружи, зашла внутрь и показала на щёлку в стене.

— Не пойдёт. Переделаешь, чтоб комар носа не подточил, не то чтобы глаз чужой.

Ворота, как в гараже, повесил с умыслом, чтобы Томкины «жигули» могли заезжать, и никто не увидит, что там грузят и грузят ли вообще. Подозрений никаких, потому что знали все Настину подругу.

После осмотра сарая, где хранилась в мешках колбаса, сели за обед. Валентин хлебал щи, как всегда, молча и шумно. Хлюпал — так суметь ещё надо. Настя не выдержала:

— Ты что, соседских свиней зовёшь?

Валентин притих, но скоро забылся, и опять пошла обеденная музыка.

— Неотёсанный ты, — злилась Настя.

— Кто б тесал? Не до меня было.

Настя отмахнулась, не желая больше слушать его: мол, из хама пана не сделать.

— За погреб когда примешься? Колбаса — не дрова, погребок нужен.

— До погребка ещё дожить надо. Ты лучше скажи, где дорогу прокладывать будем?

— Какую ещё дорогу?

— К сараю. Или Томкин «жигуль» по воздуху летает?

— Ах ты! — всплеснула руками Настя. О дороге она не подумала.

От улицы до сарая, чуть ли не через весь огород, тропинка. Уголь, дрова на тележке возили. Но то уголь — колбасу не понесёшь на глазах у людей.

И про обед забыла, вышла из дому. Тропинка от крыльца до калитки, слева цветник богатый, гордость хозяйки, справа помидоры.

— Ну, чего лишаться будем? — спросил Валентин, пыхнув папироской.

— Так ты что же, знал про дорогу? Знал и молчал? Специально молчал, Иуда? Чтоб мне досадить! Ах ты, тихоня, раствою мать...

— Ты вот что, Настя, язык-то попридержи, — он хмуρο глянул на неё.

Настя села на крыльцо, обхватила голову.

— О-ой! — закачалась горестно, глядя то на цветник, то на помидоры.

О цветнике и речи не могло быть, но и помидоры жалко.

— Как я не подумала? Ах, баба-дура!

— Теперь горюй не горюй, она хоть и копчёная, но надолго ли в тепле?

Настя решительно встала.

— Руби помидоры! Деньги будут — куплю.

— Нельзя помидоры. Заподозрят соседи. Тут же, считай, деревня, не поймут. Да и как детям объяснить?

— Цветы, что ли? — совсем растерянно, упавшим голосом спросила Настя. — Ой, жалко-то как...

Она подошла к клумбе, присела около, сорвала несколько цветков, будто что-то говоря над ними, оглядела её всю, а вернувшись, приказала:

— Руби! — Но, не дождавшись, пока Валентин затушит свой бычок, сама схватила тяпку и айда косить налево и направо. Расправилась, посмотрела на загубленное место и, сжав губы, ушла в дом.

Томка приехала, как и было условлено, вечером. Заехала на своих «жигулях» через приспособленные Валентином ветхие ворота, по свежей цветочной земле, к сараю. Зашла в дом, как к себе в кабинет.

— Ну, здравствуй, — сказала Насте, увидела Валентина, кивнула ему. — Показывай.

Настя выложила тугой колбасный круг на стол.

— Так, по девять восемьдесят. Вся такая?

— Вся.

— Сколько у тебя?

— Тридцать пять кило.

— Ого! Широко шагаешь. Штаны не порви. — Она достала бумажник, отсчитала деньги и кивнула Валентину: — Грузи. — И опять к Насте: — Твой? Ничё мужичонка.

А Настя ей в тон:

— Плохих не держим.

Валентин хмуро глянул на них, вышел и уже из-за дверей услышал Томкин хохот.

— Сука! — плюнул под ноги и пошёл отпирать ворота сарая.

В тот же вечер, когда было ещё светло, но звёзды уже загорелись на небе и месяц полукругом повис над потемневшими крышами домов, Настя вошла в истопленную баню, заткнула деревянный засов. И намылилась, напарилась до одури. Отхлестала своё тело до гуда, кровью вся налилась, захмелела. За нею следом — Валентин. И пока он плескался, Настя собрала на стол, поставила поллитру между хлебницей и огурцами, постель застелила новой простынёй. Поглядела на кровать, достала из шкафа подушку, натянула наволокну и примостила рядом со своей. Решилась.

Он вошёл с блёстками выступившего на лице пота, красный, с непокрытой головой.

— С лёгким паром.

Тот кивнул, глянул на стол, увидел через открытую дверь две подушки на Настиной постели, всё оценил молча.

Сели за стол. Настя придвинула к нему бутылку.

— Не бабье дело открывать.

Он сорвал пробку, разлил в стаканы до половины.

— За наше с тобой крещение. Глядишь и заживём. Вот не думала — не гадала...

Они чокнулись и выпили.

— Раньше думала: если воровать, то как потом жить? Людям в глаза глядеть? А вот... и ничего. Эх, жизнь! А кто у нас живёт хорошо? Да никто. По всей улице Микулины да я считались богатыми. Микулин, он мастер, пашет, дай бог как. И она у него всю жизнь на фабрике. Дочка одна. Дом, обстановка, «москвич», вот и всё. С огорода приторговывают, но ведь и на огороде горбить надо. Свет не мил будет. А я? Какая я богачка? Дом? В доме пусто, сам видишь: что на мне, так

то давно выкинуть надо. Огород держу. Как свинья, всю жизнь в земле. Внуки ещё... эти всё вылизывают. Комбинатовским, тем легче: где кусок колбасы, где мяса, а где и буфет выручит. Томка, видел, как Райка, разодета. «Жигуль» у неё, у одной-то. Да век бы ей не накопить. Вот и получается: кто ворует — тот живёт. И я жить хочу. Ну, хоть чуточку. Успею ли? Боялась — совесть замучит, а она спит. И слава богу, пускай спит, а я поживу. А ты знаешь, я ведь изменилась...

Валентин внимательно посмотрел на неё.

— Да я что-то не заметил.

— Да, только не так, как ты думаешь, по-другому. Бывало, придёшь в магазин, в кошельке три рубля, и думаешь, что купить. А теперь иное, уверенная стала; правда, в магазинах шаром покати. Вот годика бы три назад эти деньги... — Настя вдруг встрепелась. — Ах ты гад такой! Ну паскудник! Я тебе, мать твою!.. — Она сорвалась с табурета. — Сашка, сволочь, по окнам шастает!

— Настён, подожди. — Валентин поймал её руку. — Сядь, я сам.

Он встал, достал из холодильника круг колбасы, руками отломил полбуханки — и в дверь.

— Ты зачем это?

Он не ответил, вышел. А когда вернулся, бутылки на столе не было, Настя сидела, строго глядя перед собой, доедала котлету.

— Ты вот что, дружок, распорядиться в другом месте будешь. Здесь я хозяйка! Не хватало ещё, чтобы этого привадить.

Валентин молча подсел и начал есть.

— Ты знаешь, сколько я с ним хлебнула? Сколько крови он мне попортил? Молчишь? Ещё раз — и выгоню, так и знай.

За окном мигнули всполохи дальней грозы. Где-то приглушённо громыхало.

— Никак, гроза собирается? — Он глянул на неё. — А может, стороной пройдёт?

Она молча встала, взяла свою тарелку и его прихватила, прямо из-под вилки, чуть тронутую, пошла мыть. Валентин посмотрел ей вслед, отломил кусок колбасы и заел его хлебом. Прожевал, обтёр руки о полотенце, что висело около умывальника, над плечом моющей чашки Насти.

— Спасибо, — сказал и пошёл в её комнату.

— Чего тебе там?! — Настя бросила мыть, вошла следом. — Я тебе что говорила?

Валентин скинул рубашку, штаны и — под одеяло, отвернулся к стене.

— Во сволочь-то какая! Ты что же делаешь?!

— Ты, Настён, не шуми, спать хочу.

— Ах ты... — она сорвала с него одеяло, но он успел уцепить его и потянул на себя.

— Порвёшь, Настён, не балуй.

— Иди отсюда, говорю!

— Ты как дитё малое. Правда, спать хочется.

Она бросила одеяло, вышла. И всё в доме стихло. Она молча сидела за кухонным столом, а он разглядывал невидимый потолок. И только изредка это безмолвие нарушала надвигающаяся гроза.

Яркая молния раскалённой нитью глубоко прорезала тьму, осветила округу, Настю, сидящую за кухонным столом. Она отпрянула, осмотрелась, но тьма,

густая, беспроглядная, заполнила всё пространство, и почудилось ей, будто вдыхает она эту тьму, густую, зловещую. Как ни ждала грома, испугалась, когда рвануло тишину в клочья и разбросало над домом. Она поспешно поднялась, вошла в комнату, сняла халат и легла рядом. И замерли они, прислушиваясь к грозе, чувствуя друг друга. Он повернулся к ней, обнял. И, больше не таясь, она крепко прижала его к своей груди, вдыхая банный, отдающий табаком дух.

А тучи всё теснее грудились над черепичной крышей Настиного дома.



Усатый

Сменный мастер приходил к восьми часам, широко открывал входную дверь и ступал тяжёлыми пимами в маленькую комнатку мастеров. Наш рабочий уголок, язык не повернётся назвать его кабинетом, походил на тамбур пассажирского вагона. Дверь не успевала открыться, чтобы запустить человека, а тёплый, нагретый жужжащими батареями воздух вмиг оказывался на воле, но зато прокалённый морозцем и, кажется, посиневший, будто лёд на пруду, свежий воздух плотно набивался в комнатку, грелся о тёплые стены и спины людей.

Сменный мастер Виктор Карлович, крупный, ленивый немец, приходил всегда загодя, ставил на свободный стул пузатый портфель с едою (мы работали по суткам и продукты брали с расчётом на всю смену), уходил переписывать остаток вагонов на станцию.

Вслед за Виктором Карловичем на пороге появлялся невысокий худой человек. Даже через густой налёт угольной пыли на лице, от которого живыми оставались только глаза, можно было понять, что он немало попил горькую на своём веку, поскитался по белу свету. Он входил в комнату быстро, чуть приоткрыв входную дверь, останавливался напротив меня и молча ожидал. Настоящее его имя и фамилию знали только мы, мастера и бухгалтерия, остальные звали его запросто — Усатым. Усы у него действительно были, но чуть видимые, как у подростка, редкие, с рыжим оттенком, а подбородок и шея чернели

от ввевшейся угольной пыли и, может быть, поэтому всегда казались заросшими.

Усатый терпеливо ждал, пока я заполню наряд на разгруженные им за ночь вагоны. Последние годы он жил тут же, в механическом цехе угольного склада, ел в грязной комнатке около раздевалки, к дверям которой была прибита табличка: «Комната для принятия пищи», отдыхал в сушилке — узком коридоре с дополнительным рядом отопительных труб, на которых грузчики сушили свою промокшую под дождём или влажную от пота одежду. У него не было квартиры, и он нигде не снимал угол, у него не было даже паспорта. Бухгалтерия, которая знала его уже не первый год, давно притерпелась к нему и выдавала деньги без предъявления каких-либо документов.

Никому и в голову не приходило интересоваться его прошлым, хотя, наверное, догадывались о нём, потому что прошлое у всех бичей похожее. Он частенько выпивал, но ни разу не валялся пьяным (а это, по нашим складским меркам, признак чуть ли не аристократического поведения), играл с грузчиками в домино и карты, иногда проигрывался и после весь месяц работал на долг; он часто шутил, но все шутки у него выходили какими-то злыми.

Помню, в декабре, накануне Нового года, выйдя из своего тёплого кабинетика, я увидел, как Усатый забрасывает пустые бутылки на заснеженную крышу механического цеха.

— Что ты делаешь? — спросил я, подозрительно оглядывая хмельного бича.

— Не бойся, начальник, — недовольный моим внезапным появлением, ответил Усатый. — Копилка у меня там, на чёрный день.

Я проследил, как оставшиеся бутылки улетели на крышу, и пошёл по своим делам, но он вдруг окликнул меня:

— Слышь, начальник, ты не звонил бы про моё хранилище.

Я не ответил, лишь согласно кивнул. Ничего предосудительного в том не было — видимо, Усатый решил подкопить бутылок поболее и сдать весною на внушительную сумму. Я прикинул аппетит нашей бригады грузчиков и отдал должное остроумию Усатого.

— Хорошо, — вслух согласился я, — только часть бутылок спрячь на другой крыше, эта может не выдержать.

Угольный склад — большая площадь, сплошь засыпанная углём и рассечённая во всю длину двухметровой высоты эстакадой. Когда тепловоз заталкивал на эстакаду вагоны, с верхом гружённые углём, казалось, гигантская гусеница вползает в лабиринты чёрных угольных гор. Люки в полу вагонов открывались, и, поднимая тучи плотной, как подушка, пыли, уголь обильным потоком высыпался, вагоны зачищали грузчики, и после уже опустошённая гусеница выволакивалась со склада вон.

Впервые на угольном складе Усатый появился восемь лет назад вместе с группой линиялых алкашей, которые «покалымили» недельку и, почуяв нелёгкий труд, убрались восвояси. Усатый остался. Первое время он жил где-то неподалёку и прибегал на разгрузку, как только устанавливали на эстакаду вагоны с углём. Но, чуть пообтеревшись, он как-то незаметно для нашего внимания перебрался жить в мехцех.

В раздевалке поставил кабинку для одежды, куда вошёл весь его гардероб, а в бойлерной на водяном баке устроил себе постель из рваных фуфаек и толстого лоскута ватина. Ватин, правда, скоро украли, и, надо признаться, обворовывали Усатого в год раза два. Впервые это случилось, когда директор, узнав о прижившемся у нас биче, вызвал милицию, и Усатого забрали в тот же день. Через неделю грузчики решили, что тот уже не вернётся, вскрыли его кабинку, покопались в грязном белье, нашли две поллитровки водки, пачку сигарет и сорок рублей денег. Водку и деньги пустили «на коллективизацию». Усатый появился через месяц, остриженный, худой и со справкой вместо паспорта. Он никому не пожаловался на грабёж, навесил новый замок и вновь зажил размеренной жизнью бездомной, но трудолюбивой собаки.

Случилось так, что я ближе всех познакомился с Усатым. Была обычная смена, днём работала бригада грузчиков, а в ночь оставшиеся вагоны начал разгружать он. Всё шло своим обычным чередом: я заполнил нужные бумаги, отчёты, наряды, посмотрел телевизор, почитал недельной давности газетку и лёг спать. Около трёх часов меня разбудил стук в окно.

— Начальник, — звал Усатый.

Я открыл дверь, включил свет и, протирая глаза, уселся на стол.

— Разгрузил? — спросил я и глянул на часы.

— Начальник, я пас.

Только теперь я поднял на Усатого глаза, и с меня разом слетела сонливость. Он стоял, прислонившись к стене, по лицу стекали капли чёрного от пыли пота, а из носа струилась удивительно алая кровь.

— Что с тобой?

— Кранты, начальник, — прохрипел Усатый и вышел на улицу. Я за ним. Он, пошатываясь, дошёл до бойлерной и лёг на валявшуюся на полу ватиную тряпку.

— Сейчас, — я, наконец, сообразил, что нужно делать. — Скорую вызову.

— Нет, начальник, не суетись, не успеет. Что будет, то будет.

Эти слова он произнёс таким твёрдым голосом, что я не посмел его послушаться. Устроив поудобнее лежанку, я сбегал за водой, обмыл его лицо и положил прохладный тампон на переносицу. Усатый, кажется, задремал, кровь остановилась, но был он по-прежнему чрезвычайно бледным. Я сбегал на эстакаду, собрал разбросанный инструмент и под ослепительным светом прожектора увидел большое красное пятно на деревянном трапике около головного вагона. Крови он потерял много. Вернувшись к больному, я пощупал его пульс.

— Что с тобой случилось? Сердце?

— Лагеря, — неопределённо ответил он. — Я здорово там оставил, себе шиш взял.

— За что же ты сидел? — участливо спросил я.

— За что? За воровство. Первый раз за лошадей, угнали. Пацаном ещё... В соседнюю деревню драться ездили, тебе не понять, мы всегда деревня на деревню. Дурачьё, одним словом. Лошади колхозные, пять лет строгого.

Усатый умолк и закрыл глаза. Я тоже затих, боясь нарушить тишину, понимая, что он сейчас вспоминает те давние деревенские годы, когда лихо скакал

на колхозной гнедой по высоким луговым травам, в которых и осталась его настоящая жизнь.

— А ты знаешь, какие у нас покосы были? — прошептал Усатый.

Я содрогнулся от того, что так верно угадал его мысли.

Что-то хрипнуло в горле больного, и кровь вновь тонкой струйкой сбежала по подбородку. Я намочил в глубокой чашке, что стояла у изголовья, лоскут материи и наложил ему на переносицу.

— Тебе много ли ещё до пенсии?

— Мне-то? — Он поправил холодную примочку и вновь закрыл глаза. — Девять лет.

Я невольно оглядел его: худая фигура, постариковски морщинистое лицо, — и вспомнил Виктора Карловича, который, уезжая после смены на дачу, нагружал полный рюкзак угля и, нисколько не пригибаясь, шёл к станции, будто пух нёс. Я вспомнил его мощную грудь, из которой часто и совсем не вовремя нёсся храп. На собраниях он непременно засыпал, и ему всякий раз делали внушения «как руководителю среднего звена, как опытному члену партии».

— Начальник, у меня в кабинке капли, флакон в целлофан завёрнут... принеси, коль уж такой жалостливый.

Я сделал вид, будто не услышал насмешки в его словах, быстро направился в раздевалку, открыл его шкаф, покопался на верхней полке, нашёл лекарство, собрался было закрывать, но увидел на задней стенке старую фотографию женщины с грудным ребёнком на руках. Ребёнок был запелёнут, а женщина

с широким скуластым лицом улыбалась, прислонившись к щербатому палисаднику, за которым виднелся рубленный дом.

Знать, не только деревенское детство и тюремные годы терзали душу Усатого, но спросить о том я так и не решился.

— А ведь я сегодня ещё буду жить, — улыбнулся Усатый. — А то ведь думал, всё, кранты. Одному помирать страшно...

Через несколько дней после случившегося Усатый вновь разгружал вагоны, появлялся вслед за Виктором Карловичем, но на моё предложение присесть по-прежнему молчал и садился только в том случае, если действительно сильно уставал. У меня даже появилось подозрение, что он стесняется встречи со мной из-за откровенности в минуту слабости в ту памятную ночь. Возможно, что я ошибаюсь, но всякий раз в восемь часов утра вслед за Виктором Карловичем, который в полусонном состоянии прожил всю свою сознательную и несознательную жизнь, в комнате появлялся избитый судьбой, измождённый человек, потухший, доживающий. Взгляд Усатого был равнодушно-холодный, такой не похожий на подёрнутый послеобеденной поволокой, всегда готовый замутиться сном взгляд Виктора Карловича.

С тех пор много угля разгрузили на складе, тысячи вагонов-гусениц опустошили свою утробу на высокой эстакаде. Неделю назад Усатый исчез. В этом не было ничего удивительного, такие исчезновения случались и раньше, то были дни загулов и самоотпусков. Дни, когда милиция забирала его для «выяснения личности», а выяснив, выдавала ему справку

вместо паспорта, которую он тут же терял или выбрасывал. Это небрежение было для нас удивительным, он ненавидел паспорт и не признавал прописку. «Я свободный человек!» — вспоминал я его слова и завидовал. Да, завидовал: вот он, Усатый, бесправный бич, которого с территории склада гнал всякий подвыпивший грузчик, мог, единственный среди нас, похвастаться действительной свободой. Нет, пожалуй, я преувеличиваю свою зависть, вспоминая старую фотографию на задней стенке шкафа, — понимаю, что абсолютная свобода лишила его многого в этой жизни.

Прошла неделя, как исчез Усатый. Более всех чертыхался Виктор Карлович, вагоны у которого по ночам простаивали.

Теперь каждое утро он начинает с одного и того же вопроса:

— Усатый не появился?

— Нет, — отвечаю, будучи совершенно уверенным, что Усатый на склад более никогда не вернётся. Вот такая ни на чём не основанная уверенность, но, странное дело, всякий раз, когда Виктор Карлович уходит на станцию переписывать вагоны, я в ожидании смотрю на дверь, и мне кажется, что сейчас она распахнётся и на пороге появится Усатый, весь чёрный от угольной пыли.

Усатого, бездомного и беспаспортного бича, нашли на исходе второй недели. Его вытащили из-под кучи угля, под эстакадой, куда, видимо, он упал и был засыпан углём. Он окоченел и был изуродован гусеницами бульдозера. На его подбородке настыла красная налесь; я понял, что с ним произошло, — значит, умер он всё-таки в одиночестве.

Его увезли в морг. Грузчики хмуро говорили о случившемся, я распорядился вскрыть его кабинку. Там, как и в первый раз, нашли две бутылки водки и сорок рублей денег. Я отправил грузчиков на крышу собирать пустые бутылки. Вот и пришёл тот чёрный день, о котором с усмешкой говорил Усатый. Деньги я отправил в морг, чтобы тамошние работяги хорошенько отмыли пыльное тело грузчика. Я аккуратно оторвал фотографию от задней стенки шкафа, решив непременно положить её к покойнику в гроб.

Вернувшись из столярки, где мужики бойко стучали молотками, сооружая Усатому домовину, я увидел спящего Виктора Карловича. Он сидел за столом, запрокинув кудлатую голову назад, и его храп забивал жужжание отопительных батарей.

— Да послушайте, вы! — не выдержал и закричал я на спящего.

— А? Что? Вагоны? — Виктор Карлович спросонья начал искать на столе карандаш.

Я вышел на улицу...

Катастрофа

Он очнулся оттого, что горячая вода затекала за воротник. Кругом снег — перед глазами и там, чуть дальше, на склоне в жёлтых бликах и неясных огненных сполохах. Где-то рядом горел костёр, его неровный свет выхватывал разлапистые сосны, увалы сугробов, обломки веток. Мирно и тихо, как в детстве. Только горячая струя на шее и тяжёлый ревматический гул во всём теле. Он пошевелил ногами, ощутил боль, но её можно было терпеть. «Руки онемели или замёрзли», — догадался он и медленно перевалился на спину. Хрустнул позвоночник, но он уже знал, что остался жив. Было больно и радостно. Кости, жёстко стрельнув болью, встали на свои привычные места, он чувствовал облегчение в суставах. Но когда попытался встать, вдруг стошнило кровью, чёрной, густоватой. Тошнота не покидала его, и когда он встал, и когда сделал первые шаги.

Ноги вязли в сугробах, он быстро уставал, садился и ел сухими губами снег. За соснами и невысоким холмом горел самолёт, языки пламени облизывали непроглядь неба, выдыхая чёрный едкий дым. Вдруг он вспомнил о красивой молодой женщине, своей соседке...

Она зашла в самолёт последней, видимо, на досадку. Шла по проходу в высокомерном безразличии, кинула брезгливый взгляд на воняющий табачком туалет. Он встал и пропустил её на единственное свободное место около иллюминатора. Она не промолвила

ни слова и не скрывала своего пренебрежения: к самолёту, стюардессе, туалету и к нему — её случайному соседу. Не сняв богатой шубки, плюхнулась на сиденье и отвернулась. Он посмотрел на её ухо с маленькой, как бусинка, серёжкой и ухмыльнулся. В него словно вогнали беса, он с шумом открыл тёплую банку пива, отхлебнул пену и отрыгнул. Она вздрогнула. Он почувствовал себя отомщённым, а когда приложился к банке вновь, боковым зрением уловил, как она брезгливо поморщилась. Он оторвался от пива и, протянув банку, предложил:

— Будешь?

Она округлила свои тёмные глаза и с презрением измерила его взглядом.

— Как хочешь, — не мог угомониться он, — но у меня больше нет. Потом не проси.

Она молча смотрела в окно. Он тоже повернулся к иллюминатору, разглядывая бегущие мимо фонари взлётной полосы, и почувствовал её плечо.

— Тебя как зовут? Лала, Нини или Аграфена?

— Я вызову стюардессу, — ответила она.

— Тебя что, уже тошнит?

Она обессиленно вздохнула, сняла шапку и крутанула головой с тем умыслом, чтобы он отстранился от неё: по норковым плечам рассыпались лёгкие пряди волос. Теперь он увидел её лицо.

— Я тебе не нравлюсь? — развязно поинтересовался он.

Она молчала.

Его физиономия не могла нравиться, потому, наверное, он привык к бабам попроще, а таким фи-фалкам, как эта полукровка, мог показаться только

деревенщиной, жлобом. Он мечтал о красивых женщинах, чувствовал их недосыгаемость и потому презирал. Платил им той же монетой.

Не дождавшись от неё ответа, достал из сумки кипу газет, «свежих», как врала киоскёрша в зале аэропорта, раскрыл первую попавшуюся. На развороте — большой снимок разрушенного дома с остатками военного «Руслана». «Катастрофа в Иркутске» — гласил тяжёлый шрифт заголовка. Пробегая глазами полосу, он произнёс с садистским удовольствием:

— Погибнуть можно не только в самолёте, но и от самолёта. Слышишь, Лала? Уже насчитали шестьдесят семь трупов и собрали кучу фрагментов.

Она молчала. Он перелистнул страницу и прочитал вслух:

— Пропал «Як-42», принадлежащий украинским авиалиниям. На борту было сорок человек, их судьба неизвестна.

Она молчала.

— Продолжать светскую беседу? — спросил он.

Она нажала кнопку вызова бортипроводницы.

Он сложил газету, взял новую, но первая страница была всё с тем же снимком «Руслана».

— Что случилось? — спросила стюардесса.

— Я хочу пересесть.

— Свободных мест нет. Вам здесь неудобно?

— Тогда скажите, — она ткнула в него пальцем, сверкнув красивыми глазами, — чтобы он заткнулся и не читал вслух.

— Молодой человек, не читайте вслух, — попросила стюардесса.

— А «СПИД-Инфо» можно?

— Не можно, — стюардесса с укоризной посмотрела на него.

— Хорошо, а пиво у вас есть?

— Только не давайте ему пива! — встрепенулась соседка.

— Так это ваша жена? — удивилась стюардесса.

— Пока нет, — ответил он, — но дело к свадьбе.

Он проводил взглядом стройную стюардессу. Впрочем, весь салон провожал её долгим взглядом.

Они молчали. Он разглядывал газетный лист с голлой девушкой, украшенной тортовыми розочками, которые с наслаждением слизывал плутоватого вида тип.

Ровный шум моторов вдруг захлебнулся и самолёт накренился. Она испуганно вцепилась в его рукав.

— Не бойся, воздушный поток, — сказал он, машинально взглянув на часы. Он ничего не понимал в воздушных потоках.

Самолёт продолжал заваливаться на правое крыло и терять высоту, все внутренности вжались в грудь, затруднив дыхание. Он уже давил соседку своим телом, но попытался упереться в борт рукой. Последнее, что помнил, это запах духов и нежность кожи её щеки. Он даже, кажется, попытался её поцеловать, или только мысль мелькнула, видимо, только мысль.

— Жаль девчонку, — вслух сказал он, поднялся и пошёл к огню.

Самолёт не горел, груды чёрного искорёженного железа валялись всюду, горели сосны. Было больно глазам, разъедал едкий, остро скоблящий горло дым. Самолёта не было, только чудом уцелевшая хвостовая часть напоминала о нём.

Он бродил среди дымящегося металла и привязанных к креслам трупов, искал знакомую норковую шубу. Надежда была: если он остался жив, значит, и она должна остаться жива, — они были вместе. Он вдруг остолбенел, посмотрел на свои руки.

— Почему я жив? — прошептал он, обвёл глазами страшную картину катастрофы. — Почему?

Она лежала на спине в снегу с непокрытой головой. Он присел на колени и осторожно убрал волосы с её лица. Отпрянул. Она смотрела неподвижно, только огненные блики отражались в глазах.

— Ты жива?

— Мне холодно, — прошептала она, ни разу не моргнув и даже не глянув на него. Ничто не шевельнулось на лице, только губы.

— Ты жива?! — закричал он.

— Да, — чуть слышно ответили губы.

Он не знал, почему заплакал, от радости наверное. Сорвал с себя шарф и подложил ей под голову.

— Потерпи, миленькая, потерпи, доченька.

Почему «доченька», он не знал, так вырвалось само собой.

Он потрошил полуобгоревшие чемоданы, собирал тряпье, укутывал ей ноги, ледяные руки. От быстрых движений его сильно тошнило, почему-то рвало кровью.

— Ну, как ты? — присел, склонился над нею. Из обмоток выглядывали только глаза, большие, темные.

— Ноги, — прошептала она.

— погоди, я вот отдохну и костёр устрою, отогреться. Как руки, не отморозила?

— Не знаю.

Он расстегнул пуговицы дублёнки, размотал её руки и просунул их себе под мышки.

— Погоди, сейчас заломит.

Через минуту почувствовал, как дрогнули её пальцы.

— Слава Богу, — вырвалось у него, — будем жить. Ты теперь потерпи без меня, костёр нужен, а не то замёрзнем к чёртовой матери, слышь, Лала?

— Слышу, — прошептала она, и он увидел две бусинки слёз, понял: она благодарила его.

Он облюбовал хвостовую часть самолёта. Воняло какой-то горелой гадостью, но здесь можно было спрятаться от потянувшего ветра. Он набросал еловых веток, поверх — тряпье, которое собрал вокруг самолёта. Когда волочил её по снегу в только что свитое им гнездо, она стонала. Живых больше не было.

Сильный костёр у пролома скоро нагрел их укрытие. Она уснула, усталость сморила и его. Он не знал, сколько времени спал, но, судя по ярому огню костра, недолго. Она всё так же была в забытьи, и теперь он, не стесняясь, мог разглядеть её: глаза закрыты, губы чуть вздрагивали, будто шептали молитву, влажные волосы рассыпались у изголовья. Он погладил их, нагнулся и вдохнул теплоту её духов.

Серый потолок с трещинами у стен, сортирный одинокий плафон над головой, экономно обрезанные под самый подоконник бурые шторы, стол, на нём телевизор с отломанным переключателем каналов. Он сел в кровати, потёр лоб, потянулся к тумбочке за «беременной» бутылкой коньяка, приложился

к горлышку — обожгло и затошнило. Несколько секунд слушал, как приживается спиртное в полыхающей груди, и после откинулся на подушку. Вспомнил прошедший вечер.

Пить он не собирался, приехал в аэропортовскую гостиницу, чтобы наутро, не суетясь, улететь. И всё так бы и случилось, если бы не телефонный звонок, поднявший его с кровати.

— Алло. Добрый вечер, вас беспокоит служба досуга при гостинице «Полёт». Не хотите провести вечер в компании милой девушки?

Его раздражение ещё не улеглось, и он достаточно грубо ответил:

— Я импотент.

На другом конце провода молчали, видимо, звонившая женщина соображала туго. А у него на лице появилась самодовольная улыбка.

— Но у нас хорошие девушки.

— А гимнастки есть?

Женщина опять замолчала.

— Извините, одну секундочку.

Он услышал в трубке отдалённый разговор и смех. И опять самодовольно улыбнулся.

— Есть. Заказывать будете?

— У неё какой разряд?

— Секундочку, — и скоро ответ: — Первый.

— Присылайте.

Он оделся, сходил в буфет за коньяком, и, как теперь вспоминалось, это была не единственная ходка.

Голая перворазрядница стояла на руках, маленькие грудки по-козьи торчали в разные стороны. Ему было жаль её. Он тоже пытался стоять на руках,

но у них ничего не получилось; запыхавшиеся и совсем обессиленные, они лежали потом на ковре у стены и курили.

«Её звали, эту девушку по вызову... — Он потерял виски, силясь вспомнить, и вдруг: — Лала».

— Лала? — вслух повторил он и увидел в лужице коньяка свой билет на самолёт.

Мысли смешались: «Лала там, в тайге, в хвостовом обломке!»

Он примчался в аэропорт, попытался что-то объяснить в справочной, потом в милиции, но там ему пригрозили вытрезвителем. Он вышел на привокзальную площадь, закурил, думая о красивой женщине в норковой шубе, которая осталась одна, и некому теперь поддержать костёр, сказать слово. Она, наверное, уже потеряла его и плачет. Его тошнило от утренней порции коньяка, жгло грудь.

Дальше всё произошло неожиданно и, как ему казалось, глупо. Ему завернули руки, надели наручники и заперли в тесный узик.

В просторном кабинете, куда его завели, было несколько человек, все, кроме одного, в форме лётчиков.

— Что случилось с самолётом? — спросил высокий мужчина, внимательно разглядывая его.

— Я не знаю, но на восемнадцатой минуте он завалился на правую сторону и начал падать.

— Кто этот сумасшедший?

— Да опоздавший на рейс.

— Откуда знаешь, что самолёт пропал из поля действия радаров на восемнадцатой минуте после взлёта?

— Я посмотрел на часы, когда самолёт накренился, машинально. Мужики, там все погибли, только женщина, Лала. Она ранена. Спасите её.

«Мужики» склонились над картой.

— Вот здесь искать надо, — услышал он, — в шестьдесят четвёртом квадрате. Если, конечно, действительно отказали правые двигатели.

— Там две сопки, — вмешался он, — как два верблюда. Я узнаю это место.

— Возьмите с собой этого сумасшедшего или террориста, потом выясним. Обыщите, наручников не снимать.

Вертолёт, как ему показалось, тяжело оторвался от бетонных плит и низко поплыл над лесом. Всё тот же высокий лётчик расспрашивал о самолёте, падении и женщине в норковой шубе, особенно внимательно посмотрел на него, когда он упомянул про костёр, который, наверное, уже потух.

Он первый увидел двугорбые сопки. Перед глазами проплыли груды копчёного железа, сломанные обгоревшие сосны. Сердце билось глухо по рёбрам, пульсировали виски.

— Снимите, — попросил, протянув окольцованные наручниками руки, — не убегу, некуда бежать.

— Снимите, — приказал лётчик.

Когда вертолёт, подняв снежную бурю, приземлился и открыли двери, он рванулся к дымящемуся пролому.

Запахавшийся, присел и трясущейся рукой коснулся её плеча.

— Ты куда пропал? Мне было страшно, — её глаза обиженно заблестели.

— Я здесь, милая моя девочка, я теперь с тобой. Я привёз тебе спасение. Ты слышишь меня? — он наклонился и поцеловал её горячие от слёз губы.

Она медленно подняла руку, погладила его небритую щеку и улыбнулась.

— Я слышу. Я сразу догадалась, что это ты.

Он проснулся вмиг, будто его толкнули в плечо. Костёр зиял тёмным пятном растаявшего снега. Прогоревшие остатки дерева рождали тонкую ниточку робкого дымка. Он поспешно встал и собрал по краям кострища полуобгоревшие тонкие сухие сучья, разгрёб золу и сунул их в горячую сердцевину пепелища. Тошило, тяжёлая слабость обнимала плечи. Он вернулся в самолётный разлом.

Лала лежала на спине и смотрела широко открытыми глазами. К нему просто и буднично пришло понимание: умерла. Чудеса на свете бывают, но с ними чуда не произошло. Он присел около девушки и долго смотрел на неё. То ли обида, то ли усмешка коснулась его губ, дрожащими от слабости пальцами он закрыл её послушные веки. Жестокая действительность заставляла теперь думать о собственном спасении. Сердце задохнулось от нахлынувшей тоски и обиды. Он с трудом поднялся на ноги, ещё раз глянул на красивое лицо девушки, у которой так и не успел узнать настоящего имени.

Обломки самолёта, трупы людей, горелые стволы сосен — всё это припорошил мягкий снег. Снег и теперь густо валил с мутного неба. Мир вокруг казался замкнутым, уютным и тёплым. Разлапистые высокие сосны оцепенели, будто боялись стряхнуть со своих

плеч белую осыпь снега. Красиво. Кругом было удивительно красиво. Окружающий его мир жил своей жизнью.

— Вот и всё, — выдохнул он вместе с клубом пара тяжёлые слова, посмотрел вверх, впервые подумав о смерти без страха и обиды.

Он смотрел в простоквашное небо, не замечая, как снежинки, коснувшись его лица, превращаются в слёзы. Молиться он не умел и потому вместо слов захлебнулся глубоким вздохом, поник.

Он вспомнил дом, где его ждали, любили, верили, — и эта вера теперь не утешала. В него всегда верили, и он всегда чувствовал эгоизм этой веры. Но нестерпимее всего в той, как ему теперь казалось, прошлой жизни было желание заработать денег, много денег. Но почему именно теперь, среди бескрайней тайги, он отчётливо понял, как бездарна, пуста, суетна и бессмысленна была жизнь? Его жизнь.

Он не хотел больше сопротивляться, безразличие подкосило ноги, и он лёг на снег, сжался комочком, подтянув под себя колени. Было тепло. Он наблюдал, как крупные снежинки бесшумно ложились рядом с его лицом. Он закрыл глаза.

А жил ли он? И кому нужна была его жизнь, что она несла в себе? Он шёл к собственной смерти семимильными шагами, но почему только теперь стала понятна ему его бездарная жизнь? Неужели же для этого понимания нужно было грохнуться оземь с десятикилометровой высоты! И почему... он остался жив?! Неужели не выхлебал ещё полную чашу?..

Эта мысль разбудила его. Он открыл глаза и увидел сидящую напротив собаку.

Волк смотрел на него злыми глазами, влажный язык болтался, свисая из открытой пасти, как это бывает у собак в жару, впалые бока нервно вздрагивали облезлой шкурой, узкая полоска живота была подтянута к позвоночнику. Они минуту смотрели друг на друга.

— Ты за мной пришёл? — спросил он волка.

Тот стыдливо опустил голову, но не отвёл острого взгляда.

— Видать, и у тебя дела хреновые, брат...

Он с трудом, но без страха поднялся и медленно побрёл на мутное пятно невидимого солнца. Волк, как преданная собака, шёл следом, изредка хватая влажным языком холодный снег.

В отчёте МЧС мало кто обратил внимание на строку, в которой упоминался уходящий в тайгу чуть видимый след человека и собаки. Все подумали про охотника, который по какой-то причине не сообщил о месте катастрофы.



Максимов

Перед тем, как попасть во двор дома Максимова, мы проезжали тёмную арку, именно здесь у него будто включалась какая-то релюшка, и он всякий раз говорил: «Вот это место называется «Дворянским гнездом». И в подтверждение того называл фамилию соседа, высокопоставленного чиновника из местной бюрократии.

Я скоро в том убедился, хотя и не сомневался в словах Максимова. Когда под утро мы, пьяные, вывалились из его джипа и я своей лужёной глоткой хватил разудалую цыганскую песню, на второй строчке куплета из соседнего подъезда выскочил молоденький милиционер с дубинкой и пистолетом на поясе.

Но увидев стопудового громилу Максимова с огромной, как свадебное блюдо, физиономией осёк служебный пыл деликатным вопросом: «Что случилось?»

Максимов развёл руками, будто обнял весь тёмный двор, и прогудел: «Да вот... домой приехали».

Я смолк, хотя желание закончить куплет не покидало меня до самого утра.

Большая квартира Максимова была неряшливой. В ту ночь мы пили, сидя на кухне, Максимов прокручивал видеозапись из своей камчатской жизни, в которой до недавнего времени работал докером. Думаю, что на Камчатке его помнят все, даже те, с кем он не был знаком. Тому причиной его действительно богатырское тело и неуёмный, бесшабашный характер, широта души, которую иначе не называют как русской.

Свободное экономическое падение государства нашего коснулось и Максимова. Вдруг пришедшее от какой-то коммерческой сделки состояние укололо его, и начал он покупать дорогие вещи. Эти вещи должны были ставиться остороженько, аккуратненько в шкафы, горки, серванты, но они валялись кругом, ронялись, давились им самим и многочисленными гостями.

Я прожил у него несколько дней и даже сделал попытку хотя бы немного изменить его жизнь, прекратить ежедневное его ограбление. Думаю, что он и сам всё прекрасно понимал, но жить без компании, слушателя, пусть даже притворного друга не мог. И за эту слабость платил водкой, закуской, жильём и деньгами взаймы.

Год или два назад я сильно болел вопросом о судьбе России, о её народе и о дураках-правителях. Даже, помнится, написал несколько коротких и злых вещей. Здесь, на востоке, на краю земли, где я оказался далеко не в творческой командировке, после нескольких дней общения с Максимовым у меня вдруг опять защемило душу в раздумьях о русских, на которых я всегда злился до ненависти и которых любил до боли сердечной.

Ввалились мы однажды в придорожный кабак, где всё дёшево и доступно: и водка, и девки. И назвали это свободой! А поля заросли чертополохом, корабли заржавели, наши дети мечтают жить за границей. Но благ, кажется, не уменьшилось, их всё так же много.

Страна моя удивительно богата... и непростительно равнодушна к себе самой. Да проснись же, Россия, моя Родина! Страхни с себя хмель и лень! Неужто

так обезводела, что не преодолеть унижений и сраму? Так и будут глумиться над тобою бездари и лиходеи? Неужто обескровела так, что не осталось ни грамма былой удали, трудолюбия, мудрости? Неужто и мы уйдём на братоубийственную войну за последний кусок хлеба? Страшно мне, страшно и Максимову. Мы знаем о грядущем похмелье. История повторяется... Но история может и не повториться.

Вот и новая беда: Максимов купил вагон водки. Половину продал, а со второй половиной начал бороться собственными силами да с помощью назойливых друзей. Тем, видно, и похож Максимов на мою огромную, богатую, всегда хмельную и всё-таки очень дорогую Россию.

Мы опять сидим на кухне в большой квартире Максимова, в которую к ночи набивается разный народ, пьём водку и говорим по душам. Он опять рассказывает про камчатские гейзеры, крутит видеоленту, на которой часто мелькает лицо покинувшей его жены.

Тут же проститутки ластятся, хмелеют и засыпают в пыльных углах. И вдруг я улавливаю во взгляде Максимова на всю эту вакханалию ту же боль и любовь, с какими он смотрел свой фильм, вглядываясь в лицо жены и камчатские пейзажи.

Но тут я уже ничего не понимаю. И хочется уехать. И я уезжаю. Максимов топчется на перроне, как мальчишка от безделья. Минуты проводов действительно утомительны. Отправление задерживается, наше положение глупее с каждой минутой. На лице Максимова улыбка, а в глазах какая-то обида. Он подходит к краю платформы и толкает вагон. Вагон качается,

а довольный Максимов хохочет. Но вот поезд тронулся, Максимов быстро подходит к окну и хлопает ладонью по стеклу так, что дрожит вся вагонная стена.

Стекло выдерживает, вагон набирает ход. Что хотел сказать-крикнуть Максимов, хлопнув по окну моего купе, я не знаю. Этот стук отозвался в моей душе невысказанной болью.

Он и теперь живёт во Владивостоке. Ходит высокий, грузный, чуть ссутулившись, пугает своим ростом и весом мирных жителей, угощает и пьёт, улыбается добрыми глазами на красном широком лице, громила Максимов, ребёнок Максимов.



Я встретил себя

С поворотом ключа в хлипких дверях дачного домика закрывался ещё один год жизни и прятался в тайник памяти, а ключ в целлофановом пакете — под домик. Всё по-хозяйски прибрано и аккуратно уложено на участке с надеждой, что никто не влезет, не взломает, не найдёт, не украдёт.

Знакомая, остывшая и потому, наверное, неприветливая тропинка от пролома в заборе дачного кооператива по тополиным тёмным посадкам вдоль железнодорожной насыпи выводит на ровный асфальт платформы полустанка.

Электропоезд уже слышно, но я знаю, что прибудет он минут через пять, с оглашенным свистом и на полном ходу, с вечным желанием проскочить мимо; завизжат тормоза, обожжёт нос железной гарью, и состав застынет, клацнув короткими автосцепками. Мне давно знаком норов дачной электрички, и я, опытный пассажир, всегда оказываюсь напротив шипящих вакуумными насосами дверей, потом — четыре заплёванные окурками железные ступеньки, грохот расхлябанных роликов дверей из тамбура в вагон и жёсткая, неудобная скамейка.

Мой любимый вагон — второй, потому что в демисезонье экономные машинисты отапливают только первые два вагона. Я люблю шестую лавку по правой стороне, и если она вдруг занята, томлюсь на другой всю дорогу. Сегодня мне повезло — «моя» лавка свободна, только мальчик сидит неподалёку и грустно смотрит в окно.

— Позвольте? — спросил я у мальчика и сел напротив него.

— Да, — ответил тот и взглянул на меня голубыми глазами.

Я удивился, потому что на меня смотрели до боли знакомые глаза. Потом я привычно расположился, прежде закинув свой упругий рюкзак на полку над головой, опять посмотрел на мальчика, пытаюсь вспомнить, где я видел эти глаза. И вдруг понял, что это мои глаза. Я ещё раз глянул и обомлел, напротив меня сидел я, да — я, но не теперешний, а когда ещё был двенадцатилетним мальчишкой.

— Юноша, — спросил я, — вас зовут Колей?

Мальчик удивлённо посмотрел на меня и кивнул:

— Да.

— Ты едешь с дачи, ты только что спрятал лопаты и грабли в дровах, а ключ от домика завернул в целлофановый пакет... Нет, так теперь не говорят, это я в своём детстве заворачивал ключ в целлофан, а ты, верно, завернул его в полиэтиленовый пакет и подсунул под дом.

Он с тревогой посмотрел на меня и обернулся на пассажиров в вагоне.

— Не волнуйся, я хороший человек, я сам только что спрятал ключи в щели между фундаментом и домом, и меня тоже зовут Колей, ну, может быть, дядей Колей.

Мальчик ещё раз внимательно посмотрел на меня и смущённо отвернулся к окну. А за окном мелькали прозрачные ветви деревьев и потемневшие от дождей деревенские низкие дома с покосившимися заборами и грязными дворами.

Когда-то, очень давно, я, как и этот юный Коля, ездил в электричке на дачу. Я чувствовал всю полноту власти и самостоятельности на наших четырёх сотках, уже тогда я планировал заботы на лето, и мне нравилось восхищение соседей моим трудолюбием и хозяйственностью. Мы жили бедно, мы жили трудно, но мы жили весело и с удивительным и непреходящим ожиданием счастья.

Глядя на знакомое лицо, я знал, что этот маленький человек очень стесняется своего крупного носа, боится девчонок, но втайне всегда влюблён. Я знал, что он мечтателен, наивен и честен.

Я вспомнил, каким светлым и чистым ребёнком я был. Наивность моя и доверчивость не знали пределов. Я так любил людей, отчётливо помню это состояние души и ощущение, что вокруг меня все такие хорошие, добрые и умные люди. И не менее отчётливо помню то время, когда вдруг пришло понимание необходимости бороться за место на земле, за свой клочок неба над головой. И я променял всё небо на этот клочок. С такой оголтелой настойчивостью и энергией я приспособливал себя к окружающему миру, что и не заметил, как изуродовал себя. Я научился лгать, изворачиваться, подстергать и ненавидеть, научился быть вероломным и рачительным. Я окончил большую школу, но теперь я понимаю, ясно и жестоко понимаю, что учил не те предметы.

Я сидел молча и понуро, изредка поднимал глаза и украдкой глядел на юного соседа-себя. Я не мог и предположить, что когда-нибудь встречу себя совсем юного, я оказался не готов к этой встрече. Что сказать, как предупредить, как оградить этого маленького

Колю, своё детское отражение, от бед и несчастий? Как в двух словах рассказать, что такое жизнь и почему она такая сумасшедшая? Я не знал, как рассказать, и потому сидел и молчал. Трусливо молчал, потому что боялся, что этот мальчик сам испугается моих рассказов о жизни, не поверит и подумает, что только сумасшедший может рассказывать о сумасшедшей жизни, и убежит.

Мы подъезжали к городу, но вдруг я сообразил и торопливо снял с полки свой рюкзак, развязал горловину и в многочисленном ворохе вещей нашёл тонкую книжечку.

— Возьми, прочитай. Это я написал. Посмотри, на тыльной стороне обложки есть моя фотография.

Мальчик принял книжку и посмотрел на моё фото.

— И мы когда-то были рысаками, — пошутил я, оправдывая свои морщины и лысину.

— Спасибо. Это, правда, вы написали?

— Я, честное слово. Николай, я очень старался, когда писал её. Я писал её о себе, но то, о чём там написано, касается и тебя лично. Поверь мне. Ты поймёшь это, пусть не сейчас, пусть через несколько лет, но ты обязательно поймёшь. Я буду очень рад, если она поможет тебе. Ты её только не потеряй, хотя бы до времени...

Электропоезд медленно вполз на конечную станцию. Мы поднялись с жёстких скамеек и побрели к выходу. Двери впустили сырой холодный воздух улицы. Коля спрыгнул со ступенек вагона первым и, обернувшись, крикнул:

— До свиданья!

Я махнул ему рукой и, кажется, захотел остановить его. Потом долго стоял, наблюдая, как он быстро поднимается по лестнице перехода.

От меня удалялся я сам, и теперь уже — в вечное будущее.

«Терпи, сынок, — думал я, — терпи, у тебя впереди ещё целая жизнь — непрожитая жизнь».

Я утёр онемевшее от напряжения лицо. Что мне радостного было в ней, в этой неустроенной и запутанной жизни? — Ничего! Сколько страданий и горя? — Гора! Так почему же так щемит сердце и тоскливо сжимается грудь? Почему жаль, что она осталась позади? И я вдруг понял, я понял, что должен был сказать и о чём предупредить. Я должен был сказать, что главное в жизни — это любовь! Да, конечно, и без сомнения — главное — это любовь! Но ведь, чтобы он поверил мне, я должен был рассказать ему, что такое любовь. И что я стал вдруг и сразу счастливым человеком, когда понял, что такое любовь.

А как за несколько минут рассказать, что любовь — это искренняя доброта, бескорыстная щедрость и горячее милосердие? Любви не бывает, если твоё сердце не полнится осмысленным состраданием и твои поступки не полны разумной, полезной помощью людям и созидательным трудом, а чувства твои должны гореть ярко и радостно вечной надеждой на лучшее. И особенно ярко, когда кругом тьма! Понимаешь ли, сынок! Понимаешь ли, особая честь и радость — гореть именно в кромешной и беспощадной темноте! Если бы ты только знал, сколько безупречного и ясного восторга я испытываю нынче в осознанном труде, наполненном надеждой на лучшее.

Любовь не ищет выгоды и не торгуется, она бескорыстна! Любовь — и только любовь — есть смысл жизни, только ради неё и стоит жить. Вот на чём держится человечность и чем наполняется человеческое достоинство — любовью!

Я смотрел на опустевшую лестницу железнодорожного моста, на ступеньках которого остывали мои следы. Смотрел и думал, думал вдогонку ушедшему себе. Коля, Коленька, сынок! Удастся ли тебе уберечь свою чистую душу от горя и бед? Трудно. Попробуйся, может, у тебя получится, у меня не получилось. Я жил, страдал и часто мучился, потому что делал не то и не так, потому что понял смысл истинного счастья, когда стал стариком, но я успел-таки стать счастливым человеком! Ты молод, ты совсем ещё юн, тебе так много дано — целая и непрожитая жизнь! Жизнь, которую целиком и полностью ты можешь прожить радостно и счастливо, если поймёшь, что сила и ценность её — в любви, в твоей готовности служить высокому и непостижимому. А понять это и просто, и трудно. И дело не в том, в какое время ты живёшь, где живёшь и кто рядом, кто твой друг и какая власть над тобой, главное дело в том, для чего ты живёшь. Понимаешь ли, не оборачиваясь ни на кого, знать, для чего именно ты живёшь! Конечно, не последнее дело — кто у власти и кто рядом с тобой, и когда счастье твоего бытия родилось и живёт в твоей душе; а более того, когда это торжество забилось, застучало в твоей груди неравнодушным сердцем.

Настойчиво зарабатывай деньги, упорно делай карьеру, радуйся славе и творческим успехам, потому что все эти материальные блага позволят тебе

совершить много добрых дел и послужить вечности, потому что любовь нетленна, она и есть — вечность! Вот что стало теперь смыслом моей жизни.

Сегодня я встретил самого себя. И что я сделал, чем помог? Подарил книжку? Какая наивность! Мне кажется, что наивность — это единственное, что осталось у меня с детства, от меня самого настоящего. Но ведь я должен оставить что-нибудь для будущего. Я так хочу, чтобы люди жили счастливой жизнью! И я подарил книгу. Утешит ли это меня и оправдает ли многие годы, прошедшие в поиске смысла собственного бытия? Не знаю, а теперь это и неважно. Но так хочется, если бы вы только знали, как хочется, чтобы моё прошлое примирилось с моим настоящим и моё детское наивное счастье соединилось со счастливой судьбой старика!

A minimalist line-art outline of the Russian Federation, including its major islands and the Far East, positioned behind the text.

ШАЛЬНЫЕ
ГОДЫ

Дезодорант

Георгий Иванович, царство ему небесное, был человеком характерным, и правильно будет, если я прежде упомяну о его незаурядных способностях. Семнадцать лет он отработал заместителем председателя райисполкома, в его ведении находились девятнадцать отделов, комиссий и различных ведомств. Сколько раз мы посмеивались над ним — мол, «прозаседавшийся». А оценить по достоинству его терпение, незлобивость, мудрый житейский подход, желание помочь всякому, порою и недостойному, — это смогли только после его смерти. Так уж повелось у нас, спохватываемся, да поздно.

А видом он был типичный бюрократ, каких высмеивали карикатуры того, ещё советского времени: полный, с брюшком, неповоротливый, пенсионного возраста, в роговых очках, в курточке-безрукавке (такие были в моде у главных бухгалтеров), зимой — в валенках, даже в том случае, когда весь день он не выходил из кабинета. Воевал, имел награды за мужество, поговаривали, по молодости пивал изрядно, но главное, чего не смог изжить в себе даже в преклонном возрасте, — это удивительную любовь к женщинам. Не показную, не страстную, а врождённую, — то была его мужская сущность, природа, он не мог этого скрыть, просто был не в состоянии. Всякий раз во время совещания, покончив с вопросом, отпуская служащую из своего большого кабинета, он замолкал на полуслове, приспуская очки на нос и пристально разглядывал уходящую, пока за той не закрывалась дверь: оценивал ли, любовался ли — все эмоции читались на его

лице без перевода, — а после как ни в чём не бывало продолжал заседание с вопроса: «Так, на чём мы остановились?» Но память у него была отменная, он ничего не забывал, а нарочитая забывчивость — не более чем административный штамп. Женщины терпели его внимание, а может быть, им нравилось, мне трудно судить. Этот недостаток, или, если помнить о его возрасте, то достоинство, был известен и райкому, но, памятуя о его заслугах, там старались ничего не замечать. «Кто из нас не грешен, пусть первым кинет в меня камень», — философствовал секретарь по идеологии. И многим хотелось кинуть камень или что-нибудь поувесистей в секретаря-зануду.

Ко мне Георгий Иванович относился по-отцовски, и я действительно был похож на его сына, который служил где-то далеко за полярным кругом, и, скажем так, мне перепала часть не востребовавшей отцовской любви. Хотя это и обязывало.

У старика я пользовался полным доверием и, конечно, старался не подвести его, работал с огоньком, теперь так не умею. Но то были годы молодые, беспашные, торопливые: порой сначала делал — потом думал. Старик выслушивал мои оправдания, а затем долго поучал, и всегда его нравоучения начинались одинаково с обязательным нажимом на букву «о»: «Я тебе как отец родной, а ты, понимаешь ли, меня подводишь» и так далее, минут на десять. Причём с этих слов начинались вообще все его взбучки и разгоны провинившихся работников района — эдакий начальственный стиль. Мои проделки были безобидными, чаще всего просто экспромты. Вот хотя бы такой случай.

В Новосибирске на «Сибиа́ре» (что означало «Сибирский аромат») выпустили аэрозольный дихлофос,

а вскорости и дезодорант. Это теперь он называется почему-то освежителем воздуха, правда освежает так, что не продохнёшь, как от дихлофоса. Но на тех первых банках первый отечественный освежитель воздуха назывался дезодорантом. Баллончик в точности напоминал дихлофосный прототип, но этикетка другая. Я, видимо, первым заметил эту новинку на прилавке нашего магазина, купил её и, довольный, направился на работу.

Возле исполкома, как всегда, стоял тентованный зелёный уазик Георгия Ивановича с вечно дремлющим водителем Зыковым. Зыков — человек кроткий, исполнительный и молчаливый, систематически подвергавшийся допросам жены Георгия Ивановича, но ни разу не выдавший, где были и у кого ночевали и почему задержались в командировке.

Я широко растворил дверку машины и приказал: — Зыков! Выходи, травля тараканов. — И пару раз пшикнул в салон дезодорантом.

Зыков как ошпаренный сиганул вон и завопил, что тараканов в машине сроду не бывало. На что я резонно ответил:

— Зыков, я человек подневольный, приказ есть приказ. К машине не подходи, не ровён час, отравишься ещё... — И пошёл в исполком.

Мне понравился розыгрыш, захотелось повторить. Исполкомовцы, только что собиравшиеся с послеобеденной ленцой в своих кабинетах, будто специально ждали моего прихода. Я зашёл, как теперь помню, в собес и сообщил о санитарно-профилактических мероприятиях, то есть повсеместной травле тараканов, поругал народ за антисанитарное состояние служебного помещения, а после, подражая шефу,

сказал, что высший исполнительный орган превратили в забегаловку: в столах крошки, «понимаешь ли», остатки пищи — словом, бардак. После «протравил тараканов» и сообщил, что отравы новая, опасна для человека и сделана на урановом заводе под кодовым названием «Сибиур». Чёрт дёрнул это сказать, так бы принялись, и всё обошлось бы.

Через час позвонила Маринка, секретарша из приёмной, и прошептала, что шеф злой и почему-то вызывает меня. Маринка — симпатичная девчонка, к которой я при случае лез под блузку обниматься. Я спустился в приёмную, по ходу ущипнул Маринку — и к Георгию Ивановичу.

О том, что речь началась со слов: «Я тебе как отец родной, понимаешь ли...» — можно и не говорить. Потому что в тот день все служащие первого этажа после «профилактики новым противотараканьим средством» испугались за своё здоровье и разошлись по домам, — честное слово, как в детском саду. И Зыков туда же, машину так и бросил ночевать около райисполкома.

— Ты посмотри, что творишь! — волновался Георгий Иванович. — Парализовал работу районного Совета народных депутатов, понимаешь ли! Слышишь ли? Народных депутатов! Рабочий день — коту под хвост! Иди! Через час заседание комиссии по делам несовершеннолетних!

— Я не в комиссии, Георгий Иванович.

— А я тебя не в комиссию зову, а на комиссию!

— Так я уже совершеннолетний.

— Да что ты говоришь?! А ведёшь себя как дитя малое. Ладно, ввожу тебя в комиссию. Может, в комиссии повзрослеешь.

Прогульщик

До сих пор остаётся загадкой, как мы умудрялись жить без сна и отдыха. То провожали Новый год с факельным шествием, то организовывали творческие пикники с чтением собственных «гениальных» произведений, непременно и обязательно — спортивные соревнования, а особенно любили народный театр — вот где по-настоящему тешили своё самолюбие. И, похвастаясь, зрительный зал не пустовал.

Как-то по весне, время простудное, я почувствовал недомогание — слабость, температура, — и не пошёл на работу. Телефона дома у меня ещё не было, и, надеясь, что моё отсутствие не заметят, я провалялся в постели. В конце концов, причина серьёзная — заболел.

Утром на следующий день, не успел я войти в кабинет, — телефонный звонок. Первая мысль: кому бы в такую рань? А это — Маринка, и понесла скороговоркой: шеф, мол, вчера полдня тебя искал, я скрывала, врала: то там ты, то тут, а он, как никогда, трындычит — найди, и точка! «А где ты был?» — сама спрашивает. Начал я Маринке про насморк, температуру, но вижу — не верит. Я, сказать честно, загрустил. Что шефу говорить? Прогульщик, что ли?

Ждать, когда вызовет, не стал, пошёл сам — пока утро и чтоб не краснеть принародно. Стучу, открываю в два человеческих роста дверь. Шеф по привычке сдвинул очки на нос.

— А, прогульщик, зоходи. — И началось: — Я тебе как отец родной, понимаешь ли, ты же на моё

доверие — чёрной неблагодарностью. Вот мы проводили мероприятие, я тебе с транспортом помог? — И умолк, пока я не кивнул головой. И пошло-поехало дальше.

Говорил он очень ладно и всё по делу, и всё больно. А я сижу и думаю, что же ответить, чем оправдаться. Ни одной приличной версии. Про сопли, что ли, рассказывать? Маринка — и та не поверила.

Замолчал Георгий Иванович, ждёт моего объяснения. Я не знаю, может, озарение, а может быть, действительно я в молодости хитёр да изворотлив был, но само вылетело:

— Георгий Иванович, врать не буду, я был у любовницы.

У Георгия Ивановича очки сами сползли на кончик носа. Он внимательно осмотрел меня, переложил какие-то бумаги на столе, откинулся на спинку кресла и говорит:

— Хорошо... Хорошо мы последнее мероприятие провели, н-да, даже вот первый секретарь похволил. Ну, и... хорошо, иди работай, иди. Если что, помогу, конечно, заходи, почему не помочь.

То, что я вышел удивлённый более, чем сам Георгий Иванович, это понятно. Но когда я поднялся в свой кабинет и с жаром и нервной дрожью рассказал всё своему помощнику Сашке Федько, то смеялся при этом почему-то громким и нездоровым смехом.

Время бежало вперёд, события наслаивались, как в праздничном пироге: то пожёстче, то послаще. И этот случай забылся и канул бы в памяти, как всё, что я уже не могу вспомнить, если бы опять-таки не его величество случай.

То были, кажется, октябрьские праздники. Не помню точно, подобные мероприятия проводились часто: перед Первым мая, Днём Победы, Международным женским днём, Днём Конституции и так далее — все они проходили в Доме культуры и традиционно: сначала торжественная часть с докладом, а затем — концерт.

Звонок директора Дома культуры застал нас на рабочем месте. Его взволнованный голос сообщил, что запланированный ансамбль песни и пляски из Новосибирска не приедет, а через два часа торжественное собрание, посвящённое знаменательной дате, будет первый секретарь райкома, а «культурная часть не обеспечена». И последняя фраза: «Мужики, выручайте! Хотя бы сорок минут программь». Какие пацаны не купились бы на такое обращение? Мы купились, и работа закипела.

Сашка Федыко составлял программу, то есть пытался вспомнить все номера художественной самодеятельности, какими мы могли бы заполнить образовавшуюся «брешь». Я обзванивал наш актёрский актив. Через полчаса в Сашкином списке значилось восемь номеров: пантомима — это я, пародии на знаменитых актёров — это он, смешная сценка из нового спектакля — это боевая часть труппы народного театра, и далее... не помню, но полчаса мы закрывали железно. До торжественной части оставались минуты, до концерта — час. Мы лихорадочно придумывали сценки, репризы — кому что в голову придёт, эдакий мозговой штурм.

Вдруг Сашка вскочил.

— Есть! — он заорал так убедительно, что все сразу кинулись к нему.

— Ты помнишь, — обращается Сашка ко мне, — какую ты лапшу навесил Георгию Ивановичу, когда прогулял?

— Помню, но не прогулял, а заболел.

— Вот и сыграем этот случай. Ты будешь как есть — ты, а я — Георгий Иванович. Имена, конечно, сменим, — заспешил он успокоить, увидев мой протест. — Классно будет! Жизненно, злободневно — бой бюрократам! И главное — смешно.

— Ты что, ошалел?!

Но Сашка меня не слышал, а развивал свою бредовую идею, тут же пародируя Георгия Ивановича. Он, кстати, изумительно его передразнивал. Мои возражения никто слушать не хотел. Тогда я впервые познакомился с коллективным эгоизмом. А что может быть со мною после такого выступления? Об этом не подумал даже я и согласился. Слов никто заранее не писал, некогда было, решили импровизировать.

Концерт открыл конференсье Серёжа, инструктор райкома комсомола, эдакий женоподобный, с писклявым голосом дохляк в очках. И слова-то он произносил вразтяжку:

— Пра-аздничный конце-э-эрт открыва-ает хор ветерана-нов.

Десятка два старушек и пара старичков очень слаженно спели: «Люди мира, на минуту встаньте», после несколько девчонок станцевали русский, затем украинский народные танцы, после конференсье очень манерно прочитал стихотворение к праздничной дате, и всё — программа директора Дома культуры выдохлась. Пришла наша пора. Мы отыграли сцену из спектакля, я — несколько пантомим, Сашка

Федько — пародии, которые очень понравились зрителям, и его даже вызвали на «бис». Затем мы закрыли занавес, водрузили на сцену стол, на стол положили листки бумаги и поставили графин с водой, посадили Сашку, дали ему чьи-то очки. Вдоль кулис установили ряд стульев — полная имитация кабинета, и шёпот режиссёра: «Занавес».

Сашка вошёл в образ ещё до того момента, когда начали раздвигаться тяжёлые стены бордового занавеса: он поправил очки, побряхтел, переложил на столе несколько бумажек, задумался, написал что-то на одной из них и откинулся на спинку стула. Зал оживился. Во всех Сашкиных движениях уже угадывался Георгий Иванович. В этом и состоял наш расчёт: за семнадцать лет работы замом Георгия Ивановича знал весь район как облупленного.

На сцене появилась девушка — кругленькая девчонка из плясуний, которую загодя ещё упростили участвовать в нашей пьеске.

— Можно? — спросила она и, пройдя по сцене нарочито раскованной походкой, положила на стол красную папку: — На подпись, Иван Иванович. — Повернулась и — обратно.

У Ивана Ивановича очки сползли на кончик носа, и он уставился в кругловыразительную спину уходящей. Эхо аплодисментов застало нашего актёра врасплох, он вздрогнул, но успел поймать слетевшие очки, только на миг как бы вынырнув из образа Георгия Ивановича.

Я, прячась за кулису, разглядел во втором ряду своего начальника: тот смеялся и аплодировал вместе со всеми. Тут я понял, что пришёл конец моей

служебной карьере. Но отступить было поздно, и я шагнул на сцену. Волнение как при прыжке без парашюта.

— Здравствуйте, — произнёс я осевшим голосом, но тут же выправился и повторил: — Здравствуйте, Иван Иванович.

«Иван Иванович» опять сдвинул очки, разглядел меня, выждал тишину в зале и сказал:

— А, прогульщик, зоходи. Я тебе как отец родной, понимаешь ли...

Зал взревел от восторга. Я надолго остался топтаться на месте, не зная, как заполнить паузу, и Сашка пялился через очки на носу, ждал, когда утихнет зал.

Дальше я не буду рассказывать. После спектакля случайно встретившаяся Маринка оценила нашу дерзость, кинув мне в лицо испуганный упрёк: «Чокнутый». И тогда я решил: никогда не буду иметь любовницу. Маринка в моём воображении представлялась только в роли любовницы.

После праздников с трусливым настроением я пошёл к Георгию Ивановичу. Как всегда, пораньше утром. Принял он меня с привычным радушием:

— Зоходи, зоходи, октёр. Вы, конечно, выручили этого проходимца, выручили. Ну, что же, хорошо, народу понравилось ваше выступление. Первый секретарь до слёз хохотал — хорошо. Вот и Федько, смотри, молод, а тоже активен: и в спорте, и в культуре, и мощный твой. Хорошо. Такие люди нам нужны. Он член партии?

— Да, — отвечаю, а сам думаю: всё, тушите свет и поливайте веники, меня — пинком под зад, а Сашку

на моё место. И мне наказание, и ему урок на будущее, чтобы поскромнее был.

— Вот, он и член партии, таких людей поддерживать надо, продвигать.

И замолчал.

— Я пойду. — И я робко шагнул к дверям.

— Зачем же?

— Что зачем? — не понял я и почувствовал холод.

— Ну, зачем же мы тогда? А? Ну. Если не так-то, то зачем? А? А вот и нужны. Нужны! Чтобы вы лучше нас были. А?

— Мы лучше вас не будем, — совсем струсил я.

— Должон лучше быть! Должон лучше жить! И нам тоже радость. Ну, а коль так, то иди, Николай, иди, работай.



Стадион

«Быстрее, выше, сильнее!» — кто не знает этого девиза. Мне вообще иногда кажется, что по этому принципу жила тогда вся наша страна.

Помните: «Догнать и перегнать загнивающий Запад!» И догоняли, и перегоняли, только они об этом не знали. Но это и неважно. У них не было нашего энтузиазма и желания жить! У них вся жизнь сводилась, да и теперь сводится к формуле «дебет-кредит». Мне, положа руку на сердце, даже жаль этих «заштатников». Ну что они видят в жизни? Деньги, машины, путешествия, виллы и страх всего этого лишиться. Всё это чушь, ради которой и не стоит жизнь портить. Кто из них, богатеньких, корпел по ночам над стенгазетой к Восьмому марта? Кто рвал жилы на районных соревнованиях, и не за баксы, а за честь своего производства? Кто выскабливал до арматурных жил бетонную площадку перед райисполкомом в день ленинского субботника, когда музыка на всю катушку, когда бабы, раскрасневшиеся, на подоконниках трут тряпками окна, слепя нас розовыми надколенками и очаровательными улыбками, а мы скоблим метёлками бетон, предвкушая шумное застолье, кроткий быстрый взгляд карих глаз, нестройную песню и нежный, пугливый поцелуй на тёмной лестничной площадке?

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна!

Не нужен. Потому что нет у них нашей широты, наших праздников во всю ивановскую, наших

застолій до подзастолья, наших драк, когда кому-то из гостей что-то показалось неправильным. Нет у них, закордонных, и нашей всеобщей любви к ближнему, и всепрощения во хмелю и просто так.

Эх, яблочко, да на тарелочке!

Наша жизнь — это настоящая жизнь, как старт и финиш, каждый день — быстрее, каждый день — сильнее, каждый день — выше! Выше! Ещё выше-е!!!

Так получилось, что наш городок имел и библиотеку, и Дворец культуры, и центральный рынок, но не было стадиона. Райком комсомола только вздыхал под нашим справедливым натиском, партийные и советские органы не реагировали даже на публикацию в местной газете. Правда, заметка, которую мы подготовили, была существенно отредактирована. Мы писали её, эту заметку, как запорожцы писали турецкому султану, — с азартом. А когда ожидаемая газета вышла, то мы с трудом узнали в обглоданном тексте своё справедливое и эмоционально насыщенное письмо. Ответа от властей — никакого.

И тогда мы решили провести спартакиаду, посвящённую Герою Социалистического Труда из нашего района. Мы понимали, что его авторитет, членство в областном Совете, участие в партийном съезде и прочие достоинства помогут расшевелить власти предрержащие. Мы — в райком комсомола, комсомол посоветовался с райкомом партии, и, одобрив идею, нам предложили отложить инициативу до следующего года. Но нас, дошлых, на мякине провести было невозможно, мы сами создали оргкомитет и дали объявление в газете. Редактор, человек интеллигентный, скромный, похожий на учителя из прошлых лет,

и представить себе не мог, что мы проводим районное мероприятие по собственной инициативе, — дал такое объявление, причём места не пожалел, и мы, скупив потом часть тиража в киосках, развесили это объявление по райцентру как афишу.

В райкоме комсомола была истерика, Сашку пообещали исключить, а на меня вообще рукой махнули и даже ничего не пообещали. Но после короткого переполюха пришлось комсомольцам собирать и экстренное бюро, и создавать не оргкомитет, как мы предложили, а штаб! Вот так, ни больше ни меньше, а настоящий, чуть ли не фронтовой, благо не подпольный, штаб. Конечно, акценты они тут же сместили, теперь инициатива в проведении спартакиады была безвозмездно отдана комсомолу. Мы согласились: главное — построить стадион.

Как все наивные молодые люди, мы не подумали о сущем пустяке: стадион за неделю и даже за месяц не построить. Поэтому штаб принял компромиссное решение — строить временное сооружение: беговую дорожку, футбольное поле и ряд лавок вдоль финишной прямой вместо трибун. Но, как говорят в народе, нет ничего постоянного, чем временно сделанное. Прошло много лет, а тот стадион до сих пор жив, правда, одуванчикам вольготно на футбольном поле, но это уже другая история.

Нашу инициативу не очень громко, видимо из осторожности, принял бессменный заместитель председателя райисполкома Георгий Иванович Меркушев. Если бы не он, комсомольский штаб завалил бы строительство даже этого временного сооружения.

Всем руководителям предприятий города были выделены участки работы: кому площадку планировать, кому дорожку асфальтировать, кому трибуны делать, и ещё многое другое — и флаги, и ворота, и изгородь, чтобы коровы из крайних домов не заминировали бы всё футбольное поле. Но у любого руководителя предприятия своих забот, как говорят, полон рот, и утверждённый график начал ломаться с первого же дня.

Мы кинулись сигнализировать в райком комсомола, райком партии, пытались сами увещевать руководителей; наспех собранный механизм-штаб рычал, урчал, но дело не двигалось. И, уморившись, обратились, как к последней инстанции, к Меркушеву: мол, выручайте, или нашей идее канты и не видать нам стадиона.

Георгий Иванович слушал нас внимательно, покашлявая и глухо откашливаясь, а после продолжительной паузы сказал:

— Ладно, поехали.

Мы забрались вдвоём с Сашкой Федько на заднее сиденье уазика, Георгий Иванович по-хозяйски впереди, водитель, соскучившийся по рулю, бойко завёл машину.

— В комхоз, — буркнул Меркушев и, пока лихо мчались в комхоз, ни слова не проронил. Мы прониклись ситуацией: шеф настраивался дать разгону.

Когда заехали на территорию комхоза, Меркушев, полубернувшись, сказал мне:

— Иди зови начальника сюда. Упираться будет — тащи волоком.

Я с готовностью выскочил из машины — и в контору. В приёмной секретарша, едва увидев меня, сразу же вдыбки:

— Планёрка.

— Срочно начальника! Меркушев ждёт во дворе, меня послал, чтобы побыстрее, ноги у него больные, ходить не может.

Начальник горкомхоза бежал к машине Меркушева впереди меня.

— Садись, — коротко приказал ему Георгий Иванович.

Дверку я закрывал за собою уже на ходу. Начальник сидел, как арестованный, между мною и Сашкой.

— Вот, Гена, — полуобернулся Меркушев, — я ходотайствовал за тебя перед райкомом, чтобы ты стал начальником комхоза, понимаешь, честью своей партийной, можно сказать, рисковал. А ты меня подводишь. Сейчас первый секретарь звонит, интересуется, как строится стадион, а я ему вру: по графику, понимаешь ли. Вру первому секретарю райкома партии, и за кого вру — чтоб твою жопу убережешь! Вот смотри: видишь, изгородь новая — это сделал молкомбинат, а вот, смотри, к интернату воду проводят — это железнодорожное депо из своих средств детям помогает.

Мы ехали по городу, а Георгий Иванович, не давая слова вставить начальнику комхоза, зудил и зудил, рассказывая о доблестных и исполнительных руководителях, за каждого из которых в своё время поручался он — член партии с сорок третьего года, и они его не подводят. Час крутились мы по городу, и только после подъехали к поляне, где планировался стадион.

— Вот, Гена, а это тот участок, который был поручен тебе; ничего не сделано, ни ограды, ни дорожек для бега, ни раздевалок для спортсменов — ничего.

— Я понял, Георгий Иванович! — возопил директор комхоза. — Понял!

— Хорошо, Гена, иди, не подводи меня.

Гена выскочил из машины и споро зашагал прочь.

— Георгий Иванович, может, подвезём? — вступился я за начальника Гену. — Ему шпарить минут сорок до своей конторы.

— Ничего, пусть протрясётся, вон какое брюхо-то отъел, понимаешь ли, а моложе меня лет на двадцать. Поехали! Кто у нас там следующий?

Стадион был построен к сроку.



Чемпион

Как замечательно, что есть физическая культура и спорт! Да здравствует Пьер де Кубертен, провозгласивший: «О спорт, ты — мир!» Это действительно свой мир, в котором потухла не одна жизнь, это действительно мир, в котором кому-то удалось найти свой подвиг. Но обо всём по порядку.

Сашка Федыко был нашим активным общественным физруком, загонявшим нас на волейбольную площадку, в холодный пруд и на прошитое сквозняками стрельбище. Кто из старшего поколения на собственной шкуре не испытал, как физическая культура и спорт гармонически развивали личность. «Все на сдачу норм ГТО!» — красовались лозунги, а в статотчётах появилась новая графа — самая бессовестная, в неё писались цифры сдавших эти нормы. Дело доходило до глупостей: на некоторых предприятиях не было столько работников, сколько числилось значкистов ГТО. Мы все были готовы к труду и обороне, на груди каждого красовался золотой значок. Мы все поголовно — комсомольцы, мы все поголовно — значкисты ГТО, мы все поголовно — со средним образованием. Замечательное время вранья. Интересно, какое время впереди?

До сих пор остаётся загадкой, как нам удалось уговорить Андрея Ведеркова ехать на областные соревнования по борьбе.

Наш выбор был неслучайным: двухметровый мужик весом полтора центнера — лучшего кандидата в супертяжёлом весе было не найти. Проблема

заклучалась в его должности: молодой ещё мильтон, недавно получивший повышение. А начальству проигрывать даже на соревнованиях вроде как бы и не к лицу.

Уговорили. Ведь он тоже был продуктом нашей эпохи. Как можно было не откликнуться на убийственные доводы о чести района, чести комсомольца, о долге активного участия в общественной жизни, о строительстве светлого будущего?

Колебался Андрей долго, но и мы были не лыком шиты — житья парню не давали, пока он не сдался.

Команда подобралась пёстрая: легкоатлеты в вытянутых на коленях трико, в ночных белых майках с мутной эмблемой спартакиады; боксёры из местных драчунов, найденные с помощью комиссии по делам несовершеннолетних, в которой я уже состоял; стрелки из отъявленных браконьеров и, наконец, два борца. Вся эта публика на заказном автобусе устремилась завоёвывать спортивный Олимп области.

Скажу сразу, выглядели мы ничем не хуже других команд, а может быть, даже лучше — за всё время соревнований у нас никто не напился, все спали после отбоя на выделенных кроватях в спортивном зале какого-то ПТУ, на старты не опаздывали, судей не материли. В этом угадывалась заслуга Андрея Ведеркова — никто не смел распоясываться в присутствии заместителя начальника милиции. По дисциплине, скажу без преувеличения, мы оказались на первом месте, с большим отрывом от других команд.

Никто не остался без дела. Даже Вовка, наш водитель автобуса, занялся диверсионной работой. Парень от природы инициативный, он расспросил

о наших потенциальных соперниках и в первый же вечер познакомился с девчонкой из команды соседнего района. Девчонка эта — классная бегунья на средние дистанции. Вовка промучил её всю ночь в своём оборудованном автобусе. Бедная бегунья проиграла дистанцию даже нашей спортсменке. Эх, надо было пацанов набрать под стать Вовке человек двадцать! Вырубили бы как минимум половину соперниц.

Вовка же, шалопай, на следующий вечер принял за другую нашу соперницу, но тут у него конфуз случился: предыдущая бегунья выследила их и в пылу ревности надавала Вовке по физиономии, а девчонке лицо расцарапала, так что и вторая спортсменка на следующий день вообще на старт не вышла.

Команда набирала очки, и мы с трудом, но попадали в лидирующий десяток, где все команды шли плотно, ноздря в ноздю, и решающими становились борцовские состязания. Откуда в нашем заштатном райцентре борцы? Ниоткуда. Их и не было, только Юрий Васильевич, учитель английского из общеобразовательной школы, который ещё студентом института посетил несколько занятий по борьбе, да Андрей Ведерков, который занимался борьбой в школе милиции на нескольких ознакомительных занятиях. Но мы были ребята сообразительные и понимали, что тяжеловесов будет раз-два и обчёлся, а очки давались за занятые на соревнованиях места. И если бы Андрей даже проиграл всем супертяжам, из-за малого их числа занял бы всё равно очень высокое место.

Наши надежды оправдались: тяжеловесов было заявлено только двое! Стало быть, мы привезём домой призёра первенства области! Это уже не шутка!

Борцовский ковёр, как растоптанная коровья лепёха, красовался в центре спортивного зала, судья в чёрных брюках и белой безрукавке со свистком во рту суетился вокруг борющихся и всё время подавал какие-то знаки судейской коллегии. Тренеры бесновались с противоположных сторон ковра, как привязанные собаки, — то подпрыгивая, то припадая на все конечности, и всё время что-то орали своим подопечным. Борцы же, как мне показалось, плевали на всех и, упёршись лбами друг в друга, ходили кругами, и им не было никакого дела до зрителей, тренеров и судей.

Поскольку у наших борцов тренеров не было, вместо них суетился я; Сашка Фёдыко в это время занимался стрелками. Юрий Васильевич проиграл первому же борцу ещё в утренней схватке и теперь, обиженный, сидел в автобусе и пил красное и жутко вонючее вино местного пищекомбината.

Андрей размялся основательно, мне даже показалось чересчур, потому что с его лба сбегали крупные капли пота.

И вот финальная схватка — супертяжёлый вес! Когда два борца вышли на ковёр, зал восторженно взревел, и было отчего. Наш Андрей — сто сорок шесть килограммов живого веса — смотрелся дохляком перед кабаном из шахтёрского городка. У того один живот весил столько, сколько весь наш Андрей.

Тяжеловесы, видать, смотрели предыдущие схватки, потому что тоже выбрали эту дурацкую манеру — схватили друг друга за руки, упёрлись лбами и ходили кругами по всему ковру, будто вальс танцевали. Так прошла первая половина поединка, и никто даже

не попытался провести какой-нибудь приём. Гонг. Андрей сидел мокрый и уставший. Я обмахивал его полотенцем.

— Ну как? — спросил я.

Весь зал смотрел не только на Андрея, но и на меня, его тренера, с уважением.

— Нормально, — ответил запыхавшийся Андрей. — Он мне пиво предложил.

— Какое пиво? — не понял я, но прозвучал гонг, и Андрей ушёл бороться.

Картина повторилась точь-в-точь, как в первой половине схватки, они ходили кругами и, как мне показалось, о чём-то разговаривали.

Но вдруг жирный шахтёр что-то быстро заговорил, а между тем Андрей ухватил его за ногу, и тот упал. Потерявший равновесие Андрей рухнул на него, и шахтёр уже подняться не смог. Он ведь был борец, а не штангист.

Я взревел, как мифический Тифон, и почему-то кинулся обнимать судью, который объявил Андрея победителем. Но это уже причуды стресса.

Мы везли с собою чемпиона! Это вам не кусок ливерной колбасы, это историческое событие. Это то, чем потом будут гордиться наши потомки и вспоминать Ведеркова — Геркулеса, Геракла, который в тот год был объявлен самым сильным мужиком во всей нашей необъятной области!

Мы с Андреем в автобусе сидели рядом, пили заслуженное пиво и всё обсуждали детали схватки, но вдруг я вспомнил и спросил:

— Андрей, о чём вы разговаривали, когда борлись?

Андрей хитро улыбнулся, выдул полбутылки пива и ответил:

— Сначала он мне предложил ящик пива, если я лягу под него, а во втором раунде — ящик водки.

— И что?

— Я сказал, что за дачу взятки замначальника милиции светит ему три года, не меньше. Видать, мужик не ожидал поединка с милиционером, растерялся, ну, я его и взял...

Наш район занял почётное третье место. А милиционер Ведерков пусть теперь попробует отрицать, что спорт и, конечно, мы помогли формированию личности будущего генерала!



Совещание

Георгий Иванович страсть как любил совещания. По роду своей деятельности он курировал целый ряд отделов исполкома, несколько комиссий, комитетов и советов. Раз в месяц он проводил комплексное заседание, на которое приглашалось множество народа и на котором, кстати сказать, достаточно оперативно решались многие организационные вопросы. Благодаря таким совещаниям административно-хозяйственные структуры работали вполне даже сносно.

Кабинет заместителя председателя райисполкома был весьма внушительным, по периметру стояло около сорока стульев, и, как правило, на комплексных совещаниях все они были заняты. В тот день было всё как всегда.

— Товарищи! — встав из-за стола, торжественно произнёс Георгий Иванович и, приспустив на нос очки, пристальным взглядом обвёл всех сидящих. — Наш район, как и весь советский народ, понимаешь ли, готовится к Первому мая, Дню солидарности трудящихся...

Открывается дверь, и входит Юрина — директор Дома пионеров и тоже член множества комиссий и советов. Нина Ивановна оглядывает кабинет: свободен только стул у приставного столика Меркушева. Делать нечего, она садится на него и затихает. Юрина — это её «проходящая» фамилия. Она столько раз выходила замуж за свои неполные пятьдесят, что мало кто знает, какая последняя.

Георгий Иванович, несколько не огорчившись, что его прервали, начал всё заново:

— Товарищи! Наш район, как и весь советский народ, готовится к Первому мая, Дню солидарности трудящихся всего мира, понимаешь ли...

Вдруг прервал свою речь и, приподняв очки, спросил:

— Нина, а ты теперь с кем живёшь-то?

Нина Ивановна подняла голову для ответа, но Меркушев, будто опомнившись, продолжил прерванную речь:

— Нам поручено достойно встретить знаменательную дату...

Георгий Иванович, кажется, никогда не делал ничего преднамеренно, он всегда был самим собой, непосредственным, как ребёнок. И даже этим вопросом он не собирался обидеть Нину Ивановну.

Совещание развивалось, как всегда, деловито и бурно: отчитывались присутствующие, отчитывал Меркушев, мирил поссорившихся, сам ссорился.

— Не знаю, — кричал Георгий Иванович начальнику автотранспортного предприятия, — транспорт должен работать, автобусы должны ходить по расписанию!

— Да где же я найду запчасти?! — стонал начальник АТП.

— Найдёшь! Езжай — требуй! На борохолку — покупай! Проверю! Так, записываю: возложить контроль за расписанием автобусов, они, понимаешь ли, запчастей не могут найти, на начальника гражданской обороны Седова! Седов! Ты почему не был на прошлом совещании?!

— Так вы же, Георгий Иванович, сами меня флаг на исполком водружать отправили.

Меркушев вдруг обмяк, снял очки и, начав их протирать, заговорил по-отечески:

— Береги здоровье, Иван, а то всё женщины да женщины, поростратишься...

— Какие женщины?! — пунцовый Седов не знал, куда деть вдруг выросшие руки. — Вы же меня сами посылали!

— Так я тебе и говорю: не рostrачивайся, береги здоровье, а то всё женщины и женщины.

Седов сник, но всё-таки выдал из себя:

— Да вы же сами посылали...

— Вот я и говорю, беречь себя надо. Тут молодёжь, — Меркушев кивнул на нас с Сашей Федько, — недавно анекдот мне рассказала, про нашего туриста во Франции. Познакомился, значит, наш турист с французской бабёнкой, ну, и в кусты её, понимаешь ли, как у нас принято. Ты слушай, Седов, слушай, тебе рассказываю. А она его к себе домой, как у них принято. Она в душ пошла, как у них принято, а наш турист — носки на батарею, как у нас принято, понимаешь ли. Легли, значит, они, — ты слушай Седов, слушай, как было-то, пригодится, — а тут звонок — муж её пришёл. Она, значит, знакомить хотела, как у них принято, а наш — с девятого этажа, понимаешь ли, как у нас принято.

Меркушев смеялся громче всех. После, расслабленный и довольный собою, сел в кресло.

— Мы, товарищи, должны опровергнуть доверие райкома партии и достойно... Нина, а ты на каком этаже живёшь?

Юрина нервно дёрнулась, но ответила:

— На первом, Георгий Иванович.

— Хо-ро-шо. Хорошо, что погода позволяет провести субботник, снег растаял, понимаешь ли. Да, активизировать надо профсоюзы. Профсоюзы должны возглавить субботник. Да, и это правильно!

— Георгий Иванович, можно вопрос?

Замполит райотдела милиции Гуфистов аж заёрзал на стуле. Давно поговаривали, что именно Гуфистов займёт кресло Меркушева, когда тот уйдёт на пенсию. А слухи, как правило, сбываются, и потому, наверное, они ревностно относились друг к другу.

— Зодай, Николай Дмитрич.

— Если в милиции нет профсоюза, так что мне теперь и в субботнике не участвовать?

Меркушев опустил голову и задумался. Мёртвая тишина в кабинете. Все прекрасно поняли, зачем этот вопрос. Гуфистов и не скрывал, довольный, улыбался. Неожиданно Меркушев вскочил и, указывая пальцем на Гуфистова, закричал:

— Этот вопрос, Николай Дмитрич, я принимаю как провокацию! Профсоюза у вас нет. А вот мусор найдётся. Всё! Все свободны, остаётся промышленный комитет. Седов, через час у нас заседание комиссии по вензаболеваниям, перекури и не опаздывай.

Ошеломлённый Седов замер у дверей.

— Георгий Иванович, так я же не в комиссии.

Меркушев напрягся, густые брови сползли к переносице, но вдруг он добродушно глянул на Седова и развёл руками:

— А, ну тогда извини.

Зря Седов не остался, — через пару месяцев он лечился от какой-то заразы. Об этом весь наш район знал. Кстати сказать, в маленьких городках, районах,

как в деревне, нет тайны вклада, тайны следствия, и вообще никаких тайн нет.

Тем временем, после короткого перекура, комплексное совещание продолжилось в несколько обновлённом составе. Меркушев поприветствовал вновь прибывших, кашлянул в кулак и бодрым голосом продолжил:

— А теперь я хотел бы поговорить о работе нашей промышленности...

В это время из оправы его очков вывалилось стекло и с грохотом упало на стол. Меркушев схватил его, вставил обратно в оправу и продолжил, но уже чуть злее:

— Наша промышленность, понимаешь ли!

Директора, кому довелось тогда присутствовать, втянули головы, и их легко можно было узнать по коротким шеям.

— Вот сидит товарищ Дрязгин, молкомбинат. Готовят кефир. Хороший кефир готовят...

Вновь вываливается стекло, Меркушев судорожно хватает его и, уже не снимая оправы, вставляет на место.

— Я вчера зашёл в магазин, — с напором продолжил Георгий Иванович, — купил бутылку кефира.

Директор молкомбината побагровел и насупился.

— Пришёл домой... открыл... — в кабинете гробовая тишина, — пивнул!

Все боялись даже шелохнуться.

— А он — кислый! — На лице Георгия Ивановича была неподдельная обида. — Как это понять? А? И мне пришлось его вылить! — воскликнул Меркушев, подняв палец вверх.

Все взгляды сидящих устремились на потолок. Георгий Иванович сам посмотрел на свою руку, понял, что заговорился, и вдруг, резко опустив палец вниз, закончил:

— В раковину!

Все разом опустили головы, посмотрели в пол, куда показывал Георгий Иванович, и с облегчением вздохнули, а багрянец переключался от директора молкомбината на лицо председателя райпо, который, как теперь выяснилось, проквасил прекрасный кефир местного производства.

После долгого и непростого разговора о работе местной промышленности значился не менее трудный вопрос подготовки к зиме. Совещание продолжалось.

— Как у нас говорят, летом готовь сани, а зимою телегу ремонтируй. Вот и поговорим о подготовке котельных к зимнему сезону.

Меркушев задумался, видимо уже и сам сильно устал или в наших глазах просьбу о пощаде прочёл, но вдруг решил свернуть этот вопрос.

— Вот есть список ответственных лиц, утверждённый исполкомом районного Совета. Да, я его зочитывать не буду, словом, котельные в сёлах должны быть подготовлены к первому июня.

Гул негодования в кабинете.

— У кого иная точка зрения, кто не согласен с мнением первого секретаря ройкома партии? — поднял строгий взгляд Меркушев.

Все молча уставились в розданные графики сдачи котельных.

— Ну вот, все согласны. Хо-ро-шо! Обращаю ваше внимание на важность этого вопроса, завтра же

езжайте по котельным и возглавьте ремонтные работы, и пока эти работы не начнутся, не возвращаться! Есть вопросы?

Встал Гуфистов.

— А вот у меня вопрос.

— По существу или по субботнику?

— По котельным, Георгий Иванович.

— Давай, Николай Дмитрич.

— А вот если там долго работы не начнутся, что мне и заночевать там можно?

Георгий Иванович прищурил глаза на Гуфистова и скомандовал:

— Женщины свободны, мужчинам остаться. — И не дождавшись, пока женщины покинут кабинет, начал отвечать: — Я вот что по этому поводу думаю, Николай Дмитрич... если могёшь — оставайся.

В тот день большого совещания я уходил от старика последним. Георгий Иванович хлопнул на прощание меня по плечу и сказал:

— Иди, сынок, работай, если что — скажи, я за тебя руки выверну. — Подумал, смахнул старческую слезу и продолжил: — Ну, а если это баба будет — то ноги.

Пародист

Сашка обладал исключительным умением имитировать чужие голоса и манеру говорить. Сколько же добрых дел мы совершили в нашем районе! Голосом Георгия Ивановича заставили дорожную службу завалить большую яму около железнодорожного вокзала; у моего подъезда теперь всегда работало уличное освещение; но самое, наверное, великое — это когда голосом первого секретаря райкома партии мы поставили вопрос перед исполкомом об открытии спортивной школы. И ведь струхнули наши чиновники, добились в области финансирования и построили школу. Правда, стройка шла лет десять, но теперь это и неважно. Мало кто знает, что в действительности стало причиной такой заботы о детях.

В какой-то момент мы обнаглели и порою уже на спор с кем-нибудь решали хозяйственный вопрос. Наши друзья шалели от догадок, пытались выяснить причину столь мощного влияния на хозяйственные структуры города, но мы, естественно, молчали.

Но самый дерзкий подлог мы совершили чуть позже. Приехал к нам в город большой областной чиновник. И так получилось, что наши первые руководители и этот самый чиновник неслабо выпили, а тут ещё жара, вот и разморило их. Видели мы их на вокзале: чиновника с трудом загрузили в вагон, а наши — первый секретарь и председатель райисполкома — пошли, обнявшись, к машине.

Я выкрал у Маринки фирменный исполкомовский бланк и напечатал на нём письмо от имени председателя исполкома тому самому чиновнику

из области с просьбой выделить автомобиль «ГАЗ-51» для нужд детского дома.

С этим письмом я пробился к чиновнику на приём и положил письмо перед ним со словами, что вот, мол, был разговор — когда вы приезжали к нам в гости, обещали машину.

Чиновник читал письмо, сопел, но, видимо, вспомнить такой разговор и своё обещание не мог.

— А что Николай Демьянович? — осторожно спросил он.

Мне же терять было нечего: или пан, или пропал. Рублю уверенно:

— Он и послал, но письмо от председателя райисполкома. Сами понимаете, партия не может просить.

Я боялся одного: чтобы только этот чиновник не позвонил к нам в райисполком.

— Да... — задумчиво вздохнул тот и чуть ниже подписи в письме начертил: «Для обязательного исполнения» и размашисто расписался.

Машина долго служила Детскому дому, а моя подпись до сих пор очень похожа на подпись председателя райисполкома. На всю жизнь память о нашей шальной молодости.

К сожалению, мы многое не успели сделать. Однажды позвонили к директору промкомбината голосом Георгия Ивановича и вдруг в трубке услышали изумлённого директора:

— Георгий Иванович, здесь звонят и говорят, что это вы!

Через секунду в телефонной трубке гремел меркушевский голос:

— Ал-лё! Это кто говорит?

Мы бросили трубку и трусливо сбежали с работы. Долго бродили по городу и всё рассуждали: догадается или нет?

Догадался.

Утром Маринка передала распоряжение Меркушева явиться к десяти и строго добавила: «Без опозданий». Сердце ушло в пятки, но пульсировало почему-то в ушах. Обречённый, явился в приёмную загодя и пытался выяснить, по какому случаю вызван.

— Не знаю, — пожалала Маринка плечиками.

— Ну, а как настроение у старика? — не мог успокоиться я.

— Не очень, — авторитетно заявила Маринка, тряхнула легкомысленными завитушками волос на висках и принялась звонить по телефону.

Зашёл я к Меркушеву и, мужественно скрывая трусость, решил отрицать всё, клясться, если потребует.

Георгий Иванович, как обычно, приспустил очки на нос, оглядел меня и очень добродушно ответил на моё «здрaсте»:

— Зоходи, дорогой, зоходи, — показал на стул у приставного столика. — Бери, содись рядом.

Я взял стул и сел сбоку его стола.

— Ближе. — Он приподнялся вместе с креслом и сдвинулся на угол своего огромного стола.

— Сюда, что ли? — уставился я на старика.

— Ну да, кнопку довить будешь, Моринку вызывать.

На стене на уровне стола за креслом Георгия Ивановича была маленькая беленькая кнопочка звонка в приёмную и рядом такая же маленькая розетка для радио.

— Я, понимаешь ли, вчера довью, довью, а Моринка не идёт. И что, думаю, не идёт? Глядь, а я розетку довью. Беда...

Я сел рядом с Меркушевым и понял, что нашим проделкам пришёл конец. Дед решил наказать меня с особой жестокостью.

— Дови, — приказал Меркушев.

Я нажал кнопку, и уже через секунду Маринка торчала на пороге, вопросительно-недоуменно глядя то на меня, то на Меркушева.

— Приглошай, пускай зоходят.

Меркушев повернулся ко мне:

— Мы сейчас совещание по благоустройству проведём. Ты веди, а я шалить буду. — И он пододвинул ко мне стопку бумаг.

— Так я не знаю повестки!

— Благоустройство.

— Георгий Иванович, я не могу, это...

— Могёшь! Ты всё могёшь!

Я корчился, путался, проводил совещание, Меркушев мне помогал. Через час я был выжат, как хорошо скрученная тряпка.

— Ты понял, сынок, что наскоком у нас ничего не сделается? — спросил Георгий Иванович после совещания, глядя мне в глаза.

— Да, — ответил я

— Ты понял, сынок, что во всём у нас есть план?

Я молча опустил голову.

— Ну и хорошо, иди.

На следующий день райцентр проснулся с ошеломляющей новостью, что место Меркушева, после его ухода на пенсию, займу я.

Медвежатник

Я влюбился! Я не мог не влюбиться! До сих пор с содроганием думаю, что ведь я мог и не зайти в тот день в райфо...

Я примчался в финотдел с только что подписанным приказом о дополнительном финансировании нашего отдела и, сражённый, замер у дверей: юное создание сидело за столом и листало бухгалтерские простыни-отчёты. Её карие глаза обожгли меня, сразили, испепелили, загипнотизировали, ввели в кому, остолбенение! Нужно было видеть эти глаза, чтобы понять моё состояние! А влажные губки, окаймляющие чуть приоткрытый ротик! А волнистые тёмно-каштановые пряди волос, аккуратно подобранные у висков; маленькое, будто из бело-розового мрамора ушко с золотой капелькой скромной серёжки; ясный, серьёзный, задумчивый взгляд, какой бывает только у девчонок романтических и неискушённых. Я не мог не умереть на пороге финотдела! И я умер! Умер и тут же воскрес с огромной любовью до гроба.

— Что? — спросила меня расплывшаяся за огромным двухтумбовым столом главбух финотдела, уставшая пялиться на меня, окаменевшего. — Нам тебя ещё тут не хватает.

Только теперь я заметил, что в углу около огромного сейфа на корточках сидел старенький слесарь-сантехник и собирал в сумку разложенный на полу инструмент.

— А что случилось? — спросил я, не отводя глаз от милого создания за столом.

— Замок заело, так что мы без зарплаты теперь. Печать в сейфе, а без печати, да будет тебе известно, банк денег не даёт.

— Беда... — вздохнул я, понимая, что по второму разу денег мне уже никто не займёт, а вожделенной зарплаты, чтобы раздать долги, сегодня не будет. Подошёл к сейфу и подёргал ключом.

В утробе сейфа шевельнулся замок. Мне показалось это странным, и, уже сосредоточившись, я чуть повернул ключ, подтянул болтающийся замок к дверке и попробовал открыть — ключ легко продавил клавиши. Я понял, почему закусывал скошенный замок, и чуть было не заорал от радости, но сдержался, глубоко вздохнул и громко сказал, глядя в карюю глубину милых глаз:

— Тяжёлый случай, но попытаюсь открыть.

Глаза удивлённо глянули на меня, веера ресниц вздрогнули, взволновав воздушное пространство финотдела.

Я постучал по боку сейфа и деловито спросил:

— Сколько времени в моём распоряжении?

Главбух махнула рукой:

— Банк скоро закроют.

— Мне нужно пятнадцать-двадцать минут, быстрее не смогу, случай действительно непростой, — я кивнул на сейф.

— Щас, откроет он тебе, — буркнул недовольный слесарь и, звякнув сумкой с инструментом, вышел.

Мы молча посмотрели на хлопнувшую дверь.

— Не баламуть, — устало махнула рукой главбух.

Я и эту фразу оставил без ответа; кажется, впервые в жизни небрежение к себе перенёс молча.

— Я за отмычками, сейчас буду.

В глазах главбуха засветилась надежда и второй подбородок женщины благодарно дрогнул.

Отмычек у меня не было, и, сказать по-честному, я их даже в глаза никогда не видел, но детективный жанр разыгранной сцены требовал отмычек.

У себя в кабинете я схватил связку ключей, по ходу забежал в приёмную, выдернул у секретарши из прически шпильку — и обратно в финотдел.

Я играл роль «медвежатника» спокойно, со вкусом, говорил строгим и не терпящим возражения тоном; всё было, как я видел в кино: шпильку в скважину, ухо к холодному животу сейфа и несколько громких раздражённых просьб соблюдать тишину. Женщины финотдела замерли, и мне приятно было понимать, что дивное создание теперь тоже сидит не шелохнувшись и пялится на мой затылок и тренированную спину. Кривлялся я ровно пять минут, потом вставил родной ключ, подтянул открутившийся замок, и — будьте любезны — сейф открыт.

Я давно не испытывал такого уважения, какое было проявлено ко мне в тот день, не слышал столько похвал. Только милое создание скромно молчало, но в её глазах, я заметил это точно, мелькнуло любопытство.

Я деловито затягивал гайки, ремонтируя замок сейфа, и не сводил глаз с девушки.

— Ты кто?

— Человек, — с достоинством ответила она.

— Как тебя зовут?

Девушка подняла тёмные влажные глаза. Я почувствовал, как запылало моё лицо. Она строго

посмотрела на меня и ответила, продолжая листать бумажные простыни:

— Ира.

Сколько было музыки в этом коротком имени.

Главбух нетерпеливо заёрзала, стул под ней нервно закрипел, и вдруг она задала вопрос, которого я, герой дня, не мог ожидать:

— А ты на учёте в милиции состоишь?

— Зачем? — не понял я.

— Все, кто открывают сейфы, должны стоять на учёте в милиции, — убеждённо сказала серьёзная женщина и подняла телефонную трубку.

Кое-как я уболтал её не ставить меня на учёт, но доверие потерял на всю оставшуюся жизнь. С тех пор она опасалась моего появления в отделе, я для этой недоверчивой женщины стал подозрительным типом, она была уверена, что, владея криминальным мастерством, я не мог не пользоваться им.

Уже на выходе из финотдела я остановился в дверях и предложил:

— Ирочка, выходи за меня замуж.

Она смугилась и тоже покраснела. В бухгалтерии наступила тишина.

— А она замужем! — хохотнул кто-то из женщин.

— Нет, — уверенно сказал я, — она не может быть замужем.

— Смотри какой самонадеянный!

— Нет, — я смотрел на Ирину и, нисколько уже не стесняясь, продолжил: — самонадеянность здесь ни при чём. Если бы она была замужем, я бы уже умер. Это невозможно, это было бы самое большое разочарование в моей жизни.

— И не вздумай, доченька! — уверенно возразила главбух и глянула на меня. — Иди, не мешай работать.

Я вышел, но не ушёл, я замер у дверей до конца рабочего дня. И после много дней дежурил около финотдела, пока бедная, замученная моим вниманием девчонка не дала согласия. Я был так влюблён, я был так настойчив, что теперь мне кажется, будто она согласилась, только чтобы я отвязался от неё.

Нахальство, скажете, второе счастье? Ошибаетесь! В моём случае это первое счастье и на всю жизнь!



Звездочёт

Помнится, со своей женой мы первые полгода как сиамские близнецы ходили. И вдруг вечером, на излёте столь круглой даты, она меня спросила:

— Почему ты свою одежду около кровати складываешь, а не в шкаф на плечики вешаешь?

— Я так привык, — чистосердечно ответил я.

Она спросила, я — ответил и забыл. Не то чтобы недоумения, даже огорчения не показал.

По прошествии некоторого времени она вновь и уже с каким-то нескрываемым раздражением принялась меня пытаться:

— Это что же, — говорит, — так теперь и будешь всегда свою одежду у кровати постилать вместо ковриков?

Даже не столько вредный тон, сколько одно только обстоятельство, что на меня, хозяина и мужа, возможно указывать каверзным пальцем, совершенно лишило меня умиротворённого и присущего мне мудрому расположению духа.

— А ты, — воткнул я ей наострённую булавоочку, — всю стиралку своими помазульками и тушами заставила. А ватки, — здесь я вдохнул и дунул уже самым острым перцем, — нарочно в раковину бросаешь! Я забодался их оттуда вязальным крючком выковыривать!

— А, так ты меня попрекаешь! А говорил, что любишь!

Последний и беспомощный довод окончательно взбаламутил моё спокойствие — я был оскорблён

глупейшим содержанием спора и совершенно нелогичным выводом.

— При чём здесь наша любовь?! Я тебе рассказываю про ватки в раковине, а не про нашу с тобой любовь.

— Вот она, вся ваша мужская суть!

— Суть — это глагол множественного числа. Он есть. Они суть, — я был хладнокровен и беспощаден. — А сущность в том, что ватки суть не на своём месте, а полощутся в таком приборе, который им не присущ.

— Ты сейчас с кем разговаривал?

— С тобой! И этот наш разговор задевает мою мужскую сущность. Хотя, в сущности, что тебя в ней не устраивает?

— Всё не устраивает!

— А что именно?!

— Я же сказала — всё!

— Ты ничего не сказала, кроме беспредельного раздражения в мою сторону. И желания обидеть меня.

— Нет, это ты меня обидеть хотел!

Далее поезд проследовал без остановок. Многим знаком этот упрямый и шаткий бег и назойливое желание дёрнуть наконец стоп-кран и сойти посередь дороги, и броситься в кусты ли, в канаву, в лес или к придорожному буфету — куда угодно, лишь бы замереть в одиноком и послушном только тебе покое. И многим, я думаю, хочется ещё раз прокатиться в этом молодом и шумном вагоне, потереться друг об дружку лбами, пожевать кулинарный пирожок, разломанный пополам, запивая его кислым соком, и ещё раз, как летящие мимо станции, перечислить

и оспорить все предназначенные и выдуманнные привилегии.

Так мы тешились года два. Правда, здравый смысл и подсказанные им привычки примиряли нас к ночи. К этому времени у нас составилаь довольно-таки подробная табель обоюдоострых недостатков и пороков, оставалось только придать ей беспощадную системность и выучить наизусть, с тем чтобы сойтись уже на окончательной границе и с открытыми забралами.

И тут вмешалась тёща. Она наконец-то решила, что я плохой муж и меня будет не в пример как лучше развести с Ириной, не только по разные стороны боя, но и самой линии судьбы. Хотя она не знала, что эта самая линия и без её помощи двоится и ведёт себя крайне неровно. У нас просто не было привычки крошить осколками за пределами своей избушки.

И едва лишь на линии нашего всесокрушающего, но суверенного огня появилась «третья сила», имеющая своё мнение и свои интересы, как нас вдруг это сильно задело и даже заело, причём зажевало сразу обоих и в одном и том же конкретном направлении. И мы объединили не только свои усилия, но и обрушили в её сторону всю накопленную и притёртую к боям огневую мощь. Тёща тоже оказалась не сдобным пряником, подтянула резервы и нашла даже союзников в лице давно позабытых, но очень заботливых родственников. Нам пришлось отложить до времени свои баталии и защищать свою независимость и права от упрямого и равнодушного мнения несуразного блока, от его сплетен и легенд.

Окончательно же нас сплотило известие о том, что Ирина беременна. И я понял, что я настоящий мужик и скоро смогу стать отцом!

И это был первый вечер, в котором мы оказались вместе, но наедине со своими мыслями: Ирину впечатлял её живот, в котором кто-то затаился до времени, меня — собственные и очевидные заслуги. Наши размышления нечаянно привели нас к некоторому решению, в правилах которого мы согласились не проводить более дискуссий с повышенной громкостью и таким же эмоциональным напряжением, чтобы не беспокоить более ни ребёнка, ни то существо, которое его носит. Я предложил:

— Ира, давай, едва лишь начинаем свару, немедленно расходимся по разным комнатам и считаем до тысячи. А затем уже вновь встречаемся на кухне и продолжаем разговор. Если опять доведётся поругаться, повторяем опыт сызнава, и так — до состояния мира.

— А что будем считать? — немного подумав, Ира задала в свойственной ей манере странный и неожиданный вопрос.

Я задумался и, опершись на банальности, предложил:

— Звёзды.

— А днём звёзд не видно.

— Видимость или невидимость не означают отсутствия. Если это непонятно, будем считать и ссориться в тот момент и в том месте, где видимость и присутствие сольются воедино.

— А сейчас ты с кем разговаривал? Ты сам-то понимаешь, о чём говоришь?

— Я понимаю и надеюсь, что скоро мы будем понимать друг друга с полуслова.

Я в молодости был сентиментальным, а потому недалёковидным. Счастливая пора невинных обольщений!

И видимость, и чёрт в ступе, и другие потусторонние подробности сошлись в тот же вечер — лоб в лоб и со страшным треском, немедленно организовав беспощадный поединок. Опираясь на условия заключённого пакта, мы с неохотой разошлись по комнатам. Я, конечно, не стал считать до тысячи, а постоял минут пять-семь и вернулся на кухню. Вскоре появилась Ира.

— Ты считаешь быстрее меня, — сказала она.

— Ясен перец, у меня же соображалка мужского рода.

— Конечно, ты — мужчина. А вот женщине уступить не можешь.

— Могу. Билет на «Титаник», — ответил я, и мы вновь отправились заниматься арифметикой.

Когда уже в третий раз мы сошлись на кухне и посмотрели друг на друга, то, наконец, рассмеялись.

— Чему ты смеёшься? — спросил я и обнял жену.

— Я больше не могу считать звёзды, у меня в глазах рябит и язык заплетается, — ответила Ира и положила голову мне на грудь.

— А ты что, считала звёзды?

— Да, а ты?

— Детонька, я давно уже досчитал до одного триллиона семи. А дальше, сказать по правде, немного устал.

— По какой ещё правде? Ты что не считал звёзды? Ты же врун. Врун! Это же невозможно. Ты же мне на каждом шагу лжёшь. Лжёшь.

— Не лжу. Вот сделай шажок и подойди к окошку, — мирно предложил я. — Видишь вон то пятнышко? Это туманность Андромеды. Там триллион

звёздочек. А вон в том ковшике — семь. Итого звёзд мне хватает на 999 миллиардов наших ссор, плюс скромный запас на чай и перевязки.

— А, так ты всё-таки меня обманул! — Ира оттолкнула меня. — Так не считают.

— Считают, считают, — подтвердил я. — И ещё я считаю, что одной звёздочки в том ковшике не хватает.

— Почему? — она вдруг с интересом посмотрела на обозначенное мною созвездие.

— Потому что она у меня в руках, — улыбнулся я и обнял жену.

На другой день я повздыхал, однако развесил свои одёжки на дурацких плечиках, а жена обзавелась какой-то банкой для ваток, которая, сказать по правде, всё время кувыркалась и норовила побить раковину. Но для пресечения этой невинной шалости у меня ещё оставался приличный счёт в звёздном банке.

Обрезание

Менялось время, менялись мы. Разброд пошёл среди коммунистов, Георгий Иванович ушёл на пенсию, исполком наш трясло, как телегу на брусчатке. Сашка Федыко кооператив открыл, теперь у него шашлычная палатка в центре города. А комсомольцы и того круче развернулись: платные дискотеки теперь проводят и эротическое кино по ночам гоняют, «для тех, кто не спит». Одно слово — перестройка.

А в городишке нашем последнее время такая круговерть, будто сам чёрт нас посетил да разгулялся. Все кинулись в кооператоры и политику; одни киоск устанавливают, а другие вокруг этого киоска с красными флагами ходят и требуют вернуть советскую власть. Евреи около паспортного стола гомонятся, у них теперь одна дорога — на историческую родину, в Израиль. Им на днях разрешили беспрепятственный выезд за рубеж. Постоял я около старого, сохранившегося с дореволюционных времён, двухэтажного домика, где паспортист сидел, а двор полон народу.

— Димка! — увидел я своего старого приятеля и помаhal ему рукой.

— Чё? — подбегает ко мне Димка Калашников.

— Ты тоже в Израиль собрался?

— Да, — уверенно отвечает.

— А ты-то что там забыл? Туда же евреям только можно.

— А я еврей.

— Да ну, — опешил я, — какой же ты еврей, у тебя и фамилия русская.

— Эту фамилию мама купила лет двадцать назад, когда вы нас сильно притесняли.

— А, ну извини, я об этом не знал.

Мы пожали друг другу руки, и я побрёл восвояси, размышляя о евреях, о том, что их несправедливо притесняли, и мне было чуточку обидно, что они от нас уезжают.

— Эй! — услышал я Димкин голос. — Постой!

Я остановился.

— Слушай, тут дело есть. У тебя же в друзьях хирург Ванька Струг?

— Ну?

— Понимаешь, евреи должны быть обрезанными, а мы все здесь необрезанные. Ходит слух, что в Израиль пускают только тех, кто прошёл обряд обрезания. А если нет, то не пустят. Наша вера не позволяет даже ступить на землю предков необрезанными.

— Вы чё, на границе обрезание вместе с выездной визой предъявлять будете?

— Тебе шутки, а я почём знаю?

— Ладно, — прервал я Димку, — тебе нужно, чтобы Струг сделал тебе обрезание. Правильно?

— Правильно.

— А почему вы не хотите обратиться к своим? Ронкин — ваш хирург в железнодорожной больнице.

— Хирургическое вмешательство без причины запрещено, его нельзя сделать у простого хирурга, а у евреев-хирургов очень дорого.

— Дорого? Это сколько?

— Тыща баксов.

— Ого! — удивился я.

— Операция плёвая, а риск остаться без работы велик, потому и дорого.

— Ладно, переговорю.

В райисполкоме было пустынно и, невзирая на летнюю жару, прохладно. Я набрал по телефону Ванькин номер.

— Да, — прошептал сонный голос.

— Ты что, спишь?

— Я с ночного дежурства.

Мне стало неудобно, что я разбудил человека, отработавшего на страже здоровья всю ночь, и, видимо, именно это угрызение совести подсказало следующие слова:

— Слышь, Вань, ты готов заработать тысячу рублей за пять минут? Есть такая возможность. Я по пустякам не стал бы звонить.

Ванька, как и я, всю жизнь без денег, долго не думал и уже бодрым голосом орал в телефонную трубку:

— Готов, конечно! Что делать?

— Но, Ваня, с условием, за посредничество мои двадцать процентов.

— Да хоть сорок! За пять минут — тысяча! Что делать нужно?

— Это, Ваня, при встрече.

Пока Ваня мчался ко мне во всю прыть своего ещё молодого организма, я позвонил домой.

— Привет, — добродушно сказал жене, — ты всё ещё спишь?

— Да, а ты меня разбудил.

— В то время, когда её верный супруг, отдавший все силы на службе Родине, готовится получить премию в размере квартального оклада — четыреста рублей и, заметь, принести эту заслуженную премию своей жене, она, эта жена, спит.

— Четыреста рублей?!

— Да, милая, четыреста, и теперь ты сможешь наконец-то купить себе новую кофточку, ту, с блёстками, чтобы и дальше соблазнять своего добродетельного мужа.

Я неслучайно назвал сумму премии в четыреста рублей, Ваньку никто не тянул за язык, он сам сказал про сорок процентов. А то, что Калашников выложит тысячу, я не сомневался: в сравнении с тысячей баксов, наша тысяча рублей казалась суммой смешной, если не унижительной для русского хирурга. Так что в этой истории я для Калашникова, и впрочем для Ваньки тоже, был благодетелем.

Но ни я, ни Ванька Струг не могли предположить, что оперировать нам придётся всю еврейскую диаспору нашего городка — к моему коммерческому удовольствию, они все оказались необрезанными. Но мучают меня подозрения, что евреев у нас в городке было значительно меньше, чем совершённых операций. Ванька так наострился делать «чик-чик», что до сих пор с удовольствием вспоминает те дни.

Только дома всё тяжелее и тяжелее становилось объяснять, за какие такие подвиги администрация завалила меня премиальными.

И Ваньку дважды вызывали в облздравотдел с допросом: откуда в районе эпидемия воспалений крайней плоти? Дело в том, что во всех историях болезни Ванька, чтобы обосновать причину операции, ставил один и тот же диагноз. Но всё обошлось, и, как мне кажется, потому, что обрезанию подверглись перед встречей со своей «исторической родиной» не только Бронштейны-Калашниковы, но и Симоненки-Дорошенки, и даже один Боодон-Оол.

Ностальгия

Что-то случилось, что-то сделало с нами время или деньги, или отсутствие таковых, а может быть, и не кто-то или что-то, а мы сами разучились быть бескорыстными — во всём и со всеми, даже с друзьями и приятелями. Приходят ли к тебе гости, идёшь ли ты к кому-то, а голова, как компьютер, уже выстроила ряд каких-то необходимостей и потребностей. Корысть — тягостная примета моего времени. Как не хочется в это верить, как тяжело об этом думать и сознавать свою причастность к греху.

Но всё-таки у меня есть друг, от которого мне ничего не надо и которому мои доходы до лампочки.

Недавно у меня гостил Сашка Федько. Вот природа-матушка чудит: мужику сорок лет, а он, как двадцать лет назад, бодр, вихраст, с зарядом непобедимой энергии и надежд на лучшее. И хорошо. Так легче по жизни топать.

Вспоминали с ним нашу молодость, смеялись, пили пиво и парились в бане. Правда, нет-нет да и тормознётся наша болтовня, когда прозвучит имя человека, которого уже нет. И вдруг обрывается веселье, тоскливо сжимается сердце. «Да, Саньч, — грустно сказал тогда Сашка, — смерть и до нашего поколения подтягивается. Смотришь, а кого-то уже и подсекла косой, так, совсем не по порядку...»

Банька у меня добрая, воздух накалён до звона, пот до пупа добежать не успевает — испаряется, кожа кровью налилась и пятнистыми разводами покрылась, как у кеты-зубатки. Сидим мы с Сашкой

на полке, притаились — потеем. Вдруг Сашка в смехе затрясся и с полка — вниз.

— Ты что? — спрашиваю.

— А помнишь, как с Меркушева в железнодорожном сортире шапку сняли? Ну, не помнишь? Он как раз с поезда, и на горшок, а с него какой-то мужик шапку сдёрнул. Пока штаны натягивал, мужика и след простыл.

— Нет, — чистосердечно признаюсь я, — не помню, хоть убей.

— Так он по этому поводу расширенное заседание сотрудников милиции и добровольных дружин собрал.

Выбрались мы в прохладный предбанник, развалились в креслах, и рассказывает Сашка случай, который я напрочь забыл. Советание помню, Меркушев злой был, нагоняй получили все: и милиция, и народные дружины, и райком комсомола. На то советание опоздал изрядно подвыпивший начальник ОБХСС Сушило. Он единственный среди милиционеров оказался в гражданской одежде. Когда Сушило пробирался по рядам, Меркушев поверх очков исподлобья наблюдал за ним и вдруг зарычал:

— А почему товарищ Сушило без формы?!

Начальник ОБХСС дошёл до свободного места, выдержал паузу, икнул и ответил:

— В засаде был, Георгий Иванович, выполнял ответственное задание.

— А, — многозначительно ответил Меркушев. — Ну тогда мо-олодец.

Размякший Сушило сел и тут же уснул.

Вот она — память. Советание помню, а что поводом стала меркушевская шапка — нет.

Много было в нашей жизни и глупого, и смешного, но всё равно тепло от воспоминаний, греется душа не на пару, а от присутствия закадычного друга, ностальгии по шепотной молодости, тогда ещё не прихваченной корыстной зрелостью. Теперь мы, конечно, другие, теперь мы настоящие материалисты, теперь мы официанты, смотрим только на карман ближнего. Жаль потерянной наивности, искренности и просто честности. Ну да ладно — не вернёшь.

— Да, — после долгой паузы, пока пиво пили и каждый о своём думал, вздохнул мой друг. — Помер старик. Жаль. Будь сейчас Меркушев жив, к нему бы рванули... Что делать, жизнь идёт, и смерть не дремлет, трудолюбивая старушка, много знакомого люда скосила за эти годы.

— Не грусти, Сашка, не бери ты душу. Лучше вспомни, как дедов выпаривали в городской бане.

Был такой случай, по пятницам в городской бане собирались истинные знатоки банного кайфа. Дилетанты и помывщики предпочитали другие дни недели. Как занесло меня с Сашкой на этот праздник — вспомнить не могу, но мужики заходили в раздевалку уверенные, все знакомые друг с дружкой, все с вениками, какими можно при желании и голову снести начисто. Мастера угадывались во всём: не спешили раздеваться, курили тут же в раздевалке, ни водки не потребляли, ни пива. Запаривали веники со знанием дела, надолго оставляя их в шайках с кипятком, пока сами грелись на полке. На головах ушанки, на руках верхонки; если не смотреть на их голые тела, то зима в парилке и только.

А началась заваруха с того, что один из мастеров, выйдя из парилки, отшвырнул добротный ещё

веник и, кивнув всем на прощание, покинул банную обитель. Я тут же пригрел этот покинутый хозяином веничек. Он мягок был и не тяжёл, но упруг и ласков, как пуховая подушка. И начали мы с Саней куражиться: то я поддам, то он, — кожа трещит, косточки на пальцах плаваются, сердце вот-вот через уши выскочит, а у нас задор. Согнали мы считай всех мужиков с полка, догнали температуру до таких градусов, что и на нижней ступеньке тошно. Я в конце концов не выдержал и сбежал. Сашка с двумя мужиками остался. Один лет пятидесяти, а второй постарше. Слышу из мойки — хлещутся не на жизнь, а на смерть. То один, то другой голос требует: «Поддай-ка!»

Мужики в мойке на гранитных лавках и мыться забыли. Все в слуху, поняли — там в парилке соревнование, да не на шутку — борьба поколений. Первым старичок сдался, вышел и на руках соратников повис. Из шайки на него водой плескнули и в раздевалку увели. А из парилки всё та же песня: «На, поддай-ка!» Свихнулся, думаю, парень, сожжёт и руки, и всё прочее, дурачок. Но и не хотелось, чтоб проиграл мой товарищ.

Минут через десять ударило тело о дверь парной, вывалился мужик, бросил веник в угол и, покачиваясь, ушёл. Самолюбие, видно, сильно болело. А из парилки: «Э-эх! У-ух!» И шлёп да шлёп. Я с минутой подождал ещё да спасти друга кинулся. Залетаю, а полок пуст. Не сразу сообразил под ноги посмотреть: лежит Сашка мой на полу и по стене веником хлещет.

Вытащил я Сашку в предбанник. Только шлёпнулись задами на деревянный диванчик, и вот перед нами мужик голый. И говорит этот мужик меркушевским голосом:

— О-о! Так это вы дедов уморили-то?

— Он, — показал я на Сашку, а сам подивился, что собственного начальника не признал.

— Хо-ро-шо, ну зоходи, коль так. Посоревнуемся.

Идти пришлось мне, Сашка своё уже доказал. Хлестался я до красных кругов перед глазами, а Меркушев в своё удовольствие — что ему на свежачка?! Но спустились с полка вместе, вроде ничья...

— Ну, что замолк, старик? — пихнул я Сашку локтем. — Мы-то хоть изредка можем выбираться из своих хламид да поговорить, а Меркушев навеки умолк. Не покричит, не поворчит, помнишь: «Я тебе как отец родной, понимаешь ли». Эх-ма!

— А ну, вставай! — рванулся я.

— Чего это? — поднял на меня Сашка грустные глаза.

— Одевайся! Поехали! Если Меркушеву до нас не добраться, то мы-то можем к старику на могилку съездить! Поехали на кладбище, помянем!

— Так мы пиво пили. За рулём-то как? Вдруг гаишник остановит?

— Противно-правильный ты стал, Саня. Мы что, для ментов денег не найдём? Вставай!

Могилу нашли быстро: хороших людей недалеко от сторожки хоронили. Узнал я памятник издалека, железный, как широкий восклицательный знак с никелированной звёздочкой в верхнем углу. Подошёл я смело, Сашка за мной. Глянул я на помутневшую от непогоды фотку Меркушева, встретился взглядом и дышать перестал, оробел. Отворил скрипучую металлическую калитку, смахнул с маленького столика

листву и сучья, разложил на газету закуски и бутылку водки поставил. Сашка топчется за спиной, и то хорошо, рожу мою не видит. А я нет-нет да гляну на памятник, на фотку, и стыдно становится, будто слышу его голос: «Ну что ж вы, робята, про меня позабыли, не хо-ро-шо. Я-то вас, как детей, любил».

Налил я в стаканы, потеснился, Сашка рядом застыл.

— Земля пухом, Георгий Иванович... — А водка в стакане бултыхается, пальцы холодным языком лижет. Пью эту гадость, по щекам в стакан слёзы скатываются. Ливанул остатки на могилку. — Мы ничего не забыли, Георгий Иванович, суетимся и думаем, что живём. Вы уж простите нас.

Долго мы сидели на могилке, пили и говорили всё о нём, нашем учителе, отце, заступнике. Нет теперь таких мужиков — мудрых сердцем, с неугасающей до последнего дня жизни заботой о людях и обо всём необъятном государстве Российском.

— Сашка, — вдруг пришла мне мысль, — а ведь на таких держалась наша страна! Ушли меркушевы, и рухнула Советская империя.

— Рухнула, — повторил Сашка и опустил кудлатую голову.

Сардельки

Угольный склад — это огромная многогорбая чёрная куча около разгрузочной эстакады, на которой угрюмо и обречённо застыли серые с помятыми боками полувагоны. Угольный склад — это грузовые весы под навесом, похожим на амбар, с прилепившейся будкой весовщика. Угольный склад — это проходная с покосившимися металлическими воротами, у которых верхняя планка похожа на шлагбаум, а вместо шлагбаума — грязная, истрёпанная верёвка. И у ворот примостилась будка контролёра — точная копия будки весовщика — кирпичная сортирообразная постройка под шиферной односкатной крышей. Ночью будка контролёра становилась ночлежкой мастера по разгрузке вагонов, а мастером по разгрузке был я.

В натопленной будке контролёра я появлялся около восьми вечера, предвкушая одиночество и крепкий молодой сон. Тамбура у постройки не было, и дверь из комнаты открывалась сразу на заснеженную улицу, как из лона матери — на белый свет. Тепло одним паровым дыхом вылетало на улицу, и потому перед сном я топил печь до теплового дурмана. Что-то романтическое было в этих ночных дежурствах: яркий свет прожекторов железнодорожной станции, чёрная тяжесть угольной сопки, тайные тропки среди дикого кустарника в сторону забора птицекомбината и расслабляющая теплота натопленного помещения, в котором с трудом уместились стол, стул, узкий лежак-скамейка из двух плах, кирпичная печь и маленькое окно, закрывающееся на ночь картонным скоросшивателем.

Под лежаком кувалдочка — на всякий случай. Ею я воспользовался не по назначению только раз, когда ко мне в будку ввалился пьяный мужик и на вопрос: «Что надо?» — полез бороться. С правилами борьбы я был плохо знаком, но жить хотелось — и я врезал мужику по голове этой кувалдочкой. Мужик очухался после того, как натёр я ему лицо и шею снегом. Он незлобно матерился, сразу протрезвел и всё пытался вспомнить, что с ним случилось и почему течёт кровь.

Народ жил своей жизнью, почти в открытую приворовывал, и это не считалось тяжким грехом. Мне спереть с угольного склада было нечего, и потому я с азартом и молодым напором подрабатывал — разгружал вагоны. Только собаки натаптывали тропы к птицекомбинату и обратно... Впрочем не только собаки. Угольный склад и птицекомбинат разделяла не очень широкая малонаезженная дорога, дорога эта вела в частный сектор. По истоптаным сугробам было видно, что призаборная территория живёт бурной воровской жизнью.

Весь частный сектор, примыкавший к покосившемуся горбыльно-дырявому забору, уголь потреблял прямиком со склада. Приходили с вёдрами, с санками, некоторые волочили старые оцинкованные детские ванны, народ старался кучковаться — видимо, массовый заход на угольный склад придавал смелости. И я купил себе свисток. Выйдешь, бывало, тёмным вечером, свистанешь пару раз и с удовольствием наблюдаешь, как народ ломится через ветхий забор наутёк. Это мне было вместо комедийного боевика по телевизору на сон грядущий, и в то же время я испытывал удовлетворение, что казённое дело исполняют исправно.

В тот вечер я долго стоял на пороге своего служебного помещения, наслаждался лёгким морозным воздухом, лирическим пейзажем угольной сопки, в дальний край которой вгрызался воодушевлённый халявной добычей народ, и всё размышлял: свистеть — не свистеть, пугать — не пугать. В груди зарождалось какое-то новое сладкое чувство: быть снисходительным и щедрым.

Но плохое во мне всё-таки победило, и я свистанул с таким азартом и удалым переливом, что сравним был, наверное, с Соловьём-разбойником в ментовских погонах. На угольных жуликов напал столбняк, а со стороны птицекомбинатовского забора кто-то ахнул-гыгнул и помчался, дробя плотный наст дороги.

Я вышел за ворота угольного склада и увидел только мелькнувшую за углом фуфайку убегающего человека. Кругом никого, я ещё раз оглядел затенённую дорогу, пожал плечами и собрался было уходить, как на глаза попался тёмный предмет.

«Помер кто со страху», — подумал я и подошёл к лежащему.

— Эй, — позвал я и тронул его, как мне думалось, за плечо.

Это был длинный брезентовый чехол от двухместной палатки, и пахло от него совершенно замечательной копчёной снедью с чесночком.

Больше я не думал ни секунды: утащил мешок за свою сторожку, быстро закопал в снег и сидел до утра в сторожке, не сомкнув глаз. Сначала я ждал возвращения мясного вора и крепко сжимал ручку кувалдочки, потом, когда понял, что никто не придёт, долго придумывал, как всю эту громадину мяса я поволоку домой.

К восьми часам утра начал собираться складской люд на работу. Загалдели бабы, заурчали грузовые КАМАЗы, заскрипел погрузочный кран. Мой сменщик принимал мою писанину, а я с нетерпением поглядывал в маленькое окно на восходящее мутное солнце и чёрный от угольной пыли снег. Вдруг увидел собачонку и аж подпрыгнул: собачка тащила двухметровый хвост сарделек! Моих сарделек! Собачья тварь, догадался я, выкопала мой мешок, распотрошила его, нажралась, а этот хвост потащила про запас!

Я вылетел из будки в чём был, в свитере и без шапки, и, как олень, утопающий в глубоком снегу, пробивался через сугробы наперерез собаке. Она скоро заметила погоню и, чуть склонив голову, трусливо зарычала и прибавила ходу.

— Стой! — гаркнул я.

От моего устрашающего вопля собачонка шаранулась в кусты, сарделечный хвост запутался, собачка дёрнулась и, оторвав четыре штуки, умчалась прочь.

Я по-хозяйски накрутил оставшиеся сардельки на руку и медленно, под улюлюканье водителей КАМАЗов вернулся в сторожку.

— Отобрал у собачки обед, — позавидовал мне сменщик, — здесь килограмма три будет, — он показал на мою руку, обмотанную сардельками.

— Будет, — согласился я и завернул их в газету. — Хоть что-то домой довезу, — вздохнул я, собрался и вышел вон.

Каково же было моё удивление, когда я обнаружил свой мешок в целостности и сохранности. Я взвалил его на плечо и заспешил к автобусной остановке.

«Жаль собачку, — размышлял я по дороге, — отобрал у бедной животины честно сворованные сардельки...»

Воры

Древние племена воевали, чтобы завладеть чужим добром; мировые войны — распределение сырьевых запасов, земель, сфер влияния. История мира — история воровства и разбоя. Чужое всегда сладким казалось — таков вывод рядового обывателя, добросовестно изучившего школьный учебник истории.

Самая простая заповедь — восьмая: не укради. Не укради — и всё тут, не тяни свои ручонки к чужому добру. Но из века в век, из поколения в поколение роняет слезу женщина, стыдливо хмурится мужик на исповеди: «Грешна, батюшка», «Каюсь, лихоимствовал».

Вот и получается, что в Бога верить неприятно и невыгодно, легче атеистом быть или «заблуждаться» — что, мол, у меня свой бог, он, значит, не против, если сопру немного. Не буду лукавить и я, покаюсь в своём грехопадении. Я тоже внёс посильную лепту — не остался, так сказать, безучастным и по-своему стимулировал бурный исторический процесс мировой истории в плане «воровства и разбоя». Ну а поскольку в то время до Бога мне не было дела, то и препятствий не находилось. Я жил, как все, и тем баюкал свою воспитанную совесть, которая не докучала мне.

Будучи ещё студентом, устроился охранять завод. Очень удобный график работы: сутки на службе, а трое в институте.

Что значит стоять на проходной? Это значит не пускать на завод пьяных и ловить воров, тогда их называли «несунами».

Стою на воротах проходной, лето тёплое, зелень акаций пышная, тополиный запах сладок, зарплата маленькая, но стабильная. Рядом начальник караула, пришёл с проверкой — мужик молодой, пузатый, слегка пьяный, но строгий. Я проверяю пропуска машин, считаю ящики груза в кузовах, гремлю цепью, перегораживающей ворота, — словом, исполняю свои обязанности.

Подкатывает мужик с тележкой, полной мусора. Он возит мусор в лог за проходной.

— Что везём? — подозрительно и очень строго спрашивает начальник караула.

— Мусор, — отвечает мужик и, сняв замусоленную кепку, утирает и без того грязное лицо.

— Куда везёшь?

— На отвал, — смиренно отвечает мужичок.

— Это из семнадцатого цеха, они каждый третий день туда мусор выбрасывают, — подсказываю я начальнику караула.

— Где пропуск? — гнёт свою линию начальник.

— Какой пропуск на мусор? — удивился рабочий. — Ну, если нельзя, то я обратно поехал, пусть наш мастер разбирается. А то один — вези, а другой не пускает. Я дурак, что ли, по жаре с дерьмом кататься!

— Стой! — приказал начальник. — Знаю я вас. Что под мусором?

— Мусор.

— Вываливай.

— Начальник, я вывалю, но собирать потом не буду.

— Я тоже не буду, уже собирал два раза, — мимоходом сказал я и пошёл к очередной машине проверять пропуск.

— Вали прям здесь! — начальник наш был упрямым.

Мужик вывалил около проходной маслянистую ветошь, начальник караула палкой расковырял кучу, но ничего материально ценного не нашёл.

Собирать мусор в тележку пришлось всё-таки мне. После мужик благополучно выкатился за ворота, а мы с начальником долго смотрели ему вслед.

— Здесь что-то не так, — задумчиво произнёс начальник караула и ушёл проверять другие посты.

Прошло трое суток, и всё повторилось в точности, до мелочей. Мужик отказывался вываливать, потом я опять собирал мусор. Но вдруг начальник караула чуть ли не взмолился:

— Мужик, скажи, что воруюсь. Честное тебе слово, ничего не сделаю, задерживать не стану.

Мужик хмыкнул, выпятил губу и недоверчиво глянул на хмельного начальника.

— Обещаешь?

— Клянусь!

— Тележки и ворую! Их у нас в цехе делают, удобные. Мусор в лог, а тележку на рынок.

Начальник охраны сдержал слово, выпустил мужика за проходную, а мне вlepил выговор.

Были и другие хитрецы.

Рядом с проходной железнодорожная ветка на завод, по ней вагоны с оборудованием загоняли, а обратно продукцию вывозили. Железнодорожный путь перегораживали металлические ворота. Всё тем же летом это было.

Слышу крик:

— Охрана! Спишь всё?! Открывай ворота!

— Зачем? — спрашивает моя сменщица.

— Разметку веду.

— Каку таку разметку? — охранница заковыляла к путям.

Мужик с ведром белой краски и кисточкой, привязанной к палке, шёл по путям и ставил крестики на каждой тридцатой шпалине.

— А это зачем? — спросила охранница, открывая железнодорожные ворота.

— А хрен их знает, начальство велело разметить. Приказы, сама знаешь, не обсуждаются, а исполняются.

— Ага, — мотнула головой понятливая охранница, провожая разметчика.

Так и упёр мужик ведро белой краски.

Все воровали, и, как мне теперь кажется, это было экономически обосновано или запланировано государством. Воров, конечно, ловили, показательные суды проводили, но своровать на заводе не считалось делом постыдным. Общественное мнение по этому поводу дремало. И разве кто думал, что за малым может быть большее? Мы разве не своровали у себя собственную страну? Не своровали сами у себя собственную совесть, и честь, и достоинство, и ум, и душу? Нет, тогда мы об этом не думали, а если удавалось стянуть, своровать, спереть, слямзить, умыкнуть — да не просто, а проявив особую хитрость и изобретательность, — то жулик (в быту простой и хороший рабочий и очень даже нежадный человек) начинал пользоваться особым уважением. Вот как в этом случае.

На завод, где я безуспешно охранял ворота и собирал пропуска, завезли электрический кабель, который подходил для электропроводки в легковых

машинах. Ажиотаж начался невероятный. Напомню, то было время сплошного дефицита. В цехе, где использовали этот кабель, поставили дополнительную охрану, на каждом разводе нас, как сыскных собак, натаскивали на этот кабель, но...

Стою на посту, охраняю. Подходит мужик в стандартной рабочей робе, на плече — сумка электрика, на другом плече — моток провода.

— Привет, — говорит.

Этого мужика я знал, он действительно работал электриком в цехе недалеко от проходной.

— Здорово, — отвечаю.

— Кто старший?

— Я, — не очень скромно говорю, потому что со мной дежурили ещё две пожилые женщины, но старшего у нас на посту не полагалось.

— Мне поручено провести кабель на вашей проходной для новой сигнализации, но одному не справиться, напарник мой занят. Дай помощника.

Поскольку бабы не помощники, я взялся помогать сам. Мужик прилаживал скобы, просовывал и закреплял кабель, сверлил, забивал чопики — всё на высшем уровне. После, когда проходную уже каблировали, он сел на крыльцо со стороны улицы и милостиво отпустил меня, сказав деловито и с благодарностью:

— Спасибо, земляк, выручил. Ну, а здесь я уже сам справлюсь.

И справился. Когда через полчаса я вспомнил о нём и вышел за проходную, над дверями болтался только откусанный конец кабеля.

Смешно и грустно. Но вот случай из истории недалёкой деревеньки. Померла бабка. Пришёл сын,

уложил старуху на кровать, искал замок на дверь, но не нашёл — видимо, бабка куда засунула, да и не выходила она из дома уж несколько лет, больна была. Подпёр сын дверь, и в райцентр, за сестрой. Приезжают обратно вместе на следующий день, глядь, а в доме пусто — всё вымели жулики, даже кровать из-под покойницы утащили, лежит та сиротинушкой на голом полу. Хлопнул мужик по бокам, к образам обернулся — мол, Господи, зачем попустил, — а иконто и нету.



Кроссворд

В нашем доме живёт старик по кличке Кроссворд. Он высок, тощ и неухожен, невзирая на погоду, ходит в засаленной фуфайке, ободранной шапке-ушанке и кирзовых сапогах. Морщинистое лицо небрито, волосы обильно растут даже на щеках, во рту два зуба. Завидев его, я стараюсь быстрее проскочить мимо, в противном случае:

— А вот скажи-ка мне... — подступает он, не здороваясь и не желая замечать моего откровенного недовольствия.

Он мне неприятен, но прогнать его или, отвернувшись, уйти я тоже не могу. Такое воспитание.

Когда я поселился в этом доме, он рассказал мне, как служил писарем у «самого Ворошилова», а потом, видимо, после того, как стали «достоянием гласности» некоторые неблагоприятные ворошиловские дела, он общил, что был телохранителем у «самого Будённого».

— Слышь-ка, — Кроссворд достал из-за пазухи журнал с кроссвордом и прочёл: — Кривоногий и хромой начальник. Восемь букв. А?

Я топтался перед стариком, но никак не мог вспомнить ни кривого, ни хромого начальника. А Кроссворд, оголив оба зуба, с удовольствием ждал моего поражения. Я наморщил лоб, а сам думал, что он, наверное, и спит в этой фуфайке, иначе с чего бы от него так воняло.

— Не знаю, — ответил я, надеясь, что скорая победа насытит его.

У меня сегодня особый день, мне нужно торопиться, у меня радость: я спешу в роддом за женой

и... за моим ребёнком. Нас теперь трое. Трое! Но я это понимаю только умом, а внутреннего ощущения ещё не сложилось. В сердце полный беспорядок. И вообще, пока мне непонятно: как так — были вдвоём, а теперь уже втроём? Чудеса!

— Ха-ха, — тем временем неприятно хрипит Кроссворд, — начальник кривоногий и хромой, это просто, дети знают. Ну? Мойдодыр эта! Там так ведь и написано: «умывальников начальник и мочалок командир».

Мне стыдно, что на такой простой вопрос не сообразил ответа. Но непроизвольно возникает досада на тех, кто составляет эти сумасшедшие кроссворды.

— А вот ещё, — пользуется заминкой Кроссворд. — Непробиваемый тренажёр для лба?

— Это твой дурацкий кроссворд.

— Э, нет, — задумчиво тянет старик, — это стена. Помнишь: «стену лбом не прошибёшь»? Вот и я не сразу допёр.

Но последние слова я слышу уже издалека и машу ему:

— Спешу, извини, я стал отцом! У меня родился сын!

Я почувствовал, как мне приятно было произносить эти слова: «У меня родился сын!»

И вот мы идём: на моих руках туго запелёнатый и укутанный в одеяло ребёнок. Мой ребёнок. Я боюсь прижать его — вдруг сделаю больно — и несу на вытянутых руках. Чуть позади идёт жена, она тоже довольна, но мне кажется, что её радость больше оттого, что кончились тяготы и волнения роженицы.

В моём доме скоро поселятся новые заботы — родное существо, которому сначала нужно будет научиться ходить и говорить, потом подниматься рано утром,

чтобы не опоздать в школу, и настанет тот день, когда я, уже седым или лысым стариком, провожу своё дитя в самостоятельный путь по такой непростой жизни. Но это будет потом, а пока наше счастье рядом, на моих руках.

С рождением ребенка что-то случилось во мне, течение суетной жизни, будто из чащи лесной, вырвалось на широкое, залитое солнцем раздолье. Я почувствовал, что крепко обосновался на земле. Впереди меня стареющий отец, он ещё твёрдо стоит на ногах, и его исхудавшая грудь первой принимает удары житейских невзгод, которые уносят в небытие стук нашего сердца. Мне покойно за его спиной, но знаю, что наступит миг, когда время широким воздушным потоком охватит меня, и тогда я пойму, что значит быть первым. За спиной моё дитя. Придёт время, я уйду вслед за отцом, и мой ребёнок встанет на моё место. Вечен путь неумолимого времени. Я вижу, как вздрагивает ослабевшее тело отца, как тосклив его взгляд, как безнадежно опустились его руки. Подержись ещё, отец! Я знаю, что жизнь не пощадила тебя, но и на мою долю она не приготовила много радостей. Впрочем... для радостей ли мы на этой земле?

И опять тоскливо щемит сердце: для чего мы здесь, на этой земле? Для чего жил отец? Чтобы родился я? А какой смысл в моей жизни? Что я совершил такого или что я должен совершить, чтобы оправдать своё присутствие на земле?

Вопросы путаются в голове и мешают дышать. Я должен ответить на этот вопрос! Я должен объяснить своему сыну, для чего он будет жить на белом свете.

Но неуверенность глохнет: куда мне, я не смог ответить ни на один вопрос журнального кроссворда,

и старый идиот по кличке Кроссворд откровенно смеётся надо мной.

Я люблю тихие зимние вечера на лавочке около дома. Газонные кусты покрыты мраком, сухой морозец, редкие снежинки, горящие разноцветием в копне света подъездной лампочки. Я сижу на заснеженной лавочке, рядом в коляске спит мой ребёнок. Дом в пятнах освещённых окон. Окна одинаковые, и мне кажется, что и жизнь у всех людей одинаковая.

Я смотрю на своего ребёнка, мне хочется, чтобы его жизнь не походила на жизнь людей за этими окнами, мне уже теперь хочется гордиться своим ребёнком, и я, кажется, уже горд.

— А вот, слышь-ка, — незаметно подошёл ко мне Кроссворд, — деревянная плакса? Три буквы.

— Ребёнок у Буратино.

— Это ива! — ответил старик скрипучим голосом.

Пора собираться домой, пока он не разбудил ребёнка, всё равно ведь теперь не успокоится, если не задаст мне все накопившиеся вопросы, а их у него битком набитая голова под рваной шапкой. Я ещё раз оглядываю дом и глубоко вдыхаю морозный воздух.

И вдруг я обернулся к старику:

— Ответь и ты на мой вопрос: для чего человек живёт на земле, для чего мы все родились?

Кроссворд задумался, скривил физиономию и почему-то почесал шапку там, где узел топорщившимся бантиком стягивал полуистлевшие уши. Потом облегчённо мотнул головой:

— Да кто ж его знает. А вот у меня вопросик с заковыкой...

— Иди к чёрту, — прервал я его и, задрав голову, увидел своё окно. Оно мигало — жена звала домой.

Лотерея

У меня в кармане лотерейный билет. Можно, конечно, посмеяться над моей наивностью и напомнить, что у десяти тысяч болельщиков, которые придут сегодня на стадион, такие же билеты, а у некоторых по несколько десятков или того больше. Но это неважно, выигрышный билет у меня!

Я слишком долго ждал этот день, чтобы не узнать его. Я открыл глаза и увидел солнце, его было много — и на клетчатом одеяле, и на стенах. Там, где отпечатались квадраты солнечного света, обои обесцветились и казались линиялыми. «Счастливым день», — подумал я и поднялся с постели. Возможно, у кого-то в его счастливый день лил дождь или мороз заворачивал под сорок, но в мой день должно было быть много солнца, я это знал наперёд, это был первый признак наступающего счастья.

У меня выигрышный билет. Я не выпускаю его из руки, и оттого моя ладонь вспотела в тесном кармане, но я боюсь потерять его и держу крепко. Сегодня будет разыгрываться «Москвич», есть, конечно, машины посolidней, но к чему эти мысли, если выбор сделала сама судьба. Я слишком долго ждал этот день и потому научился ценить такие подарки и «не смотреть дарёному коню в зубы».

Жена ещё ничего не знает, она вместе с детьми на даче. Неплохо сказано — дача! А моя дача — это клочок песчаной земли с крошечным, почти игрушечным домиком у дороги. Этот домик строила моя мать и говорила, что придёт время, у нас будет настоящий

дом по всем правилам, но судьба не подарила нам случай, и мы остались в этом. Я сделал всё для того, чтобы в нём можно было жить в тёплые летние дни. Он мал, но ни дождь, ни ветер не проникают в него, а железная печка «Пчёлка» быстро нагревает домик, если случится прохладный вечер.

Наш участок оказался в «купеческом ряду» — так дачники называли улицу с добротными кирпичными и брусчатыми домами. Все здесь были сплошь начальство, и наш домик казался потерянным среди крепких строений соседей. Но деревья на участке разрослись, наш домик пропал из виду «купеческого ряда», и теперь, когда к соседям приезжают гости, они всякий раз заходят на наш участок, думая, что это продолжение соседского. Я нашёл на них управу: отгородился забором из алюминиевой проволоки.

Я представляю, как обрадуются сегодня дети и вытянутся лица соседей, когда они увидят меня за рулём новенького «Москвича». Дети ещё не разучились радоваться и верить в чудеса, поэтому их восторгам не будет конца, а жена... она подумает, что я разыгрываю её, она только усмехнётся, глядя на меня и на машину. И тогда мне придётся доказывать, что это не розыгрыш, а чудо, самое настоящее чудо, наша мечта наяву. Я покажу ей бумаги и начну свой рассказ с того момента, когда я открыл глаза и увидел много солнца. Она будет смотреть на меня, изредка переводить взгляд на машину, а потом заплачет. Конечно, заплачет, я же знаю свою жену.

Теперь мы, как все из «купеческого ряда», будем ездить домой на машине. Жену я посажу рядом с собой, а детям на заднем сиденье как раз места на троих.

Я вышел со двора, окружённого высокими домами и оттого хранившего в себе тишину и запах борща, но за гулкой плесневелой аркой жил громадный, яркий, суетный мир. За нею царил простор широких улиц, блеск окон, потоки людских голов и сверкающие спины автомобилей — и всё это под белёсым от жары небесным сводом.

Я обернулся на визг тормозов и увидел большую машину. Такие машины привлекают внимание своими размерами, необычной формой и низкой посадкой. Дверца открылась, и из машины вышла молодая женщина. Зеваки, как жужжащий рой мух, собрались у обочины, они рассматривали машину и стройную хозяйку, которая, нисколько не обращая на них внимания, подошла к газетному киоску и купила несколько газет.

— Лиля! — вырвалось у меня, и я испугался собственного голоса.

Женщина, стремительно идущая к машине, остановилась, будто наткнулась на препятствие, обернулась к толпе. Люди смотрели то на меня, то на неё. Но я не повторил её имя. Она недоуменно пожала плечами и, скользнув по мне рассеянным взглядом, быстро села за руль. Скоро её шикарная машина потерялась в общем потоке разноцветных, стремительно бегущих крыш.

Как же это было давно! Я свернул с улицы и, стертв со лба обильный пот, уселся на высокий бордюрный камень. Лилия! Господи! Двадцать лет! Двадцать лет назад, когда были живы те, кто распоряжался нашим детством, когда я пятнадцатилетним юнцом мнил себя мужчиной, когда я, безотцовщина, лез из кожи,

стараясь походить то на одного соседа, то на другого, когда... Ах, детство! Какое замечательное, серьёзное это было мальчишество!

В то время приехала к нам в дачные соседи внучка бывшего начальника милиции, дочь дипломата — Лиля. Ей было тринадцать лет. Высокая девушка с необычным для нашего климата каштановым загаром, которая большую часть своей жизни прожила в неведомой Индии. Я наблюдал за нею из кустов разросшейся малины. Её появление потрясло меня. Наши тринадцатилетние девчонки казались сопливой мелюзгой в сравнении с нею.

Обильное южное солнце сделало своё дело, превратив подростка в девушку. Я с открытым ртом слушал, как она, не моргнув глазом, шпарила со своим папашей по-английски, ни разу не заглянув в словарь. Наши классные отличницы померкли навсегда. Я, поражённый в самое сердце, наблюдал, как её обучают шнуровать ботинок и завязывать бантик! Она не умела! Она не умела мыть пол и посуду, тарелки выскальзывали из рук, а укладываясь спать, она звала бабку, без которой не могла раздеться. Оказывается, у неё были слуги, которые всё делали за неё! Я был убит наповал! Не влюбиться в неё было просто невозможно. Я не мог устоять перед странной девочкой, потому что мне самому приходилось готовить еду, — мать не каждый вечер приезжала навестить нас. Мне приходилось стирать, поливать грядки и пропалывать морковь. Я самостоятельно строил кухню из материала, который добывал по ночам на дальних участках. Именно поэтому я не смог не влюбиться в необычную соседку.

Наконец, Лилин папа уехал за границу, «на работу в Индию», я осмелел и появился у соседей в гостях. Опытные старики тут же раскусили мою безумную любовь, и по их просьбе я начал обучать «Лилечку» всем хозяйственным премудростям: мыть пол и посуду, заправлять постель и заплетать косы. Да, заплетать косы, у меня был большой опыт — сестра. Через несколько дней учёбы Лиля сидела на тахте, поджав под себя длинные загорелые ноги, а я мыл пол, посуду, вытрясал половики, бегал за водой и колол дрова. «Какой умница мальчик», — то и дело слышался поощрительный бабкин возглас, а Лиля удивлённо пожимала плечиками и отвечала: «Ну, баба, ведь он такой простой!»

Я начал худеть. Обеспокоенная мать щупала мой лоб и всё спрашивала, что у меня болит. А я днями пропадал у соседей, наблюдая прекрасную Лилю, склонившуюся над очередным английским романом. Правда, был случай, который немного остудил мой пыл.

Мы играли в догоняшки, я, как истинно влюблённый, гонялся только за своей избранницей, которая длинноногой прытью носилась между грядками. Неожиданно она споткнулась и упала. Браслеты, которыми были унизаны её тонкие руки, будто искры, брызнули в разные стороны. Поднялся ужасный крик. Девушка, которой на вид можно было дать все восемнадцать лет, размазывала грязные слёзы по щекам, а меня подталкивали к ней для извинений. Я пытался объяснить, что не толкал её, что она сама упала и что извиняться мне не в чем. Но меня всё-таки уговорили, и я, поступившись истиной, извинился,

а после удалился и не появлялся у соседей весь день. Вечером наша калитка распахнулась, и на участок ступила восхитительная Лиля. Красные лучи заходящего солнца высветили розовое сафари, облегающее её стройное тело. Я вновь был покорён и, как провинившийся телок, поплёлся провожать свою богиню по окрестностям садоводческого кооператива. Всё повторилось вновь: пол, посуда, дрова, вода и грядки на чужом участке.

Через некоторое время на соседскую дачу нахлынули гости. То ли у деда, то ли у бабки был юбилей. Смех, музыка, уличное застолье. Я сидел в кустах малины и, восторженный, наблюдал за своей возлюбленной. Но в память врезалось иное: один из гостей, кинув на стол пачку денег, сказал, что не смог выбрать достойный подарок, дарит деньги, пусть, мол, сам юбиляр найдёт им применение. Вот эта пачка денег и поразила меня. Мне казалось, что на такую сумму можно купить весь мир, а если не мир, то безбедно зажить всей нашей семье. Именно в тот вечер, сидя в малине, я понял, что есть люди, у которых иная жизнь. Они живут по каким-то мне неведомым законам, решают миротворческие задачи, едят невиданные блюда и всё у них не так, как у нас. И я возвысил этих людей, мне скоро стало казаться, что они и созданы из другого теста, и дух у них особый. Единственное, что меня смущало, так это сортир, который торчал на задворках и вонял не лучше нашего.

В то золотое время становления я понял, что есть иные люди, иная жизнь, и все последующие свои дни я, не думая о том, стремился к такой жизни, боролся за право быть избранным. И только теперь,

с выигрышным билетом в кармане понял, что такая жизнь даётся или с наследством, или с приданым на свадьбу, или, что совсем невероятно, — случаем. Но вот наступил день, когда счастье коснулось меня, вот он, Божий дар! У меня в руке конверт с лотерейным билетом.

Солнце по-прежнему сияло высоко и ярко, чужой двор был грязным и пёстрым от разноцветного белья на балконах. Радость прошла. Ощущение счастья высохло, как лужа на раскалённом асфальте. Я всё понимаю. Всё. Я не избранник в этой жизни, для этого мне так многого не хватает: нужна жене шуба, детям всё, потому что растут, как грибы после дождя, нужно срочно ремонтировать подгнившую дачу, которая непонятно на каком энтузиазме держится вот уже двадцать лет, нужно отдать бородатый долг теще, нужно...

Я понимаю, что моё счастье пришло слишком поздно, чтобы осчастливить меня. Не тот задор, не тот пыл, не те мечты.

Я обтёр вспотевший лоб и встал. Пора идти, скоро начнётся розыгрыш счастливого билета, мне всё-таки так необходима теперь машина, необходима, чтобы суметь рассчитаться со всеми накопившимися за жизнь долгами. Что ж делать, если для кого-то счастье — это возможность залатать старые дыры.

Операция «Унитаз»

БЫЛО это в одна тысяча девятьсот восемьдесят... мутном году. Иной раз спрашиваешь себя, а было ли у нас другое, не «мутное» время. Это теперь кажется странным, что рыба свободно продавалась только в магазинах Приморья, а сыр, в том же Приморье, по блату, а у нас в Сибири — наоборот. Любопытное, скажу вам, было время. Но, как объявили у нас вольницу, задумал я жить не по-воровски — бедно, как при социализме, а по-капиталистически — честно и богато.

И завёлся у меня в голове буравчик с одним вопросом: как разбогатеть? По городу хожу, наблюдаю, в магазин зайдёшь, а там шаром покати — ничего нет. И растерянность была не оттого, что везде конкуренция не на жизнь, а на смерть, а как раз наоборот: везде свободно, к чему хочешь приложить руки — прикладывай, всё нужно, ничего нет, а значит, всё купят. Мы не были готовы к такой свободе ни умом, ни сердцем. Народ, скажу честно, первые веяния капитализма за скрываемый от нас коммунизм воспринимал. Путаница началась и в головах и в душах наших. И то верно, к чему более-менее деятельный человек прикоснётся, оно тут же в материальные блага превращается.

Но и другое было: мало кто верил, что власть позволит свободно жить и по своему труду и таланту деньги зарабатывать. В бизнес пошли самые отчаянные или не имеющие ничего за душой, кроме

нахальства и желания хапнуть. Вот, наверное, почему наш российский бизнес узколобый и воровской. Но, может быть, и не только поэтому, а возможно, и потому, что прорабы рыночных отношений забыли о таких важных, если не главных, понятиях для России, как Отечество, Честь, Родина, Совесть, Человек. Вот и поменяли мы одну крайность на другую. При социализме своровал — значит чуток вернул сворованное у тебя государством, а при капитализме — продал, и уже молодец. А как продал — это не важно; главное, продал — таковы правила рыночной игры. И пошли торговать наши братья, новоиспечённые гегемоны рыночной экономики: налево — пол-Родины, направо — и честь, и совесть. А почему бы и нет, если всё есть товар и имеет цену!

И мы, энергичные, туда же. Собралась нас компания разношёрстная: поэтесса Люся, ответсекретарь многотиражки Мишка и стройная женщина Люба; я тоже вошёл в состав нового предприятия. Самой активной и деятельной была поэтесса Люся — она и стала душой коллектива, её идейным лидером, вдохновителем и мамой, и по праву заняла директорское кресло.

Мы были нашпигованы убойным комсомольским энтузиазмом. Недели две обсуждали штатное расписание, в итоге должности были распределены следующим образом: генеральный директор — один, а директоров — трое.

Других должностей в нашей новоиспечённой фирме не было, только генералитет, но фирма была всё-таки необычной, все её работники с высшим

образованием! После создания фирмы и распределения должностей нас прямо-таки подмывало отчитаться перед вышестоящими организациями, но отчёта с нас никто почему-то не спрашивал, и мы устроили хмельной банкет.

Месяц ушёл на формирование идеологии, финансовой и экономической тактики и стратегии. После мы долго корпели над различными коммерческими проектами и бизнес-планами, которые, как теперь помню, были построены не только на голой корысти, но и во благо народа.

Поскольку фирмой руководила поэтесса, я слыл за прозаика, а Мишка — за автора юмористических рассказов, то ничего удивительного, что победил издательский проект. И решено было издавать юмористическую газету и книги русских классиков. Но для газеты, как, собственно, и для книжек, нужна бумага. Вот и решили мы для начала приобрести бумагу.

Кто-то, видимо, пошутил, когда сообщил нам, что самая лучшая бумага производится на Сахалине. Мы долго не думали, мы были людьми действия. Я купил билет на самолёт, получил в паспортном столе право выехать на остров Сахалин — приграничную и потому закрытую для свободного посещения зону государства Российского, и, не мешкая более, улетел на край земли.

Остров ослепил меня: яркостью, нарядностью и праздничным настроением, хотя были будни, изобилием японских машин на улицах очень чистого и опрятного города Южно-Сахалинска. Поразило вместо привычного карканья — кваканье воронья и отсутствие запахов трав. На Сахалине нет ароматов

природы, просто есть плотный, тугой, чистый морской воздух.

Но когда я сел в рейсовый автобус и в полуденный час при ярком солнце, полном безветрии, свежем воздухе, врывающемся в окно, проехал до Холмска, то, конечно, остров потряс меня красотой и разнообразием природы. И степь, и ширь золотой долины, и сопки в сосновых и папоротниковых разводах, и узкие быстрые каменистые речки, и горы с обрывами, глубокими ущельями и тяжёлыми наростами каменных скал над вьющейся серпантинной дорогой! О красавец, остров Сахалин! О неоценённая жемчужина государства Российского! У нас столько «жемчугов», что ходим и не видим, пригляделись, благо соседи то там, то сям урвать пытаются, только тем и напоминают нам, что богатств и красот у нас множество, да и такого добра, какого в других краях днём с огнём не сыщешь.

Из Холмска еду в город Чехов. Но здесь уже иная дорога, щебёночная, насыпная, медленная, да всё по берегу моря. И такой покой в этом море-океане, такая успокаивающая сила в набегающих рядах волн в пенистых командирских шапках, такая голубизна воды и прозрачность воздуха, такая сила, смелость и отвага в морских далёких судах!

Город Чехов — это две улицы в узком ущелье, жуткая вонь целлюлозно-бумажного комбината и едко-жёлтый дым, который тянется через весь город по ущелью к морю. Город меня поразил. Я хотел бежать из него, но вдруг сообразил: так жутко может вонять только производство самой лучшей бумаги в мире, и остался.

Николай Николаевич, директор комбината, хитрый, как все украинцы, продавать бумагу не желал. Он долго слушал мой лепет про свободу слова и русскую классику, потом коротко махнул рукой, мол, знаю, и положил передо мной лист исписанной бумаги.

— Предлагаю бартер вот по этим позициям, — сказал он и посмотрел на меня прищуренным глазом.

Я впервые услышал это чарующее новизной слово — бартер. Я сделал вид, что понимаю его, взял список и встал.

— Мне нужно вникнуть и посоветоваться.

— Это очень сложные позиции, — склонил голову Николай Николаевич, продолжая рассматривать меня.

Я понимал, что мой внешний вид «не бизнесмена» не располагает к серьёзному разговору, я понимал это и потому сказал очень откровенно:

— Если у меня не получится — никто не потеряет. Здесь есть интересная позиция: поставка унитазов. Наша фирма займётся этим, но, как вы сказали, позиция очень сложная, и потому соотношение взаимопоставок должно быть один к двум.

Николай Николаевич кивнул:

— О, если бы вы нашли унитазы!

— Какое количество вас интересует?

— Унитазов много не бывает, — философски ответил директор комбината, и мы простились. Мы простились дипломатично — до встречи.

Я понимал: Николай Николаевич совершенно уверен, что унитазов мне не найти, и потому, чтобы не терять своего времени, быстро согласился на мои условия.

Я достойно удалился и был уверен, что больше никогда не появлюсь на чеховском комбинате — у меня не было, да и быть не могло никаких унитазов. Более того, если бы у меня дома треснул мой собственный унитаз, я бы не знал, где достать новый и сколько он стоит. Время было такое — нигде ничего не было, всё считалось дефицитом.

Да вы, наверное, не знаете значения слова «дефицит». Откройте словарь, прочтите. Я же не стеснялся узнавать про неведомые нам маркетинг и бартер. Хотя, что вам скажет словарь? Состояние всеобщего дефицита нужно прожить, чтобы понять, что это такое. Что значит жить в стране, где всё изпод прилавка или по блату. Что значит жить в стране, где дружба с рядовым продавцом приравнивала тебя к привилегированному обществу. Нет, вам этого всё равно не понять. Дефицит — это такая фигня... по которой строились все деловые, дружеские, супружеские, творческие и любовные отношения. Мы даже рожали по блату и хоронили через знакомых. Вот это было времечко! Но притом в космос летали, сильнейшей державой мира были, культура — не чета нынешней, гламурной — на высоте была, попробуйте теперь достичь хотя бы нашего уровня со своим маркетингом, плюрализмом и свободой нравов. Штаны порвёте, тьфу, прости меня, Господи!

Моего возвращения в фирме ждали с нетерпением. Я доложил, как положено, подробно и положил отчёт о проделанной работе.

— И что дальше? — спросила Люся.

— Всё, — развел я руками, — тушите свет и поливайте веники. Унитазов у меня нет.

— Но где-то же они производятся? — Люся смотрела на меня удивлённо-неодобрительно. — Узнай где и доложи.

Я усвоил ещё со школы, что дисциплина — залог мощи любой, не только военной, организации, и потому спорить не стал. Я узнал, что действительно есть такой завод, и даже съездил на него. До директора меня не допустили, но с замом я всё-таки встретился.

Уже опытный, я начал свою речь так:

— Предлагаю наши маркетинговые отношения построить на бартерных сделках. У вас есть список потребностей?

Такой список нашёлся, и я своим капиталистическим деловым напором произвёл приятное впечатление на заместителя директора унитазного завода.

Список бартерных условий я положил перед генералом Люсей. Список был коротким и очень дефицитным, там значились станки и оборудование, которое и в светлом прошлом достать было невозможно.

— Но где-то же они производятся? — глянула на меня Люся.

— Где-то, наверное, производятся. Но, дорогой товарищ начальник, к примеру, я нашёл требуемые станки, а что дальше? У нас нет денег, чтобы купить их. В лучшем случае я привезу ещё одно звено бартерной сделки! Но легко предположить, что скоро я соберу не одну бартерную гирлянду, и к Новому году этими гирляндами мы сможем украсить городскую ёлку.

И вот тут я услышал фразу, которая помогает жить до сих пор. Люся сказала следующее:

— Вяжемся, потом разберёмся.

После я узнал, что эта фраза не Люсиная, а наполеоновская, но бог с ним, с Наполеоном, — какая фраза! Здесь и наше «авось», и мужество, и лихость, и дерзость, и лень. Мы всё-таки не зря выбрали Люсю генеральным директором, она могла заставить работать. И я умчался искать токарный станок.

И я нашёл станок! Я опять оправдал Люсины надежды. Нашёл случайно, и случайно мужик, главный инженер завода, который распоряжался этими станками, был однофамильцем нашей Люси. Я сразу же сообразил, как красиво будет смотреться наша просьба: Коваленко просит у Коваленко, и, возможно, что однофамильство сыграет свою положительную роль, и главный инженер даст нам станок в рассрочку.

Люся внимательно выслушала мой доклад, прочла подготовленное письмо на имя главного инженера Коваленко и положила в свой портфель.

— Я сегодня хотел отвезти письмо в канцелярию завода, — не согласился я с решением Люси поносить письмо у себя, — пройдёт неделя, пока оно появится у главного инженера на столе, там такая бюрократия...

— Я подпишу его сегодня.

— Ты знаешь Коваленко?!

— Как облупленного, он мой муж.

Вот он — бизнес! Именно тогда я понял, что бизнес — это не отношения денег, бизнес — это отношения людей.

Но как бы всё хорошо ни складывалось, денег ни на станок, ни на унитазы у нас не было. И тогда пришла гениальная идея: продать взятый в рассрочку станок по двойной цене. Первой частью двойной цены рассчитаться собственно за станок, а второй частью — собственно за унитазы!

Унитазный завод на заявленную цену станка даже не глянул, ему было наплевать: всё равно по условиям договора ему предстояло рассчитываться с нами унитазами, а этого добра у них хоть ножом режь и на хлеб намазывай, завались. Мы предложили Коваленко сделать выбор: деньги или дефицитные унитазы за станок. Коваленко был не дурак и тут же выбрал унитазы. А может, и не так всё происходило, теперь трудно сказать — семья дело тёмное. Может быть, прижала Люся своего мужичка в уголке или к кровати и выдавила из него согласие на бартер.

Унитазы мы отгружали всей нашей фирмой, конечно, кроме Генерала. Люся, как и подобает руководителю, сидела в своём кабинете, курила и ждала результатов. Мы с Мишкой таскали унитазы в вагон, а стройная Люба стояла в вагоне и считала товар. Мы с удовольствием бегали в обнимку с унитазами к стройной Любе. На грузчиков у нас денег не было, мы и так с грехом пополам наскребли средств на железнодорожный тариф.

Двести пятьдесят унитазов мы запихали в крытый вагон, — это значит, что я и Мишка по сто двадцать пять раз обнялись с унитазом! А вы как думали, их по-другому и не возьмёшь, так что я до сих пор помню это гениальное сантехническое изделие всей своей натруженной грудью.

Вагон медленно поплыл, как недавно сказал один писатель, по «стальным прожилинам» на восток, а я уже сидел в самолёте, и по воздушной «прожилине» летел на остров. В моём новеньком портфеле хранились отгрузочные документы на унитазы.

Погода на Сахалине непредсказуема. Я прилетел — хлестал проливной дождь, я ехал автобусом по равнине и по горам — хлестал дождь, я приехал в вонючий целлюлозно-бумажный Чехов — хлестал дождь. По земле, где угадывался хоть какой-то уклон, бурлили грязевые потоки, лужи выходили из берегов и соединялись в большие лужи, а те, в свою очередь, образовывали озёра. Сверху нещадно лило, ноги были в воде, простыни в гостинице — хоть выжимай, на подстанции отключили напряжение с целью предупреждения несчастных случаев, телефон не работал по причине невыявленного замыкания, водопровод не действовал из-за опасности попадания канализационной воды. Подвожу итог: без воды, света, связи, горячего питания, в сырости жили люди, прописанные на острове и командированные на короткое время. Именно за те две недели сахалинской сырости я понял, что Сахалин — это каторга! Красивая, конечно, но каторга!

Николай Николаевич, как, собственно, и я, был совершенно уверен, что я никогда больше не появлюсь у него, и потому вычеркнул мой образ из памяти сразу же, как только за мной закрылась дверь.

Его усилия вспомнить меня были тщетными, и я понял, чем можно вернуть наше несостоявшееся знакомство. Я положил перед ним отгрузочные документы.

— Через несколько дней к вам придёт двести пятьдесят унитазов.

— Сколько?!

— Двести пятьдесят, к ним сливные бачки и всякие прочие прилады. Моя фирма хотела бы получить по нашей с вами договорённости бумагу.

Николай Николаевич был ошарашен. Я не мог понять причину такой радости, только утром с удивлением увидел огромную очередь в кабинет директора — все с заявлением на приобретение унитаза. Сахалин сошёл с ума, весь остров устремился в город Чехов, чтобы занять место в очередь на приобретение унитаза. Я был поражён такой осведомлённости людей, но потом узнал, что эта новость исходила не из Чехова, а из Холмска, от железнодорожников, в чьих руках были сопроводительные документы на вагон.

Меня перевели в другой гостиничный номер, с радиотелефоном, с горячей водой из электрического бойлера, а свет подавался от дизельной установки. Всё-таки умели советские люди, даже на каторжном острове, устраивать маленькие оазисы земного рая, который с благоговением обещали всем, но называли его, этот рай, почему-то коммунизмом.

В Чехове я познал, что такое слава, — меня узнавали на улице и здоровались, хотя на лбу у меня не было написано, что я из Новосибирска и что именно я привёз двести пятьдесят унитазов. Маленький городок, как легко прославиться в нём!

Пришёл долгожданный вагон. Ни единого экземпляра боя, я сам облазил все унитазные ряды.

Директор ждал меня в конторе. Горячий кофе, конфеты и улыбка секретарши. Вот она, слава, по делам и почёт и уважение.

Николай Николаевич покинул своё удобное кресло, сел напротив меня за приставным столиком с чашечкой кофе. Я понял дипломатический ход директора и почувствовал себя унитаазным королём и благодетелем всего Сахалина.

— Сколько мы должны вам за поставленный санфаянс?

Я никогда не слышал, чтобы наши родные унитаазы, с которыми мы встречаемся по несколько раз на дню, называли так элегантно и красиво: санфаянс! Здорово!

— Три вагона офсетной бумаги, — соврал я.

Вообще-то мы уславливались за вагон унитаазов два вагона бумаги, но... он наверняка забыл об этом; кроме того, я не ожидал фурора, который произвели мои унитаазы, и вообще, три вагона бумаги больше, чем два.

Николай Николаевич поперхнулся, и я понял, что немного перебрал, но слово не птичка...

— Хорошо, пусть будет три, — с укором сказал Николай Николаевич. — Если обещал, то обещание надо выполнять. Но сколько санфаянса вы сможете ещё поставить и на каких условиях?

Я всё-таки наглец. Сейчас вспоминаю тот разговор и просто диву даюсь самому себе. И куда только теперь всё подевалось: и сообразительность, и ловкость, и быстрота реакции, и юмор?! Эх, молодость!

Я задал свой вопрос:

— О каком товаре речь: об отечественном или импортном?

Николай Николаевич опять поперхнулся. Вообще он много удивлялся в тот день.

— А что, есть возможность поставить импортные унитазы?

— Сейчас обещать не буду, нужно изучить ситуацию, провести маркетинговые исследования...

— Да если ты найдёшь вагон импортных унитазов, я завалю тебя бумагой! — Николай Николаевич встал и взволнованно заходил по кабинету, думая, что он не заметил, как перешёл на «ты».

— Позиция сложная, — деловито заметил я.

— Понимаю, — кивнул Николай Николаевич, и тут до меня дошло, что он затеял внутриостровные и очень выгодные сделки!

Впервые я испытал церемонию официальных проводов. Меня довезли до самого трапа самолёта, на посошок мы пили армянский коньяк и закусывали морожеными креветками, я вёз домой кучу впечатлений, копчёную горбушу, трёхлитровую банку лосося икрой и отгрузочные документы на три вагона офсетной бумаги.

Я не был экономистом, но знал, сколько стоит в Новосибирске офсетная бумага, для таких подсчётов и арифметики хватит.

— Эй, учредители, ловите миллион!

И мы поймали его. Мы не издали ни одной книги русских классиков, мы попытались выпускать газету, но скоро похоронили и эту инициативу — бизнес сорил деньгами без труда, ума и пользы, но бизнес не только сорил, но и ссорил...

Деньги — страшное зло! Каждый из нас был уверен в своих неоценённых по достоинству заслугах перед фирмой, каждый ждал больших дивидендов за свой личный вклад и всё такое прочее.

Нашу фирму ждало разорение, страну — дефолт. Мы так стремились к этому, и вот мы теперь здесь, на поле чудес в стране дураков. Здравствуйте!..



Боцман Федя и корейская мафия

В моём представлении боцман — это самый грозный человек на корабле. Видимо, ещё по детским экскурсам в творения русской литературы, особенно от рассказов Станюковича, в моей голове прочно застрял образ боцмана со свистком во рту или орущего: «Свистать всех наверх!» С детских лет я точно знал, что боцман — это как самый крутой пацан с нашей улицы или, сравнение более позднего периода, как вышибала в ресторане. Короче, боцман — это челюстно-лицевая хирургия без анестезии, покоритель и угнетатель матросов, естественно, с соответствующим внешним видом разъярённого дебила.

Фёдор напрочь опровергал все мои представления о боцмане. Он был мужчиной средних лет и среднего телосложения, спокойного характера, всегда занятый хозяйственными заботами в своём ухоженном гараже, очень отзывчивый на чужую нужду. Он говорил тихо и только тогда, когда его спрашивали. Ну, а судя по тому, как им помыкала жена, представлялось, что Федин мужской характер утонул в море сразу же после их первого свидания.

Но я не могу не сказать о жене Фёдора! Она была женщиной не первой молодости, невысокой, стройной, с походкой бодрой... с походкой дамы, очень нуждающейся в мужской заботе. Обладала высоким властным голосом, но главное — это её взгляд. Нет,

у неё было два взгляда: один на мужчин, а другой — на всех остальных. Мужа она вообще в упор не видела.

Жена Фёдора работала заведующей детским садом и потому встречи с мужчинами очень ценила и относилась к ним — и к встречам, и к мужчинам — очень бережно.

С Федей-боцманом и его женой я познакомился через Серёгу Инского, а Серёга Инской — это отдельный рассказ, и я не могу не представить его. Первое, и главное, — он был гениальным актёром, он всё время врал или кого-нибудь передразнивал. Второе, Серёга — типичный еврей, и внешним видом, и повадками, но косил под татарина. Я, говорит, татарин, потому что мать у меня казачка, а отец из местных ссыльных. Врёт и смотрит на меня такими ясными и честными еврейскими глазами. Ну и ладно, решил я, татарин так татарин, мне-то что, мне разницы нет, но правдоподобнее, конечно, было бы, если бы он говорил, что он африканец, — больше схожести.

Серёга — корреспондент местной газеты «Коммунист». Познакомились мы так. Я зашёл в редакцию, чтобы выяснить, где и как можно прикупить хорошее авто. В маленьких городках типа Холмска все новости и события концентрируются в местной редакции.

Я зашёл в редакцию перед обедом, чтобы было время выяснить всё и подробно. Серёга сидел за письменным столом в маленьком кабинете, похожем на обрубок коридора, за его спиной было окно с видом грязного двора, в углу комнаты — тяжёлая тёмно-зелёная штора, к шторе прикреплён листок бумаги,

на котором крупными буквами было написано: «Руки прочь от лучшего корреспондента газеты!»

Я зашёл в его кабинет смело, как писатель к писателю, и поздоровался, будто всю жизнь знакомы, за руку.

— Мужик, тебе чего надо? — грубо, но без злости спросил лучший корреспондент газеты «Коммунист».

— Слухом пользуюсь, что в вашей газете зажимают свободу слова.

— А, это? — Серёга, не глядя, показал рукой за спину на записку. — Сволочи! Хороший материал получился, злободневный!

— А что, материал был опубликован?

Серёга кивнул.

— Вся ответственность на редакторе, — успокоил я его.

— Хрен-то, редактор заболел, а пока вызывали зама из отпуска, сроки поджали так, что прочитать подготовленный материал никто уже не успел, и дали вслепую. Теперь орут на меня. Козлы! Учитесь писать! — крикнул он, обращаясь к дверям.

Серёга вдруг подскочил, стул упал на шторину, со шторины скользнула записка. Но Инской этого не видел, он распахнул двери и заорал в коридор:

— Руки прочь от лучшего корреспондента городской газеты «Коммунист»! Я буду жаловаться в Организацию Объединённых Наций!

Серёга прошёл за свой стол, поднял стул, пихнул записку ногой, сел и уставился на меня.

— Мужик, тебе чего надо?

— Хочу прочитать ваш скандальный материал.

— В киосках «Союзпечати» продаётся наша газета, стоимость одного номера две копейки. Мужик, тебе дать две копейки?

Инской откровенно зарывался, но в его речи слышалось что-то игриво-хамское, и при всей грубости обращения в голосе не было агрессии. Я давно заметил, что зачастую не смысл сказанного обижает человека, а форма изложения и даже интонация.

— Я могу написать заметку в поддержку твоей статьи. В этом случае уже будет полемика, а от полемики они не открываются.

— Они не возьмут твой даже гениальный материал, они мечтают забыть про это! — Инской потряс газетой.

— Возьмут. Они же не захотят прочитать мою едкую заметку в областной газете, где будет упомянуто их нежелание продолжить разговор на животрепещущую тему.

— Мужик, — задумчиво произнёс Инской, — а ты голова. Теперь, когда все болтают про плюрализм, свободу слова и перестройку, они не откажутся, они испугаются! На, читай! — Он швырнул мне тонкую четырёхполосную газетку «Коммунист».

— Как называется твоя статья?

— «Оставь надежды всяк сюда входящий»!

— Многообещающий заголовок. О чём же статья?

— О целлюлозно-бумажном комбинате.

— Вот это сильно, я бы не решился.

Я пробежался глазами по страницам, быстро нашёл материал Инского.

«Мрачное холмское утро, сильный ветер бредет лицо, но даже шторм не успевает уносить в море

колючую вонь нашего целлюлозно-бумажного комбината. Я смешиваюсь с серой толпой рабочих у проходной: понурые лица, иногда целлюлозную вонь перебывает запах перегара, я беспрепятственно прохожу на территорию комбината...

...В приёмной симпатичная девочка, не прекращая красить пухлые губки, сообщила, что директор пошёл по цехам. Я решил не ждать, а найти директора на территории комбината и, кстати, перетолковать о делах с рабочими. Я взял, на всякий случай, домашний телефон секретарши и вышел из приёмной.

В подготовительном цехе мне навстречу попался мужик. Я схватил его за рукав грязной фуфайки и спросил:

— Мужик, ты директора не видел?

— Видел, — раздражённо ответил рабочий.

— Где? — уточнил я.

— В гробу и в белых тапочках!

— Не смешно, — осудил я работягу и вошёл в цех.

Грязь, холод, кругом кучи мусора, в крыше подготовительного цеха дыры и трещины... Мимо пробежал другой рабочий. И его я успел схватить за рукав всё с тем же вопросом:

— Мужик, директора не видел?

— Я директор.

Я посмотрел на его грязные сапоги, рваную фуфайку и плюнул ему под ноги.

— Если ты директор, то я папа римский!

— Поздравляю, — ответил мужик.

— Слушай, «директор», а где твои белые тапочки?

Конечно же, я шутил, потому что не мог поверить этому чучелу...»

Дверь в кабинет Инского приоткрылась, и на пороге проявился нерешительный боцман Федя. Как выяснилось позже, Федя пришёл давать объявление о продаже недавно привезённой из Японии «тойоты». Объявление мы приняли, но первым и единственным читателем этого объявления и, естественно, единственным покупателем стал я.

В боцманском гараже «тойота» с откинутым верхом походила на шикарную белую ванну. Панель управления блистала чистотой и была отделана «под дуб», коричневый руль сам просился в руки, и я уселся за него. Чёртовы капиталисты очень уважают тело, удобное кресло приняло меня в свои объятия, а машина шепнула на японском языке легко усваиваемые слова: «Не уходи, я твоя, я ждала тебя».

Но я понимал, что нельзя проявлять своего удовлетворения, и потому осматривал машину со всех сторон, заглядывал под капот с равнодушным видом и с одной лишь целью: найти изъян, поломку, царапину... ну хоть какой-то недостаток.

— Сколько же стоит сей агрегат? — сурово спросил я Фёдора.

Он замялся, но, видимо, вспомнив про жену, ответил:

— Тридцать!

— Ого! — удивлённо воскликнул я, между тем оценив названную сумму как приемлемую. — Такие деньги вам дадут без разговоров только москвичи. Пойдёмте, не будем терять времени, закрывайте гараж.

Мы вышли под яркое сахалинское солнце, Фёдор, несколько ошарашенный так быстро закончившимся торгом, начал закрывать ворота.

— А где эти москвичи? В гостинице?

— Москвичи, Фёдор, живут в Москве. Везите туда свою «тойоту», и, думаю, без проволочек на любом московском рынке вам тут же отвалят тридцатку, при этом два раза кинут, три раза по жопе пнут. Доставка обойдётся вам как минимум в пятнашку. Москвичи, знаете ли, ленивый народ, они привыкли, когда им всё на блюдечке с голубой каёмочкой и... бесплатно.

— Зачем в Москву? Я здесь хочу продать.

— Тогда красная ей цена — двадцатка.

— Да ну! — возмутился Фёдор. — Такая машина меньше двадцати пяти стоить не может!

— Уже теплее...

— Мы так с женой и решили: поторговаться — и если не удастся за тридцать продать, тогда уступить за двадцать пять.

— Правильно решили, грамотно, но это только в том случае, если у подобной машины двигатель рабочий.

— А что у неё с двигателем?

Я удивлённо посмотрел на Фёдора, как бы сомневаясь в его искренности.

— Вы действительно ничего не знаете о проблемах двигателя вашей огнедышащей лошади? — Я указал в тёмный притвор гаража.

— Нет, — состояние удивления всё ещё не покинуло Фёдора.

— Ну хорошо, — любезно согласился я, — заводите машину и откройте капот. Да, не забудьте поставить на ручник! Теперь идите сюда. Консультирую бесплатно и только из уважения к вашей мужественной профессии моряка!

Мы дружно склонились над работающим двигателем. Я ещё ни разу в жизни не слышал, чтобы четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания так изящно работал, но между тем я голосом автомобильного эксперта-знатока произнёс:

— Фёдор, вы слышите металлический звук и шипение?

— Да, — кивнул Фёдор.

— Теперь понимаете?

Фёдор сильнее прикинул к двигателю и, видимо, пытался что-то понять. Я не знаю, почему я сказал про металлический звук, — другого звука в двигателе, наверное, и не бывает, а шипят ремни привода, так они и должны шипеть. Но Фёдор заподозрил неполадку, а мне этого и нужно было.

Мы простились на том, что Фёдор будет советоваться с женой.

Вечером я позвонил Серёге Инскому и попросил подойти в гостиницу. Весь вечер мы пили пиво, угощал я. Серёга в тот раз и во все последующие никогда не тратился на спиртное, он вообще не склонен был на что-либо когда-либо тратиться — такая особенность характера. Кстати, характер достаточно распространённый. Я знаю одного критика, хорошего человека, он безотказно ходит за бутылкой в магазин, но даже заподозрить его в желании вложить

свой трудовой рубль в складчину на бутылку никто не сможет.

Договорились мы с Серёгой, что он помогает мне сбить цену на боцманскую машину, а я пишу отзыв на его статью в «Коммунисте», — так сказать, органикую полемику. Мы ударили по рукам, он ушёл домой, а я сел за стол трудиться над отзывом в газету.

Вместо Фёдора в назначенный срок к гаражу подошла его жена. Она вручила мне ключи и, как подчеркнуто слабая, очень женственная женщина, просила открыть гараж. Что я мужественно и выполнил.

Белая «тойота» в гаражных сумерках была ещё великолепнее: приподнятый багажник с гармошкой откинутого тента, матовый блик изящного изгиба лобового стекла, благородство кожаных сидений...

Жена боцмана (ну почему я не запомнил её имени?!) откинулась спиной на тент, прошлась дробью острых ноготков по белой полировке багажника машины и томно спросила:

— Чем вам не понравилась наша машина?

— Напротив, очень понравилась! — проговорил я и покраснел.

Я понял, что придётся торговаться с женщиной, а это само по себе очень непросто, а если помнить, что жена боцмана Феда большую часть замужней жизни провела в ожидании своего возлюбленного на берегу Татарского пролива и ощущение жажды стало её второй сутью, то переговоры могли зайти в тупик.

Но я продолжил прерванную речь:

— Очень хорошая машина, но дорогая, — я погладил округлое крыло, где с трудом, но можно представить стройное бедро машины.

— У меня в квартире сыпятся потолки, а ремонт тоже не дешёв.

Приняв её тон разговора, я понял, что проиграю все торги, но выручил Инской. Он влетел в гараж, как и было задумано, и, размахивая бумажкой — Фединым объявлением, взволнованно заговорил:

— Ребята, еле успел изъять из очередного номера!

— Что это? — дважды удивлённая, спросила жена боцмана.

— Короче, — не стал отвечать на её вопрос Инской, — корейская мафия взяла под свой контроль продажу частных автомобилей. Они обложили налогом как продавца, так и покупателя: по пять с каждого!

— По сколько?!

— Пять, мамаша! А где мужик, где боцман?!

— Вот жена его, вместо него.

Дело в том, что появление дамы вместо Федибоцмана для Серёги стало такой же неожиданностью, как и для меня.

— Ну ты даёшь! — обрадовался своей догадке Инской. — Тебе машины мало, лихо! — Он внимательно, бесцеремонно и простодушно оглядел жену боцмана. — Мадам, позвольте представиться, корреспондент газеты «Коммунист» Сергей Инской!

Из гаража жена боцмана вышла немного напуганная корейской мафией и потому согласная на мою двадцатку. Серёга подхватил её под ручку и энергично начал успокаивать, потом повёл её показывать, как сделан ремонт в квартире знакомого. Он, видимо,

так увлёкся показом, что вечером ко мне в гостиницу заглянуть не смог.

Утром, в восемь часов, соблюдая все правила конспирации, мы с боцманом Федей выехали на шикарную «тойоте» из города Холмска в Невельск. С целью сохранить тайну сделки и не попасться на крючок мафии было решено переоформить машину в другом городе, куда ещё, по сведениям разведки, не дотянулись «леденящие душу холодные руки корейской мафии» — это моя собственная цитата. Инской пришёл после обеда и в своей грубо-бесцеремонной манере потребовал расчёт за проделанную работу. Я нашёл несколько исписанных листков бумаги, усадил гостя в неудобное гостиничное кресло и начал читать вслух:

«Коммунисты опять впереди!

Мы достаточно много в последнее время критикуем некоторые недостатки в работе городского комитета партии со средствами массовой информации. И это правильно. Наши, как теперь принято говорить, СМИ стали больше прислушиваться к коммунистам на производстве, оживились страницы партийных газет новыми рубриками, но, будем говорить честно и откровенно, газеты западного толка, которым теперь позволено выходить на территории нашего государства, перехватили инициативу и внимание наименее сознательной части молодёжи нашего общества. Тем и ценнее опыт холмской газеты «Коммунист», мы должны освоить этот опыт и применить в других партийных периодических изданиях. Наиболее интересной нам показалась новаторская идея корреспондента газеты «Коммунист» Сергея Инского. Только

на первый взгляд его статья в последнем номере газеты может показаться недостойной партийной печати, но в том и есть её новаторство. Корреспондент смело вводит присущий художественной литературе диалог. Более того, описывая события, автор употребляет много разговорной речи, так называемого сленга, но тем и достигает правдивости изложения, эмоциональной насыщенности и лёгкости восприятия.

Нам давно уже надо отойти от традиционных газетных штампов, которые кочуют из номера в номер во всех периодических партийных изданиях! И опыт газеты «Коммунист», новаторскую смелость главного редактора и лично корреспондента Инского...»

— Слушай, а ведь классно! — прервал моё чтение Серёга. — Дай мне, я глазами лучше усваиваю.

— У меня почерк плохой.

— Плевать мне на твой почерк, если уж я свой прочитываю, то с твоим как-нибудь справлюсь.

Через пару дней я умчался из Холмска на ослепительно белой «тойоте» в Южно-Сахалинск.

Я гнал машину по сахалинским просторам, солнце и тёплый ветер были мне вместо крыши, а кожаные дутые сиденья баюкали меня, как пуховые облака. Я не думал и даже не чувствовал греха, напротив — я был на вершине блаженства, и мне казалось, что я уже знаю, что такое рай!

Понимание греха пришло значительно позже.

Чёртов боцман Федя, если бы он не был трусом, и чуть меньше испугался «корейской мафии», и уступил бы мне в цене хотя бы в половину того, что уступил, я бы не чувствовал себя обманщиком. Но этого

теперь не исправишь, потерялись во времени и в пространстве боцман Федя, потерялся я, есть только недостижимый (из-за цен на билеты) пыльный город Холмск где-то там, на далёком острове Сахалин, и есть чувство, которое живёт, как старовер-долгожитель: это чувство стыда за свой обман, прохиндейство, жульничество. Поделом мне теперь жить и каяться, и, несмотря на то что боцман Федя — лопух, дурачок, простак, помнить о нём, а вздыхать о себе.



Рэкет

Белая «тойота» с открытым верхом, рулём и панелью управления «под дуб», кожаными дутыми сиденьями и прочими красивыми и удобными прибамбасами принесла меня, лихого и весёлого, в город Южно-Сахалинск. Я промчался по улицам улыбающегося города, заглянул на железнодорожный вокзал, на рынок, постоял на центральной площади, перекусил в забегаловке напротив главпочтамта; даже здесь, в городе, переполненном иномарками, моя машина производила впечатление. Я был горд, я был доволен.

В аэропорт я попал, когда во всех официальных организациях наступило законное время обеда. Я припарковался на обочине около ворот в грузовой двор и приготовился скучать.

— Какая машина! — услышал я и повернулся на восхищённый голос.

Около стояли две проститутки. То, что это не просто болтающиеся от безделья в ожидании рейсового самолёта девушки, сразу было видно и по ярко накрашенным губам, и по колготам в крупную сеточку, и по цветастой лёгкой одежде.

— Прокатишь?

— Мне сейчас грузиться, — смутился я.

— А мы недолго и недорого. Я здесь местечко тихое знаю.

— Вы меня извините, но я не могу...

— Не трожь его, пойдём. Какая лапушка, — погладила меня по голове одна из девушек.

Они о чём-то начали спорить и, не простившись, пошли прочь. А мне стало стыдно за то, что ко мне подходили проститутки и просились покататься.

Там, в моём городе, проститутки тоже, наверное, были, и я даже слышал, что они собираются в парке у фонтана, но так это или нет — никто не знал точно, а здесь, на острове, не существовало никакой тайной завесы над этим «негативном явлением». По вечерам девушки стояли в одиночку и группками на обочине центральной улицы, и им не было стыдно открыто торговать своим телом.

Я долго не верил, что это проститутки. Как-то мы с моим другом Костей Каюровым поздним вечером возвращались в гостиницу. Недалеко от нас около девушки остановилась легковая машина. Девушка открыла дверь, и я услышал её весёлый голос:

— Приветик!

Девушка о чём-то разговаривала с водителем, а Костя сказал мне:

— Торгуются. Если сойдутся в цене, то она уедет с ним.

— Почему ты думаешь только плохо о людях? — возмутился я, презирая в тот миг своего друга. — Почему ты уверен, что эта девушка шлюха? Может, она встретила своего старого знакомого?

— У неё таких знакомых за ночь человек двадцать наберётся, — продолжал настаивать осведомлённый и всезнающий Костя.

Я недолюбливал Каюрова. Во-первых, он был крепко сложен и прекрасно владел приёмами самбо. Во-вторых, он за три года, в год по два курса, окончил сложнейший факультет института — экономический.

В-третьих, он был добр и невыносимо самовлюблён. В-четвёртых, всегда говорил таким тоном, будто другого мнения и быть не может, он был уверен, что он всегда во всём прав.

Я же, напротив, был тонок и строен, я прекрасно делал сальто и стоял на руках, я не мог ударить человека по лицу, в то же время я был в тысячу раз честолюбивее своего друга. Но при всём своём честолюбию должен признаться, что Каюров оказался тогда прав: девушка встретила не своего давнего знакомого, а очередного клиента.

— Привет, — тяжёлый голос прервал мои мысли, и я поднял голову.

Надо мной стоял верзила, на лице которого отсутствовал не только интеллект, но также брови, борода и усы. У него было тупое и лысое лицо, в руках он держал метровый металлический прут, его пустые и ничего не выражающие глаза смотрели на меня спокойно и равнодушно.

— Здравствуйте, — вежливо отозвался я и почему-то пожалел, что в этот раз уехал за машиной без Каюрова.

— Лобовик нужен?

— Лобовик? А, лобовое стекло? А от какой машины?

— От твоей, — криво усмехнулось лысое лицо, и в руке верзилы заиграл металлический прут.

Я огляделся и увидел ещё двух парней.

Каким бы я ни был наивным и тупым, но и до меня начало доходить, что мне предлагают купить лобовое стекло от собственной машины, в противном случае он этим металлическим прутом шарахнет

по моей шикарной машине, а там вспоминай как его звали.

Более того, я понял, что дуэль проиграна: рэкетиров было трое, а у меня не было возможности для манёвра, если бы я вдруг решился на побег. Правда недалеко остановка, на которой полно народу, но, когда у меня не станет лобового стекла, что мне свидетельства этих людей и чем они мне потом помогут? Всё было против меня, а главное — прут в руках верзилы.

— И сколько стоит мой, как вы говорите, лобовик? — от безысходности весело спросил я.

— Стольник.

— Не дёшево, — оценил я. — А какая гарантия, что он от моей машины?

— Полная, — верзила похлопал прутом по ладони.

— И такая же гарантия, что ко мне больше никто не подойдёт? Я так понимаю, квитанцию вы не оставите?

— Кроме нас здесь больше никого не работает.

Он так и сказал: «не работает!» Эти свиньи рэкетеры считали грабёж работой!

— Но вы всё-таки не забудете, что я уже оплатил вашу работу?

— Таковую тачку трудно забыть.

Я достал четыре купюры по двадцать пять рублей и отдал верзиле. Но будто чёрт меня дёргал за ногу, я остановил его:

— Как бизнес, прибыльный?

Верзила пожал плечами.

— Да не обижаемся, нам хватает. Здесь вас много за день проезжает, — вздохнул он уставшим голосом,

будто утомился от непосильных забот о транзитных пассажирах и их машинах.

— Счастливо, если что, я к вам четвёртым.

— Приезжай, места всем хватит.

Когда они ушли, я ещё долго сидел в машине и переживал случившееся. Здесь, в аэропорту, на глазах сотен людей, среди белого дня я купил лобовое стекло от собственной машины! Я впервые в жизни почувствовал себя совершенно беспомощным... нет, не впервые.

Это было в Москве, я был на сессии. В один из погожих, чистых дней я спешил в институт. В метро на периферийной станции мало народу, гулко и очень просторно. Я предусмотрительно воспользовался услугами разменного аппарата, получил из его жестяного кармана четыре пятикопеечные монеты и повернулся было идти дальше, как наткнулся на юное коротко-юбочное существо с наивными глазами.

— У вас не будет пятак? — спросила девушка и протянула ко мне свою маленькую ручку.

Всё было так неожиданно и странно, что я подал ей пятак.

Девушка очень спокойно, без каких-либо эмоций поблагодарила меня, повернулась и пошла к эскалатору, а я остался стоять, пытаюсь понять: почему она попросила у меня деньги и почему я дал ей эти деньги?

Разгадка скоро случилась. Когда я вышел из метро на своей станции, я всё ещё в недоумении обернулся на болтающиеся огромные двери, в которых живёт плотный сквозняк, и прочёл на простенке: «Лох». До того момента я не знал значения этого слова.

Нет, я слышал его, но считал производным от слова «лохматый», то есть неопрятный, неаккуратный, неряшливый. И только теперь, благодаря «пяточку», я понял истинный смысл этого слова и почему-то почувствовал себя совершенно беспомощным.

Я сидел в машине, ракетеры ушли, а слово «лох» вертелось на языке.

Но радость всё-таки оставалась со мной: я был владельцем прекрасной «тойоты», правда, с двумя лобовыми стёклами. Второе стекло было виртуальным, хотя и оплаченным.

Потом я уже не ездил за машинами один, только с Костей. Мы летали на самолётах, переправлялись через Татарский пролив на пароме и дальше шли своим ходом. К нам никто ни разу не пристал и не попытался ракетнуть. Вот как, оказывается, выгодно иметь кроме высшего образования ещё и «сажень в плечах».

После этих поездок я перестал верить географическим картам — мы часто плутали. Был страшный случай, когда я разбился под городом Свободным и меня утешал мой друг, он оберегал меня и терпел. Но за этим, машинным бизнесом, начался другой — с ещё большим размахом и оборотом, с ещё большими претензиями и амбициями.

«Что я приобрёл и сколько потерял?» — думаю я теперь. Все предполагаемые материальные блага растворились, как утренний туман, но остался опыт и знания. Зачем они теперь и кому нужны? Трудно сказать. А потерял я не только материально-приятное, потерял я друга...

Занял я у Кости двести тысяч — сумма по тем временам немаленькая — и завис со своей сделкой,

потому что подвели меня с поставкой очень верные партнёры. Не понял моих затыжек Костя, видимо сильно я спутал его планы, и обиделся на меня. Деньги я отдавал мучительно долго.

Прошло с тех пор много времени. Всё, кажется, уже позади, и слава тебе господи, что позади. Переболел этой заразой, которая называется бизнес. Но притом, как много узнано и ещё больше потеряно. Стал ли лучше я? Сомневаюсь. Нужен ли был мне тот опыт, которым я теперь хвастаюсь? Что мне с того, если я теперь знаю, зачем просились покататься в моей машине две весёлые девушки — подсадные утки бродяг рэкетиров? Теперь я понимаю, что был на волосок от смерти. Будь я тогда менее скромн, посади я этих удалых девчонок в машину да крутанись с ними по местным захолустным уголкам, думаю, что «никто бы не узнал, где могилка моя», увезли бы меня девчонки на всю жизнь. Так что машина с двумя лобовыми стёклами... какая мелочь!



Каменный Шар

Нас, участников путешествия к Каменному Шару, было семеро: Сергей Сергеевич — директор принимающей фирмы, душа и руководитель всей компании, высокий, стройный, но уже подёрнутый первым жирком, какой появляется у мужчин к пятидесяти годам; Олег Смирнов — финансовый директор Сергея Сергеевича, его первый и последний помощник и доверенное лицо; разумеется, я — гость из Сибири, приехавший на Восток со своими коммерческими намерениями; три шлюхи из борделя Мамы Нины — платное, но уже ставшее привычным приложение к процессу деловых переговоров; и виновник, ради которого устраивался весь этот выезд на природу с двумя рюкзаками спиртного и закусок, Дональд Рич-младший — племянник крупного бизнесмена из США, промышленявшего поставками окорочков курицы и индейки.

Неделя переговоров была позади, но Дональд отличался оригинальным упрямством и с трудом шёл на уступки. Оригинальность его упрямства заключалась в том, что, уставший от многочасовых переговоров, при которых мы неслабо прессинговали хлипкого американца, он вдруг решительно на всё соглашался, ударял по рукам, получал в подарок проститутку и удалялся в свои апартаменты, а мы, счастливые, спускались в гостиничный ресторан пить водку. Утром отдохнувший Дональд делал вид, что не понимает, о каких таких договорённостях идёт речь, и вся переговорная канитель начиналась снова. Чтобы смягчить его твердолобое упрямство, мы возили его

по всем более или менее приличным ресторанам, баням и публичным домам. «Высокий гость» весь предлагаемый ассортимент халявных увеселений принимал с удовольствием, но позиций на коммерческом фронте не сдавал. Больше всех эти переговоры надоели мне, потому что мои интересы решались в последнюю очередь.

Идея поездки к Каменному Шару принадлежала мне, идея небескорыстная: я хотел вырваться из прокуренных застенок ресторанов на свежий воздух и ещё раз увидеть чудо природы — Каменный Шар.

Много легенд рассказали нам об этом Шаре, в последнее время туда зачастили маги, экстрасенсы — заряжаться космической энергией. Мне было плевать на все эти сказки, меня поразила сама Каменная Шар. В пяти километрах от Бабьего Кута начиналась двухсотметровой высоты скалистая гряда, сама по себе уже бывшая чудом природы: многокилометровый гребень с плоским, будто специально срезанным верхом, по которому пролегла идеально ровная дорога, уходившая к горизонту. Когда мы впервые поднялись на гребень, мне показалось, что вершина — это взлётная полоса для самолёта. Ширина «взлётной полосы» не превышала и пяти метров; внизу, ближе к подножию, росли сосны и колючий кустарник. Но всё это ерунда по сравнению с Каменным Шаром, который действительно был каменным и действительно идеально правильной формы — ну, может быть, с одной лишь стороны, если присмотреться, был чуть зализан, — и лежал он как раз на середине одиннадцатикилометровой гряды и на самом краю гребневой дороги. Какая сила удерживала его многие века или

тысячелетия — трудно даже представить, площадь его опоры на скале не превышала днища самого заурядного банного тазика. Мой восторг вы поймёте, когда я скажу, что диаметр самого Шара был не менее трёх метров!

Шар, конечно, был исписан по всей поверхности самыми распространёнными надписями типа «Здесь был я», даже со стороны обрыва, куда, кажется, можно было подлететь только на вертолёте. С этой, самой недоступной стороны было написано белой краской огромными кривыми буквами: «Люся, я тебя люблю».

Перед выездом Сергей Сергеевич провёл с девушками строгую беседу, где в приказной, если не в ультимативной форме сказал:

— Вести себя прилично, не ржать, не напиваться, денег не канючить, корчить из себя приличных дам; в итоге Дональд должен получить всё, что захочет, но якобы по любви, а не за деньги. В случае провала вот вам, — Сергей Сергеич показал девушкам кукиш, — вместо денег. Поняли?

Мы оставили машины у подножия гор: дальше предстояло идти около трёх километров. И вот тут-то выяснилось, что Дональд Рич-младший — дохляк. Его укачало ещё в машине, и он всё жаловался девушкам на тошноту. Девушки из борделя Мамы Нины отличались образованностью и сносно лепетали по-английски (кстати, английский неплохо знал Олег и с лёгкой иронией обещал нам при коротких остановках, что американец, после того как облюёт его джип, обязательно пересядет в нашу машину).

Но мы всё-таки доехали без эксцессов, и я предложил дать ослабевшему американцу шампанского

с небольшим добавлением водки. В эти дни я был неразумно инициативен. Но Дональд от принятого «лекарства» скоро ожил, зашагал бодро, всё снимал на видеокамеру, забегал вперёд и строил из себя оператора-профессионала. Девушки разумно кокетничали и делали вид, что очень смущены вниманием Дональда, когда тот пытался заснять их.

Но скоро произошёл первый инцидент. Девчонки отстали от общей группы для своих нужд, внимательный Дональд уловил момент, подкрался к ним и включил видеокамеру. Сначала девушки хихикали и просили его «отвалить» куда подальше, но подвыпивший американец делал вид, что по-английски не понимает.

— Резвится, твою мать, — усмехнулся Олег.

— Пусть резвится, мне договор нужен, — ответил Сергей Сергеевич.

— Сергей Сергеевич, ты бы девкам приказал, — попросил я, — пусть сделают вид, что его не замечают. Ему, может, это больше секса нравится.

Но вдруг над кустами вознеслась высокая Вера, назначенная Мамой Ниной старшей на этот поход, и гаркнула, никого не стесняясь:

— Мужики, скажите этому засранцу, пусть уйдёт, извращенец!

— Терпите, бабы, скоро лето! — аллегорически ответил Сергей Сергеевич. — Иди, Вера, работай, — отмахнулся он и повернулся к нам: — Пацаны, а что стоим-то, давай и мы, за компанию.

Мы отошли в сторону и, разместившись рядком, расстегнули штаны.

Но вдруг появился Дональд и уставил на нас камеру.

— Вот же сволочь, — заметил я.

— Терпим, братья, делаем вид, что ни хрена не замечаем, мне окорочка нужны, — процедил Сергей Сергеевич.

— И в большом количестве, — хихикнул Олег, задрав голову и пытаюсь насвистывать.

— У меня ничего не получается, — простонал я, — мне трудно сосредоточиться.

— А кому легко... носить золотые цепи, — философски успокоил меня Олег.

— Всё, сейчас, надо подумать о чём-нибудь приятном, — начал настраиваться я. — Вот... сейчас... Мне нужны пять холодильников. Сергей Сергеевич, подавай пример, а то мы здесь будем стоять, пока у этого урода плёнка не кончится.

Мы стояли с расстёгнутыми штанами, Дональд снимал крупным планом, из-за кустов слышались шаги и Верино бурчание.

— Козёл, из-за него все трусы уделала.

Её слова прозвучали для нас как стартовый выстрел, и всё завершилось благополучно. Сергей Сергеевич отёр пот со лба и негромко сматерился.

Дональд остался чрезвычайно доволен и всё время что-то болтал. Мы с передышками преодолели подъём, и вот она — «взлётная полоса» в самое небо. Дональд пришёл в неопишуемый восторг — впрочем, на это мы и рассчитывали. Он передал камеру Вере и требовал снимать себя: то на фоне обрыва, то бегущим по гребню с распростёртыми руками, изображающим самолёт, то у края, задумчивого, со взглядом глубокомыслия и печали.

— Во клоун, — сказала Вера, — щенячий восторг изображает.

— Вера, — погрозил ей пальцем Сергей Сергеевич, — тебе жёлтая карточка предупреждения. Не говори лишнего, клиент всегда прав.

— Что мне твоя жёлтая карточка, если я по жёлтому билету уже пять лет живу.

— Ну, ты меня поняла, — с нескрываемой угрозой прекратил спор Сергей Сергеевич.

Мы сделали привал и разлеглись прямо на земле, вдалеке был виден Каменный Шар. Только Олег работал: стоял над Дональдом и рассказывал легенду. Я знал её. Говорили, что ещё в давние времена здесь собирались племена аборигенов в период летнего солнцестояния. В эти дни прекращались распри между племенами, всех объединяла одна цель — катить Каменный Шар на запад, туда, где висело на острие дороги мохнатое жёлтое солнце. Люди верили, что, докатив Шар до конца гряды, обретут счастье. Тысячи лет потребовались, чтобы докатить его до середины гряды, но приехали люди с Большой земли, и в жизнь дикарей, наивных и чистых сердцем, ворвалась цивилизация с «огненной водой» и прочей мерзостью. Вот почему, наверное, Каменный Шар так и застыл посередь дороги. Вот такая печальная история.

Сергей Сергеевич разрешил девушкам выпить шампанского, те много и шумно ели и смеялись над Олегом:

— Во пиликает, как по писаному, прямо поэт, врёт и не стесняется.

— Кстати, — обернулся к ним Олег, — это катание Шара опередило всемирно известные Олимпийские игры на тысячу лет. И ещё вопрос, чья культура была выше и древнее.

— Ага, — усмехнулась Вера, — скажи ещё, что здесь проходили первые футбольные игры с каменным мячом.

Олег махнул на них рукой, понимая бессмысленность разговора, и попросил Сергея Сергеевича:

— Ты бы им пить не давал, а то не будем знать потом, что с ними делать. Пьяная баба — она неуправляема.

Я сидел на «взлётной полосе», которая змеиным тонким хвостом упиралась в голубое небо. Солнце пекло затылок, но кожа сибиряка чувствовала влагу и невидимое, но близкое присутствие океана. Я уже чертовски соскучился по дому, по хрустящим простыням, которые крахмалила жена каким-то удивительным дедовским способом, соскучился по запаху её плеча, соскучился по детской назойливой возне, соскучился по телефонным звонкам друзей, соскучился по матушке и дому в деревне... Но мне позарез нужны были эти американские контейнеры-холодильники из-под окорочков, которые помогут сократить расходы на хранение товара и обойти конкурентов. Я глянул на раскисшего Дональда, на его вытянутое лицо с крупными белыми зубами, и подумал: «У него голова не болит, у него холодильников много, а если что, дядя-миллионер поможет. Мой дядя работает сварщиком на заводе, а завод давно не работает. Так что впору самому дяде помогать. Вот если бы у меня родственник был депутатом...»

— Всё, пора, — скомандовал Сергей Сергеевич, — общее построение. Отдохнём у Шара.

— Тяжела жизнь, — вздохнула Вера, — я же не альпинистка, я рядовая проститутка, а вы меня по скалам гоняете, я же потом работать не смогу.

— Не ной, — утешил Олег, — кому нынче легко... носить золотые цепи?

Дональд шёл впереди в обнимку с двумя девушками, Вера снимала их на камеру. Мы плелись сзади, нагруженные спиртным и закусками. Девушки умело поддерживали немного покачивающегося Дональда, но все понимали, что он не столько пьян, сколько хотел таким казаться.

— Если этот сукин кот не подпишет наш договор, то я погорю на представительских расходах, как минимум на две тысячи баксов, — вздохнул Сергей Сергеевич.

— Да, невесело, — согласился я. — Мне кажется, что этот американский жучок просто развлекается за наш счёт и ни о каком договоре не думает. У меня лично денег осталось на пару дней и на дорогу домой. У меня, как вы знаете, за последние полгода не прошло ни одной более-менее прибыльной сделки. А после этой поездки я — банкрот. И мести мне дворы в любимом городе.

— О чистоте улиц и дворов тоже надо кому-то заботиться, — утешил меня Олег.

Первым к Шару подошёл Дональд. Мы остались в стороне и наблюдали за ним.

Американец обошёл Шар, заглянул под него, даже попробовал толкнуть, потом похлопал по нему ладонью и с некоторой растерянностью обратился к нам — естественно, на непонятном мне английском языке.

— Что он спрашивает? — поинтересовался я.

— Он спрашивает, почему этот Шар не падает с обрыва.

Олег замахал руками, что-то поясняя Дональду, а мы раскинули покрывало и начали обустройства привал. Я спустился с гребня, срубил сосновую жердину, чтобы использовать её вместо лавки. Когда я поднялся, там шёл горячий спор — как мне объяснили, американец не верил, что это Каменный Шар, и утверждал, что это бутафория, голливудские штучки.

Я подал Дональду топор и предложил попробовать Шар на прочность, но американцы действительно тупицы, он меня не понял, и тогда я несколько раз врезал обухом топора по Шару. Топор пронзительно звенел, а на поверхности Шара оставались только мелкие щербинки.

Дональд отскочил, испугавшись осколков, но после взял у меня топор, приложил ухо и начал постукивать по Шару обухом. По тому, что он перестал прикидываться пьяным, не подпрыгивал от восторга и не хлопал себя по ляжкам, я понял, что Каменный Шар произвёл на него сильное впечатление.

Мы уселись на жердь и налили шампанского. Дональд отказался пить, сидел в общем ряду и угрюмо смотрел на Шар. Он, видимо, не мог поверить в очевидное.

— Он только что уверял меня, что Шар искусственный и его специально здесь поставили, — начал объяснять Олег недоумение Дональда. — Он утверждает, что там, внутри Шара, есть металлический штырь, который забетонирован глубоко в скалу и который держит его и не даёт скатиться вниз. Он даже назвал наш Каменный Шар «чупа-чупсом».

Мы только теперь обратили внимание, что Шар действительно как бы нависал над обрывом,

и создавалось впечатление, что стоило подуть ветру или коснуться Шара рукой, он тут же должен будет покатиться вниз, ломая сосны и кустарник, а там, внизу, долина, которая сама по себе тоже была необычной: ни единого деревца, ни холмика, только изумрудная трава. Если Шар и вправду сорвался бы с вершины хребта, то, протаранив лесной массив у подножия, он неминуемо выкатился бы на эту огромную поляну.

Дональд что-то сказал. Олег перевёл:

— Этот фантазёр предлагает отправить сюда экспедицию для изучения феномена, пока этот Шар не скатился вниз.

— Мужики, — оживился я, — а давайте столкнём этот Шар к чёртовой матери. Представляете, он далеко укатится в долину и там будет походить на горошину.

— И кому от этого станет легче? — спросил Олег.

— Столкнём! Столкнём! — подхватились девушки из борделя Мамаы Нины.

— Столкнём при условии подписания договора, — продолжал я развивать мысль, — а его обещание запишем на плёнку, не отвертится!

— В этом что-то есть, — поддержал Сергей Сергеевич.

А я продолжал:

— Если мы заработаем много бабок, то скинемся, наймём вертолёт и поставим Шар на место. Мужики, этот Шар рано или поздно сам свалится с горы, но делает он это совершенно бесплатно.

— Олег, — распорядился Сергей Сергеевич, — объясни этому нерусскому американцу нашу задумку.

— Я не очень верю в то, что потом найдутся деньги на исправление этой ошибки, — Олег встал, и по его лицу было видно, что он волнуется. — Поймите, другого Каменного Шара в мире нет. Этот Шар уже не смогут увидеть наши дети. В конце концов, этот феномен всё ещё не изучен и не обследован учёными, это даже Дональд понимает.

— Давай без соплей, — прервал его Сергей Сергеевич.

— Олег, ты правильно говоришь, — вступился я, — но где была твоя совесть, когда мы с тобой продавали новую военную технику за границу как утиль? Мы тогда оправдывались тем, что нам нужен стартовый капитал, так? И если мне не изменяет память, мы половину прибыли раздали чиновникам, чтобы только пропихнуть сделку. Через ваши порты идёт металл, ценнейший лес, уголь, топливо. Или всё перечисленное не относится к национальным богатствам? Или ты настолько наивен и думаешь, что всё это делается на благо народа? Или на наше благо Дальний Восток заселили китайцы? Ты всё ещё думаешь, что это твоя страна? Китайцы здесь, вот на этом самом месте, построят отель и будут косить бабки на туристах, демонстрируя Шар. Но я готов вложить деньги, чтобы установить потом его на место. Я это обещаю. А сейчас мне нужны американские холодильники, в которых к нам придут окорочка, и этими окорочками, которые не жрут даже негры в Америке, мы будем травить наш с тобой народ и травим, насколько мне известно, уже не первый раз. Если ты такой принципиальный, честный, совестливый, зачем тогда ты здесь вместе с нами кривляешься уже неделю перед этим богатым уродом? Ты хороший, а мы — говнюки, так, что ли?!

— Ну всё, хватит, — остановил меня Сергей Сергеевич. — Олег, тебе действительно нужно решить, где быть: или с нами, или в монастыре. Вот договор подпишем — и вали в монастырь наши грехи замазывать, мы тебе даже, может быть, пожертвования отстёгивать будем. Давай, исполняй роль переводчика. Но сначала объясни этому американскому прохвосту всё про договор. Мол, мы тебе уникальный спектакль, который ты будешь помнить всю жизнь. Кстати, предложи ему: пусть заснимет это событие на свою видеокамеру. Итак, девочки, — Сергей Сергеевич повернулся к проституткам, — судьба подарила вам случай наблюдать грандиознейшее представление: падение Каменного Шара, которому тысячи и тысячи лет поклонялись местные языческие племена. Ура!

— Ура! — подхватили девушки.

— А нам с помощью этого Шара нужно выбить из этого американского лягушонка выгодный договор. И мы это сделаем! Йес!

— Йес! — ещё более дружно и воодушевлённо подхватили проститутки.

— Сергей Сергеевич, — восхищённая Вера подняла фужер шампанского, — вы такой... вы такой умный и... сексуальный.

— О, Верочка, — улыбнулся польщённый Сергей Сергеевич, — если бы моя голова работала так же, как и эта, — он подергал себя за гульфик, — я бы давно был миллионером.

Девушки прыснули, с трудом сдерживая гогот.

Дональд всё это время слушал нас внимательно, почувствовал напряжение наших споров и с нетерпением ждал сообщения.

— Переводи дословно, — кивнул Олегу Сергей Сергеевич, потом обнял Дональда за плечи и повёл к Каменному Шару: — Дорогой друг, мы тут посоветовались и решили предложить тебе уникальное, скажем прямо, историческое зрелище, но бизнес есть бизнес, и за всё нужно платить...

Сергей Сергеевич кривлялся, мне это было неприятно, потому что я понял: денег на восстановление Каменного Шара он не даст.

Была высокопарная речь Сергея Сергеевича о дружбе двух народов и о том, что вот здесь, на историческом месте, был заключен договор поставки око-рочков, потом был перевод его речи на английский язык, было трогательное рукопожатие — всё это отсняла на видеокамеру добросовестная Вера.

Принесли бутылку шампанского. Сергей Сергеевич вручил её Дональду и предложил разбить о Каменный Шар.

— Бей, дорогой Дональд, большому кораблю — большое плавание! Внимание!..

Сергей Сергеевич вдруг обернулся к Олегу:

— Переводи этому балбесу.

И опять повернулся к Дональду:

— Внимание! Великий сын великой Америки свергает с пьедестала последний оплот языческого культа! Да здравствует цивилизация! Ура!

— Ура! — радостно подхватили девушки, видимо всё ещё памятуя, что они на работе.

Мы захлопали в ладоши, — аплодисменты получились дружными и подчеркнули торжественность, может быть, даже значимость, момента.

Дональд ударил бутылкой по Шару, ударил немело, потому что весь обрызгался, и отскочившим стеклом порезал тыльную сторону ладони.

Вид крови Дональд переносил плохо, он побледнел и заохал. Но вновь выручило моё «лекарство» — шампанское с водкой. Кровь остановили и вручили пострадавшему видеокамеру.

Мы упёрлись в Каменный Шар, Дональд включил камеру, но Шар не поддавался.

— Давайте сюда все, — приказал запыхавшийся Сергей Сергеевич.

Но и с помощью девушек мы не смогли сдвинуть Шар.

— А может, и правда, Шар держит в скале металлический штырь? — засомневался я.

— Нужен рычаг Архимеда! — сказал Олег.

— Это ещё что такое?

— Палочка-выручалочка. Физика, пятый класс. Рычаг — это бревно, бревно под Шар, а под бревно мы положим камень. Навалимся на бревно, за счёт рычага, сила давления...

— Голова, — прервал Олега Сергей Сергеевич.

— Этот закон открыл Пифагор, — засомневался я.

Дональд что-то быстро заговорил.

— Что ему? — спросил я.

— Говорит, что знает Пифагора, он в сталелитейном бизнесе преуспел.

— О, американцы ни хрена не образованный народ! Даже я знаю, что пифагоровы штаны в обе стороны равны, — воскликнул воодушевлённый Сергей Сергеевич.

— Причём здесь Пифагор? — вмешалась Вера. — Правильно говорит Олег, это Архимед. «Механика» в переводе — хитрость.

— А кто помнит теорему Пифагора? — ехидно улыбулся Олег.

— Все помнят, — ответила Вера, — сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. И ещё я помню, что Архимед хвастун, он говорил, мол, дайте мне точку опоры и я переверну земной шар.

— О! — удивился Сергей Сергеевич. — Самые образованные проститутки — русские проститутки! В наших школах учат не только пользоваться чупа-чупсом, это не Америка! Вперёд, друзья! Выполним заветы Архимеда!

Спектакль начался: мы подсунули под Шар бревно, на котором только что сидели, и повисли на нём. Дональд включил видеокамеру. Но вдруг американец закричал:

— Ноу! Ноу! — и что-то быстро залепетал, показывая вниз под гору.

— Какого хрена-то ещё? — спросил задохнувшийся от физических усилий Сергей Сергеевич.

— Дональд Рич-младший просит пока не скатывать Шар, он хочет заснять падение снизу, как в настоящих фильмах: надвигающийся Шар — сцена впечатляющая.

— Хрен с ним, пусть снимает хоть с Луны. Только предупреди его, чтобы держался от Шара подальше: если он под него попадёт — от него и говна не останется, и не с кем потом будет договор заключать, — разумно предупредил Сергей Сергеевич.

Девушки захихикали, им явно был симпатичен Сергей Сергеевич, тот чувствовал это и старался остроумно шутить.

Дональд спустился метров на тридцать вниз и остановился между стволами сосен.

— Дональд! — закричал Сергей Сергеевич. — Уйди с дороги, твою мать! Олег, скажи ты этому болвану, что это опасно.

Олег начал что-то кричать, Дональд нехотя послушался и отошёл чуть в сторону.

— Ладно, ребята, — нетерпеливо махнул рукой Сергей Сергеевич, — начали, а то мы здесь и до ночи не управимся.

Девушек мы посадили на самый конец бревна, а сами повисли под ними. Шар вдруг легко подался и, замерев на секунду, будто в раздумье, начал крепиться в обрыв.

Упрямый Дональд стоял с камерой внизу прямо на предполагаемом пути Шара. Мы разом стали кричать ему, но крики наши потухли в грохоте устремившегося вниз Каменного Шара. А Дональд снимал надвигающийся Шар, и я понимал, какого эффекта хочет достичь рисковый оператор. В последний момент американец кинулся в сторону, но неожиданно натолкнулся на сосну, та отбросила его назад, видеокамера блеснула окуляром и отлетела в сторону. Мы онемели. Несколько секунд мы видели, как, круша сосны и камни с тифонским рыком разъярённого зверя, Каменный Шар несётся вниз, а Дональд сидит и смотрит на его приближение.

— Беги! Беги! — заорал я, но Шар скрыл Дональда и после замелькал, уносясь дальше вниз двумя

пятнами: белым — надписью «Люся, я тебя люблю» — и... красным. Из-под камня вылетали разломанные стволы сосен и, кувыркаясь в воздухе, будто в замедленной съёмке, неуклюже падали на землю. Скоро Шар пропал из виду. Мы стояли в оцепенении и ждали его появления в изумрудной долине. Он появился — этот страшный убийца-зверь, появился лишь на миг, на огромной скорости влетел на изумрудную гладь, поднял гигантский веер брызг и медленно начал тонуть. Мы с ужасом поняли, что изумрудная долина — это болото.

— Всё, — выдохнул Олег, — всё, ни Дональда, ни Каменного Шара. Я знал, что языческие святыни мстят...

— Теперь нам «всё», — зло огрызнулся Сергей Сергеевич, — за этого упрямого тупицу нам вкатят по самое не хочу, и жрать нам зоновскую баланду лет по пять каждому!

— Но мы не убивали, — удивился я.

— Ты это скажешь следователям и американским наблюдателям, которых здесь скоро будет тьма, и они тебе сразу же поверят. Дональд Рич не бомжатник, а миллионер. Сейчас примчится в Россию дядя Рич, даст денег на объективное расследование, и нас упрячут наши собственные, но бедные менты, с большим воодушевлением, под лозунгом: «За справедливость и дружбу народов».

— Дайте водки, — попросила Вера, — у нашей девушки истерика.

— Мне тоже выпить хочется, — сказал я, думая о том несчастье, которое скоро принесу в свой дом.

Водка по-змеиному легко проникла в желудок и свернулась клубком, обжигая стенки своей горячей

кожей. Сергей Сергеевич стоял над выемкой, оставшейся от Шара, плевал в неё и матерился. Олег взял у меня стакан, налил до краёв водкой и выпил, будто воду.

— Ладно, — махнул рукой Олег, — кто со мной вниз?

— Пошли, — согласился я, и мы медленно начали спускаться по проторенному Каменным Шаром пути.

Мы прошли уже более половины расстояния, когда увидели, что и Сергей Сергеевич решился последовать за нами.

От Дональда осталась только кепка с длинным козырьком, Шар разметал его тело так, что остатков мы найти не смогли.

— Глянь, — вдруг осевшим голосом сказал Олег.

Я обернулся и замер: на меня смотрел объектив видеокамеры, красная точка-индикатор включённой записи горела ярким огоньком.

— Камера, — бездумно сказал я и поднял её. — Мужики, она цела! Она всё ещё пишет! Сергей Сергеевич, — я протянул ему камеру, — если она исправна, то это наше алиби, что мы не убивали его!

Сергей Сергеевич судорожно схватил видеокамеру, перекрутил плёнку, включил на контрольный просмотр и прильнул к окуляру.

— Вот мы что-то кричим, — прошептал Сергей Сергеевич, комментируя то, что видел на плёнке, — вот Олег машет ему рукой... Ребята, мы спасены! Эта плёнка — наша свобода!

Руки и губы Сергея Сергеевича дрожали, глаза лихорадочно блестели, он совсем не был похож на привычного нам лидера. Теперь только стало ясно, сколь

сильно потрясла его эта смерть, даже, может быть, потрясла не смерть человека, а напугала тюремная перспектива.

Я взял камеру, перекрутил плёнку назад и впилился в маленький глазок. Там, в крошечном окошечке-экране замелькали мы. Я прокручивал плёнку и внимательно следил за записью: вот Шар начинает падать, медленно набирая ход, приближается к камере, всё увеличиваясь в размерах, но вот замельтешили сосны, небо и земля — это Дональд кинулся в сторону, ударился о дерево, и камера, сделав сальто, упала в траву. Она упала так, что продолжала снимать сидящего Дональда. Было отчётливо видно приближение Каменного Шара и лицо американца. Он зло смотрел на Шар и даже не сделал попытки встать и убежать. Я остановил плёнку и крутанул обратно. На экране щёлкали секунды, я сосчитал их! Этого времени бегунам хватает, чтобы пробежать пятьдесят метров! Что стало с Дональдом, откуда эта злость и твёрдость во взгляде? Он что, решил, что Каменный Шар действительно бутафория и это шутка? Он что, возомнил о себе, что он пуп земли и Шар не имеет права его раздавить?! Ему бы ещё взять «паркер» и начать писать жалобу в комитет по правам человека. Что это, глупость или упрямство?

Я отключил камеру и отдал Сергею Сергеевичу.

— Дональд организовал себе смерть сам, — сказал я и пошёл наверх.

Когда мы поднялись на гребень, то застали весёлую пирушку: девушки сидели вокруг закусок в обнимку и пытались петь. Они были совершенно пьяны.

— Нажрались?! — закричал Сергей Сергеевич. — Я же предупредил!..

— Серёжа, — расслабленно прервала его Вера, — форс-мажорные обстоятельства... Клиент погиб, наша фирма претензий не принимает. Мы решили в тюрьму идти вместе с вами, в одну палату.

— Ты хотела сказать «в одну камеру», — Олег взял бутылку шампанского и отпил прямо из горлышка. — Девочки, тюрьма, к сожалению, пока откладывается.

— Дональд жив?

— Нет. Но мы останемся на свободе, у нас видеоплётка, на которой записано всё, что здесь произошло. Дональд позаботился о нас и, как водится в банальных романах, оставил записку: «В моей смерти прошу никого не винить».

— А где записка?

— Да, — махнул рукой Олег, — теперь мы уже не поймём друг друга даже по-русски.

Мы шли обратно по дороге на вершине гряды, солнце висело за спиной на самом острие «взлётной полосы» и окрашивало округу в ярко-розовый цвет. Было очень красиво. Я всё оглядывался и не мог отогнать чувства недостачи. Я привык к шумному присутствию Дональда и теперь не мог свыкнуться с мыслью, что его уже нет в живых и что этот человек больше не будет суетиться и лепетать на непонятном мне языке.

Олег был всё-таки умнее всех нас вместе взятых. Первое, что он сделал, когда мы приехали в город, это забежал в ателье и снял две видеокопии со спасительной плёнки. Он был, как всегда, предусмотрительнее

и дальновиднее нас. Я уехал в гостиницу и проспал там трое суток, просыпаясь лишь для того, чтобы посетить следователя уголовного розыска.

Всем всё было ясно и понятно: несчастный случай по неосторожности самого пострадавшего. Но ждали потерпевшую сторону — дядю Рича из Америки. Дядя приехал на четвёртый день, просидел полдня у консула и только потом соизволил встретиться с нами.

Полчаса мы ждали в холле, но вот вышел следователь, который вёл наше дело, и секретарь-переводчик, любезно пригласивший нас войти.

— Как дядя? — спросил я следователя.

Следователь, молодой парень, пожал плечами:

— Станный старик, четыре раза смотрел, как мочатся девушки...

— О, — криво усмехнулся я, — это у них наследственное...

Дядя Рич совсем не походил на миллионера; если бы не его костюм и твёрдая посадка головы, которая поворачивалась вместе с туловищем, он очень смахивал бы на знакомого дворника: худ, мал ростом, морщинистое лицо, стар, бодр, волосат, чисто выбрит, равнодушен ко всему, что видит.

Он начал говорить, почему-то глядя только на меня. Но я его всё равно не понимал, и когда он замолк, я повернулся к переводчику.

— Господин Рич интересуется, много ли задолжал вам Дональд.

Я был удивлён вопросом, но выдержал паузу и глянул Ричу-старшему в глаза:

— Господин Рич, позвольте прежде выразить вам соболезнование в связи с трагической смертью вашего

племянника и просить прощения за то, что мы не сумели уберечь его.

После перевода моих слов Рич-старший только кивнул.

— Мы старались, но Дональд... он слишком, — я искал подходящее и не очень обидное слово, — настойчив.

Говорил переводчик, потом дядя и вновь переводчик, но уже обратившись ко мне:

— Господин Рич также сожалеет, но всему виной упрямство Дональда. Он знает, насколько был своенравен его племянник, за то и пострадал. Господин Рич спросил про деньги.

— Господин Рич, мы очень сдружились с вашим племянником, нам было весело вместе, но мы не успели начать никаких дел и потому никто никому ничего не должен...

В мою ногу впился каблук Сергея Сергеевича. Но мне было плевать на его две тысячи баксов. Мне хотелось быстрее закончить формальности и улететь домой. А разговор о деньгах был не только не к месту, но и мог завести нас в тупик или приобрести неожиданный поворот. Я продолжил прерванную речь:

— Господин Рич, к сожалению, мы только успели оговорить условия нашего договора, наметили программу долгосрочных отношений, но договор подписать не успели, судьба распорядилась иначе.

По лицу дядюшки Рича я видел, что ему понравились мои слова. Дядя Рич внимательно выслушал переводчика, кивнул и, вновь уставившись на меня, заговорил.

По оживлённой реакции Олега я понял, что Рич-старший говорит что-то хорошее, я видел, как заулыбался Олег, а потом и переводчик.

— Господин Рич готов выполнить все договорённости своего племянника. Есть ли у вас договор?

— Конечно, но он в офисе.

— Господин Рич просит посетить его с этим договором через два часа.

Мы встали, Рич-старший пожал мне руку, не взглянув при этом ни на Сергея Сергеевича, ни на Олега. Видимо, он решил, что я главный. Переводчик проводил нас до выхода, любезно открыл перед нами двери.

— Ни хрена себе, оборотец! — закричал ещё в коридоре Сергей Сергеевич. — Я на старшого даже и не мечтал выйти!

Он так и сказал «на старшого», я одёрнул его — мол, тихо, здесь всё слышно.

— Ребята, да если бы я знал, что так выйдет, — зашипел Сергей Сергеевич, — я бы этого Дональда сам под Шар засунул.

Но дальше всё было ужасно, это теперь я понимаю. Мы примчались в офис Сергея Сергеевича, нашли проекты неподписанного договора с Дональдом Ричем-младшим на поставку окорочков птицы, я сел за компьютер и быстро начал менять и сроки поставки, и объёмы, и цены. Сергей Сергеевич и Олег стояли за моей спиной и только ахали.

— Да он не подпишет такое! — не выдержал Сергей Сергеевич.

— Именно подпишет, он упрям, как и его племянник, самолюбив, он не захочет показаться мелочным,

вот увидите, — яростно убеждал я своих поделщиков. — Потом, он видел на плёнке, как мы заключили договор и руки жали. Не мешайте мне в этом деле, вы не секёте момента. В конце концов, Рич ведёт переговоры со мной, а не с вами.

— Но зачем ты назвал холодильники тарой?

— Затем, что в этом случае они входят в стоимость товара и не оплачиваются дополнительно. Братцы, я здесь из-за этих холодильников третью неделю томлюсь и страдаю. Они будут халявные и потому они будут мои. Поняли?

— Даже если он и подпишет этот договор, то больше не станет с нами работать, — обессиленно возражал Сергей Сергеевич.

— А он и так не будет с нами работать, для него это не бизнес. Он сейчас пускает пыль в глаза, выкинет кругленькую сумму баксов, только чтобы мир увидел наши восторженные глаза и чтобы потом в газетах корреспонденты написали, как убитый горем дядюшка Рич выполнил все предсмертные слова и обещания любимого племянника... Вот увидите, от этого интервью или телепередачи пол-Америки будет захлёбываться слезами и утирать сопли, а дядюшка предстанет как герой, и они опять будут онанировать понятиями: мы самый лучший, самый добрый, самый справедливый народ в мире! Дональд будет объявлен национальным героем, попавшим в варварскую Россию для съёмки нового научно-популярного фильма... а Рич-старший сполна получит моральные дивиденды и скоро выдвинет свою кандидатуру на каких-нибудь выборах. Ребятки, это и есть бизнес. У них, американцев, демократические выборы тоже

бизнес, у них в голове только бизнес. Они даже горем своим торгуют. Вспомните, что после теракта в Нью-Йорке, когда самолёты развалили два небоскрёба, на рынках появились безделушки с развалин Всемирного торгового центра: часы, игрушки, пепельницы и прочая рухлядь.

Мои друзья молчали: я понял, что переговоры они поручают мне.

Через два часа Рич-старший прочёл договор на английском языке и, не моргнув глазом, подписал. После пригласил своего помощника и распорядился взять исполнение этого договора под контроль. Мы обменялись рукопожатиями. Дело было сделано.



Осколки

(вместо послесловия)

Он оперировал всю войну и ещё долго после войны. Прежде, в полевых условиях, раненых, кровоточащих солдат привозили на операционный стол прямо с поля боя. Потом, уже после войны, опять на столе солдаты, потому что застрявшие в теле осколки просились наружу.

Он спасал. Он спас многих, но не всех. А осколки тех, кто выжил, складывал в прямоугольную жестяную коробку из-под монпансье. Коробочка необычная, очень старая, с потёртыми краями, но яркая и добрая. На крышке — ангелочки с крылышками, голышом, но с леденцами, похожими на осколки, в руках. Их было много, и их было интересно рассматривать, потому что каждый ангелочек жил собственной сюжетной жизнью.

Коробка из-под монпансье хранилась в саквояже, большом и неуклюжем, рядом с бритвенным помазком, стаканчиком и обмылком, бережно завернутым в промасленную бумагу. Собственно, саквояж представлял собой передвижной гардероб хирурга.

Однажды один сослуживец заметил у него в руках эту коробку с ангелочками и спросил:

— Что это? Монпансье?

— Нет, — ответил старый хирург и спрятал её в саквояж. — Это моя гордость, моя, может быть, самая большая драгоценность.

Те, кто слышал его, мало что поняли, но решили, что старик чудит. Однако скоро, после очередной

операции, когда доктор решил спрятать в эту коробку маленький осколок, только что извлечённый из тела бойца, коробки в саквояже не оказалось.

— Что случилось? — спросил его всё тот же сослуживец, увидев расстроенного хирурга.

— Да вот коробку с осколками потерял.

— А, помню. Свою драгоценность?

— Да, за семь лет войны.

— Война давно кончилась, — поправил его сослуживец.

— Война кончилась, но осколки остались. Жаль, там каждый осколок напоминал мне моих солдат.

— Вы стали сентиментальны, это усталость!

— Дело не в усталости, а в том, что я не помню лица бойцов, которых оперировал, но помню каждую рану, из которой вынимал осколок. И на моих глазах будто рождалась новая жизнь. На память об этой жизни я оставлял себе кусочек металла. И когда потом я смотрел на осколки, то порою представлял их обломками зубов самой смерти, и знал, что под охраной моих ангелочков они уже никому не принесут вреда, потому что мои ангелочки крепко держали их в своих руках. А другой раз думал, что это мои медали! Их в коробке килограмма два, — это же на всю грудь не поместить. А иной раз казалось, что это изумруды к ногам и в благодарность судьбе за сохранённую жизнь. Понимаете?

— Не знаю. Вы меня опять удивили, я так никогда не думал.

— Вот именно... Жаль только, что коробка пропала. Было бы лучше, если бы я их не копил. Истинную драгоценность нельзя потерять, а я потерял. Я что-то

ещё потерял! Вы понимаете, я сам хочу понять! Значит, в моей коробке с осколками было что-то лишнее. Но что? Ведь просто так она бы не потерялась!

— Лишнее? А что там могло быть лишним? — удивился сослуживец. — Как вы рассуждаете неожиданно! Я думал, что вы просто сентиментальны.

— Может, и сентиментален...

— Кто-то решил, что вы храните золото или даже бриллианты. А там осколки. Вот это разочарование для воришки! — засмеялся сослуживец. — Не переживайте! Драгоценность вашу своровали, а люди остались. И живут где-то теперь, радуются.

— Да, живут, — согласился старый хирург и улыбнулся. — Вот и я буду жить, и радоваться, и отдавать, но копить больше не буду. Чтобы не своровали.



Содержание

К читателю	4
------------------	---

МУДРЫЕ ДЕТИ

Мама и медведь	6
Хрустальная ваза.....	9
Димкины уши	16
Не хочу	18
Картавка	22
Сто рублей	25
Катины именины.....	29
Игрушка.....	33
Георгий-победитель.....	36
Чемпион	40
Солдат	43
Солнечный мальчик.....	47

ТАЙНА СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Чемодан	52
Первое апреля.....	55
Лягушка.....	61
Первый снег	71
Пимики	83
Памятник.....	96
«Ненавижу»	105
Сальто-мортале!.....	108
Клоун.....	124
Баламут	134
Пуговица.....	140
Ромео	147
Щенок.....	151
Источник.....	159

ПАМЯТЬ ВСТРЕЧ

Маты моя	166
Гость Чёрного дома.....	173
Кабачок	183
Лотов	187
Длинный день.....	193
Настя	210
Усатый.....	235
Катастрофа	244
Максимов.....	256
Я встретил себя	260

ШАЛЬНЫЕ ГОДЫ

Дезодорант	268
Прогульщик.....	272
Стадион.....	279
Чемпион.....	285
Совещание	291
Пародист	298
Медвежатник	302
Звездочёт	307
Обрезание	313
Ностальгия	317
Сардельки.....	323
Воры	327
Кроссворд.....	333
Лотерея	337
Операция «Унитаз»	344
Боцман Федя и корейская мафия	358
Ракет	371
Каменный Шар.....	378
Осколки.....	403

Александров Николай Александрович

ОСКОЛКИ

Редактор *Чумакова Т.*
Обложка, дизайн *Васильева Е.*
Корректор *Чумакова Т.*
Вёрстка *Вялкова О.*

Подписано в печать 17.12.2024 г. Формат 60x84/16. Тираж 1000 экз.

Издательский Дом «Историческое наследие Сибири»
Тел. (383) 221-96-28. E-mail: id-ins@cn.ru

Отпечатано в типографии «Деал»
630033, г. Новосибирск, ул. Брюллова, 6а.
Тел./факс: (383) 334-02-70, www.dealprint.ru